



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

7-8 (499)

2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владимир Аристов. «Фотографировал сам себя на фоне Китайской стены...» и др. стихи.....	3
Юрий Китаев. Жизнь Новикова. Рассказ.....	8
Олег Дозморov. «Недорого ценил хозяйственный Петров...» и др. стихи.....	21
Борис Пономарев. Слава настенных мозаик. Повесть.....	28
Александр Скидан. «на разъезжей ноженьки разъедутся...» и др. стихи.....	64
Вадим Ярмолинец. Бутылка «Смирновской». Еврейский адвокат. Рассказы.....	68
Егор Куликов. В-Месте. Повесть.....	75
Данил Файзов. «что я слышу...» и др. стихи.....	92
Игорь Масленников. Пересечка. Рассказ.....	100
Дмитрий Волковой. Экфрасис. Стихи.....	104
Михаил Окунь. Хороший сон. Рассказ.....	107
Вячеслав Харченко. Русалка. Рассказ.....	110
Александра Шалашова. «говорю сердцу...» и др. стихи.....	113
Андрей Ломовцев. А ты не летчик... Рассказ	118

ПЕРЕВОД

Уильям Эрнст Хенли. Что вспомнится – вернется.

Предисловие, составление и переводы Андрея Корчевского.....	125
--	-----

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Запятая–17 (В русском жанре–77).....	133
---	-----

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Алексей Парыгин. Богема (записки художника).....	138
---	-----

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Юрий Никитин – Лев Ленчик. Из переписки. К выходу книги «Жить мы будем бедно, но счастливо». Публикация, подготовка текста, вступление О.В. Никитиной	146
--	-----

Михаил Эпштейн – Ольга Балла-Гертман. «Главные понятия – это именно то, что мы меньше всего понимаем». Интервью к выходу книги «Первопонятия. Ключи к культурному коду».....	164
---	-----

НЕПРОЧИТАННАЯ КНИГА

Александр Ливенцов. «Я думаю с помощью слов...»

О кн.: Олег Стрижак. Мальчик.....	169
-----------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Леонид Бахнов. Прыжок в свободу

О кн.: Павел Матвеев. И ад следовал за ним. Жизнь и судьба Анатолия Кузнецова.....	178
--	-----

Елена Зейферт. Рыбы под водой разговаривают друг с другом

О кн.: Анаит Григорян. Осьминог.....	179
--------------------------------------	-----

Наталия Черных. Новые опыты цвета

О кн.: Евгения Баранова. Где белое, там и золотое.....	182
--	-----

Владимир АРИСТОВ

Сфотографировал сам себя на фоне Китайской стены
На афише перед тем, как в трубочку ее свернул,
Покидая свой офис

Кажется, половину мира снял со стен, унося с собой

Побросал все в огромный
Чемодан крокодиловой кожи
Что остался в наследство
И казалось не пригодится тебе никогда

Весь багаж вместился лишь
В Yandex-Comfort
Наконец-то ты можешь позволить
Прокатиться хоть раз на нем не думая ни о чем

Через окна и стекла его
Всю вмещающую Москву наконец
И моргая сухими глазами
Запоминать навсегда родимые виды
С каждым мигом слыша лязг и скрежет затвора
Переводимого вновь на прицел внутреннего фотоаппарата

Подземная баллада

Это было настолько давно
Что сейчас в каком-то пугающе-завершенном виде всплыло
Словно хранилось годы неизменно
В подземельном музее метро

Я сбежал как всегда в рассветных рассеянных чувствах
После электрички по эскалатору вниз
И на миг задумался на средней площадке

Владимир Аристов родился и живет в Москве. Окончил МФТИ, доктор физико-математических наук. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Комментарии», «Иностранная литература», «Арион», «Воздух», «НЛО» и др. Автор пятнадцати поэтических сборников, двух романов и пьесы. Литературные премии: им. Алексея Крученых (1993), Андрея Белого (2008), «Различие» (2016). Предыдущая публикация в «Волге» – рассказы из цикла «Жизнь незамечаемых людей» (№ 11-12, 2021).

в раздвоении равнозначных тогда путей
направо – луч, а прямо – кольцо
и почти случайно выбрал кольцо

Но внизу в галерее
Прежде чем под арки скользнуть к поездам
Попал в итальянскую речь
Я узнал ее хоть не слышал достаточное количество лет

И затесался в группу туристов
В качестве волонтера
И не столько слушая гида
Сколько следил впереди на пике остроконечной итальянский флажок

Внезапно свет на секунду буквально погас
Или память меня подводит
Не может же здесь
Померкнуть свет

«Признайся», – сейчас я сказал себе, –
«Ты из хулиганских побуждений погасил в своей памяти свет
На самую малость секунды
Чтобы вызвать подземное всеобщее “Ах!”
Которого не было
Чтобы проблески катакомбные сильнее оценить»

Чтобы в темноте
 прерываемой вспышками блицев
Станция предстала во всей красе
Чтобы блеснула на каждой чешуйке смальты
Чернота, переходящая в ультрамарин

Почему-то вспомнилась
«Лунная ночь на Днепре»
Но когда вновь возникнул свет
 почему-то явился
«Чумацкий шлях»
Хотя пыль и метро несовместимы

Я увидел итальянца
Отставшего как бы в сторону
От толпы соотечественников
Что с пытливым восторгом разглядывал одну мозаику

Я сказал ему на итало-англо-русском
Что здесь есть еще один, но заповедный зал,
Куда иностранцев не водят
Но если он рискнет
Я его поведу туда

Там в конце перспективы в торце
Не маленький мозаичный фас лица как здесь
Но чудо радости
Не произнесу слово «ода»
Где на стене все пляшут и поют
Безмолвно

Он почему-то поверил мне
И мы по ступеням вбок и вверх
А потом через промежуток
По подземной реке, ведущей вверх,
Поднялись в светлый означенный зал
Что представлял собой прямую мраморную перспективу

И по мере того, как мы приближались к концу ее
Я видел, как светлело его лицо
И мы видели все ясней
Город охваченный яркой радостью

Я видел, что он все понимал
Но из его быстрой речи
Уловил лишь малость, но важную, которую он хотел сказать:
«Это свет посвящен наверное празднику
“Триста лет тому...”?»
Да – меня пронзило – это точно «тому», но «кому»?
Триста лет мы глядим во тьму
или Тьмутаракань?
Триста лет «назад» или «вперед»
Мы не знаем.

Я стал что-то ему объяснять
Но понял, что мы долго стояли здесь и уже он спешит
Пытаясь не отстать от своей группы сплоченной

Я показал рукой ему влево
И мы торопливо пошли по ступеням вверх
И мраморным коридором
Вышли на знакомую лестничную площадку

Но я почему-то по инерции побежал и направил его вперед
И мы новым мраморным переходом
Прошли и попали на лестницу
По которой спустились вниз

И когда повернули влево
Увидели ту же сияющую мозаику
Со вздыбленным в городе всадником
Но она показалась мне уже немного другой

Он ко мне повернулся
Со слегка безумной улыбкой
Вежливо спросив на своем языке:
«Dov'è finalmente l'uscita qui?»

Мы опять побежали по лестнице влево и вверх
Я подумал: «Смешной человек
Спрашивает, где выход в конце концов тут?
Но выхода нет, зачем он им
Их развезут в поездах в одну или разные
стороны
по кольцу
можно просто закрыв глаза, мысленно,
взяться за колечко в ноздре самой изящной
той их туристки»

Мы вбежали на ту же площадку
И я понял свою ошибку –
Надо было свернув снова влево
Ступенями по бегущей реке спуститься вниз

Мы опять попали в кольцевую ту галерею
И вдали с облегчением различили
тот их флажок
Хотя я стал ему объяснять,
Что в мире потеряться невозможно
Надо только внутри повторенья найти свой луч
Ибо чистого повторенья нет
Мы пройдем катакомбами Третьего Рима
Катакомбами светлыми Третьего Интернационала
а Четвертого не будет

Он наверное почти ничего не понял
узнав только слово «Рим»
назвался римлянином
и стал звать в свой город родной
упомянув, по-моему, и метро

Знаю я их метро, – пробирается
оно там осторожно
мимо памяти нерушимых пространств
которые им или нам предстоит открыть

И еще он сказал – это я понял наверняка: «Учите язык»

Да, конечно, я знаю –
С ним открыты пути
Но куда доведет нас язык, словно гид, через Рим?

Маскировка

Ощупал свою многодневную щетину
Но своего лица не узнал

Стал ли лесом ты или полем
В повелении не снимать
Пожизненную маску

Думал, оглядываясь вокруг:
«Рано вы сняли маску
Не понимая, что придется
Обменять ее в глухом углу двора на противогаз»

Во всем осторожен был, проходя с опаской даже
Мимо сломанного телевизора
Хотя знал, что маску твою не пробьет
Одеколон «Идеология»
Пусть он и разит сильнее, чем «Шипр» и «В полет»

Но ты замаскировался так
Мнимо подражая природе
Что тебя не узнала родная река и ты сам

«Дора! Дора! Дора! Дора!» – звал он, как безумный,
Наверно свою потерянную собаку
Бродя по улицам пустого поселка
А встретил лишь на обочине детский сине-красно-желтый перевернутый грузовик.

Юрий КИТАЕВ

ЖИЗНЬ НОВИКОВА

Рассказ

А была ли бессмертной
Ваша личная жизнь...
Вл. Соколов

I.

Новиков – удивительный человек.

Не очень высокого роста, худой и бледный, хотя в сердечной больнице, где мы с ним вместе лежали, этим трудно кого-нибудь удивить. Даже самые жирные и шумные пациенты в какое-то время стихали и старались, кому удавалось, быть тихими и маленькими...

Был тогда Новиков тогда уже, мягко говоря, не молод.

Из распотрошенных окурков и газетной бумаги он свертывал самокрутки с такой ловкостью, с какой умеют только люди *хозяйские*, то есть побывавшие в тюрьме. По крайней мере, ни у кого кроме *хозяйских* я такой ловкости не наблюдал.

Когда я впервые увидел его, то есть когда впервые обратил на него внимание, он сидел на стуле в стороне от человеческой суеты и читал Библию.

Ветхий Завет.

Кажется, Книги Царств. А может быть, Пророков, я уже не помню точно.

Это меня удивило (человек в стороне от человеческой суеты, читающий Библию – не всякий день такое встретишь), и постепенно мы довольно близко познакомились. Подолгу разговаривали.

Мы вместе лежали в больнице. Долго. Две недели. Я просто на обследовании, у него уже что-то нашли. Постепенно он начал о себе рассказывать. Всей правды он, как и все мы, вероятно, не говорил, но в основном, я думаю, не врал. Зачем такое выдумывать?

Новиков рассказывал весело и непринужденно.

Меня изумила его многотрудная и, прямо скажем, не совсем стандартно прожитая жизнь, и теперь, по прошествии довольно многих лет, я считаю необходимым рассказать о ней.

То есть я и раньше, конечно, хотел, но за суетой все как-то не мог собраться.

Прости меня, Новиков. Или Нóвиков.

Нóвиков, – Новиков... Не знаю, как правильно... И как его звали, тоже не помню...

Одна фамилия в голове застряла, да и в фамилии, не могу точно сообразить, где ударения ста-

Юрий Китаев родился в Москве, работал инженером, слесарем, учителем и др. Публиковался в журналах «Топос», «Знамя», «Нева».

вить: то ли Новиков, как знаменитый масон восемнадцатого века, то ли по-простому – Новиков, как у нас на военной кафедре был подполковник...

...Замечательный, кстати, человек был этот подполковник Новиков... Я, да и не один, многие думали, что он просто дурак и солдафон, а когда мы выехали на сборы в тамбовские леса, выяснилось, какой он на самом деле человек...

...Там, в Тамбове, леса там удивительные... Глухие. Темные и какие-то теплые. Море грибов, ягод... По ночам волки выли... Где еще такое найдешь... Если б еще не гимнастерка с сапогами, и не автомат, не противогаз и ОЗК...

А подполковник Новиков на этих сборах был для нас (т.н. курсантов) в прямом смысле – как отец родной...

За все два месяца, что мы «служили», я только один раз его раздражительным и возмущенным видел... Да какое там раздраженным! Он в настоящем бешенстве был! Да, пожалуй, тут и многие нормальные люди рассердились бы...

...Какой-то добрый молодой человек в военной форме привязал собаке к хвосту консервные банки, и бедное животное с криками ужаса носилось по нашему палаточному лагерю и по всем ближним и дальним военным окрестностям, безнадежно пытаясь убежать от преследующего ее звящего и гремящего кошмара, который, чем скорее она бежала, становился только страшней и громче.

Уж не знаю, что подполковник сделал бы с тем неустановленным военнотружущим, который привязал к собаке банки, попадись он ему в ту минуту...

Возможно, застрелил бы...

– Кто, – кричал он, задыхаясь и бессильно сжимая кулаки, – кто это сделал?..

В самом деле, это была очень жестокая по отношению к простодушной собаке шутка, а жестокости, тем более к беспомощному существу, подполковник Новиков вынести не мог...

Однако я отвлекся.

Начал про другого Новикова... Или Новикова... Буду называть его так. –

Как *масона*, просветителя, писателя и издателя, друга и соратника, а позднее злейшего врага матушки Екатерины...

Хотя, конечно, они, скорее всего, не родственники...

...Но нет... Не могу... Раз уж начал отвлекаться, раз уж сбился с прямого и гладкого пути последовательного и правильно изложения, не могу еще немного не рассказать про подполковника Новикова и про наши военные сборы в тамбовских лесах...

Подполковник Новиков был с нами не все два месяца «службы». Уехал, убыл раньше...

Однажды вечером нас подняли по тревоге и выстроили на плацу.

Мы уже довольно привыкли к нелепым, порой на наш взгляд неожиданным командам *Выходи строиться*, но всех тонкостей военного этикета и обычаев, конечно, не понимали.

Оказывается, нас построили попрощаться.

С подполковником Новиковым.

Командующий нашими сборами подполковник Мейерович скомандовал «Смирно» и сообщил (доложил), что подполковник Новиков покидает нас (убывает) в связи с выходом на пенсию.

Вот и все. Больше мы никогда его не видели.

...А леса там были удивительные...

Говорили, что именно в этих лесах бандитствовал и разбойничал (как сообщали тогда исторические учебники), и геройствовал легендарный Антонов...

А после него, то есть после того как его одолел репрессированный позже, а еще позже реабилитированный маршал Тухачевский, говорили (и это похоже на правду), там, в этих лесах, где проходили наши военные сборы, *не ступала нога человека*. – Гражданского, штатского.

Вся территория была забрана и огорожена под Вооруженные силы. На тот момент там дислоцировались полигоны трех военных училищ: зенитного, связи (кажется) и химзащиты (к которому мы и относились).

Для нас тогда фамилия зеленого героя гражданской войны Антонова случайным образом имела и некоторый особенный смысл.

Был у нас на этой самой нашей военной кафедре преподаватель с такой фамилией. Капитан Антонов, впоследствии майор...

Когда мы прибыли в тамбовские леса на сборы, все наши остроумные зубоскалили по этому поводу как могли...

Но наш Антонов был совсем не то, что был тот Антонов...

Масштаб личности другой.

Тот Антонов, каков бы он ни был, был герой, а наш...

А наш то и дело глупо шутил и очень лихо фуражку заламывал. Умел.

Слухом земля полнится... И, может быть, не только земля... Может быть, и Луна тоже... И мы про наших командиров и начальников много-много чего знали... Неофициального.

...Назначали, командировали на военную кафедру чаще всего в виде некоторого награждения за трудности и лишения предыдущей службы: подполковник Новиков, например, много лет прослужил в дальних, трудных гарнизонах, другой преподаватель, и тоже добрейший человек (имени уже не помню, помню только, что хороший человек), воевал во Вьетнаме... А у капитана (майора) Антонова отец трудился на ЗИЛе...

Начальником 1-го отдела...

...А про подполковника Новикова ходили легенды.

Вероятно, все так и было, как рассказывали, но я этого уже не застал. При мне уже этого не было.

Случалось, на стрельбах кто-нибудь из курсантов начинал приставать к подполковнику:

– Товарищ подполковник! Ну, покажите, пожалуйста...

– Отстань...

– Товарищ подполковник... Ну, пожалуйста...

Иногда офицер сдавался.

Тогда кто-нибудь из курсантов подбрасывал вверх стреляную гильзу, а подполковник с одной руки из автомата (тяжелого, АК-47!) пульей сбивал ее влет...

Вот какой он был офицер!

...А еще однажды на тех стрельбах (уже из пистолета) один ополоумевший от грохота выстрелов курсант отвернулся от мишени и повернулся к подполковнику:

– У меня не стреляет...

И стал щелкать пистолетом, направив его прямо на командира.

Несмотря на возраст, подполковник Новиков сделал в воздухе лихой прыжок и ногой выбил у идиота заряженное оружие...

«Воевали» мы на этих сборах своеобразно.

Своеобразие усугублялось тем, что с предыдущих сборов четверых курсантов привезли в гробах.

Обыкновенная наша глупость. Или просто случайность. Судьба.

Ехали колонной, какой-то умный человек выпустил ракету «радиационная и химическая опасность»: 5 красных звездочек и громкий противный, протяжный свист – водитель, солдат-

срочник за рулем БРДМа-РХ (это небольшой радиационно-химический разведывательный, но все же броневичок) растерялся и въехал в корму следовавшего впереди маленького беззащитного «газика».

Никто в «газике» не уцелел.

Естественно, и гражданские и военные власти были край недовольны таким происшествием, которого к тому же никак нельзя было скрыть. Начались разбирательства, следствие, комиссии и все такое...

Начальник военной кафедры, сборов, все преподаватели оказались в роли виноватых, хотя чем они были виноваты...

Были устроены дополнительные проверки и др. и пр.

Естественно, на наших сборах были приняты все меры к недопущению чего-либо подобного, нас берегли и охраняли от малейших опасностей, а для успокоения всех обеспокоенных снимали еще фильм про наши сборы, чтобы всем показать, как у нас на самом деле все ладно и складно.

При этом, естественно, местное, от училища, тамбовское военное начальство старались как можно больше использовать нас как бесплатную рабочую силу, а наши московские отцы-командиры старались, сколько могли, нас от этих работ избавить...

И все же мы что-то делали.

В основном, конечно, копали. От забора до обеда и т.д... (По М. Гаспарову: *хронотоп* – *пространственно-временной континуум по формуле: «рыть канаву от забора до обеда»*.)

...Копать там было легко. Почва – сплошной или почти сплошной песок. Копали канавы, траншеи. Вероятно, для прокладки кабелей.

А еще мы строили тюрьму.

Да, тюрьму.

Гарнизонную гауптвахту. Двухэтажную.

А куда было деться... Тем более, если б не мы, кто-нибудь другой построил бы...

Те самые солдаты срочной службы, для которых она предназначалась и с которыми мы хоть и немного иногда общались, жили и выглядели так, что, только глянув на них, на срочную службу совсем не хотелось...

Разумеется, стены клали не мы, это надо уметь, стены клали те самые срочные солдаты. Мы были как подсобники. Кирпичи подавали.

И как весело было, сидя на какой-нибудь балке или недовозведенной стене и перекидывая по цепочке снизу наверх кирпичи, со всей дури орать:

– Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь, кому?
Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму...

Однако довольно этих посторонних «военных» воспоминаний, уводящих в сторону, отвлекающих от важного, от насущного – от Новикова...

Одно только упомяну, это важно.

Сборы наши проходили давно, в позапрошлую эпоху, накануне Афганистана. Тогда плакаты на всех углах громко сообщали о единстве армии и народа, тоже газеты, радио, телевизор, а местные военные, живущие с семьями вне полигонов, на службу ездили исключительно в штатском, и только прибыв на место, переоблачались: за военную офицерскую форму местные граждане не только побить могли, но, случалось, и из ружья стреляли...

Дороговата выходила народу советская армия!

А кому еще довелось в ней служить...

2.

Ну, все! Довольно отвлекаться.

Закончил (или, по крайней мере, приостановился) с тамбовскими лесами, палатками на десять военнотружущих и вообщет с военными делами и другими лирическими отступлениями, и обращаюсь к моему непосредственному рассказу, к главному герою. К Новикóву.

Он того стоит.

С довольно раннего возраста наш Новикóв начал работать.

По велению сердца и по призванию.

А его веление сердца и призвание было тогда очень-очень небезопасное...

Даже уголовный кодекс относился к такой работе отрицательно и содержал соответствующую статью...

Она и теперь небезопасна, но уже от других причин...

Свою трудовую карьеру Новикóв начал еще где-то в 70-х годах минувшего века – эпоха *развитого социализма*. Во всем своем своеобразии, разнообразии и единообразии.

Впрочем, что такое исторические условия и условности для увлеченного человека!

А Новикóв, насколько я смог понять, своему призванию никогда не изменял. До самого моего с ним знакомства, и, вероятно, далее...

Здесь уместно, кажется, будет упомянуть о его родине и первоначальном месте жительства – тем более это имеет некоторое отношение к его дальнейшей судьбе и тому общественному положению, которое он имел ко времени нашего с ним знакомства.

Вырос он в Кожевниках. Это возле Павелецкого вокзала. Наконец их коммуналку (а может быть, и подвал) расселили, и семья получила квартиру в Очаково. В пятиэтажке на Озерной улице.

Новикóв начал работать рано. Возможно, даже еще до окончания средней школы.

Тогда, в пору его юности, это происходило так.

Утром он ехал к кинотеатру «Нева» в районе Речного вокзала.

Почему именно туда, не знаю. Возможно, для него в этом был какой-то особенный смысл, возможно, просто случайность.

Там он находил (а они всегда находились) каких-нибудь отличников учебы, прогуливающих уроки и вместо школьной тоски и скуки отправившихся в кино. Он задавал им два простых и ясных вопроса, на которые получал положительные ответы.

Во первых: есть ли у них по 50 копеек – естественно, есть, раз они собрались в кино... Во вторых: не хотят ли они временно отложить посещение кинотеатра, а вместо этого теперь в короткое время заработать 5 рублей – немаленькие деньги: зарплата учителя – инженера – младшего научного сотрудника и т.д. в то время была 110–140 рублей в месяц.

Дети обычно соглашались.

Тогда они отправлялись в писчебумажный магазин, где на киношный рубль приобреталось: 2 пионерских галстука, комсомольский значок, большая амбарная книга и ручка, чем писать...

После этого они все шли к школе (не к той, конечно, которую прогуливали юные лоботрясы, а к другой), вставали возле (но не у самых дверей) и, застыв и вскинув руку в дурацком пионерском приветствии-салюте, просили у прохожих деньги на похороны безвременно умершей (или нечаянно погибшей) молодой пионервожатой...

Случалось (и часто случалось!), деньги давали, и тогда сумму пожертвования с указанием имени жертвователя (чаще жертвовательницы) торжественно и неукоснительно записывали в амбарную книгу, а простодушных просили непременно расписаться...

Дальше, ближе к концу занятий, когда обыкновенные школьники, которые ходили в школу, покидали ее, а за первоклассниками, случалось, приходили и взрослые, пикет сворачивался и начинался рейд по подъездам с той же атрибутикой и заклипаниями...

Так продолжалось часов до четырех-пяти, когда в квартирах оставались не только пенсионеры и пенсионерки, а начинал возвращаться с работы более сообразительный народ.

Тогда Новиков честно выдавал ребенкам по 5 рублей (уж не знаю, не спросил, включал ли он в эту сумму киношные 50 копеек), остальное оставлял себе, и они расставались, довольные друг другом.

В среднем выходил заработок, существенно превышающий зарплату учителя – инженера – младшего научного сотрудника – школьного учителя и т.д...

Но представьте, если можете, что было бы, если бы его разоблачили!

Во-первых, статья в Уголовном кодексе за попрошайничество (уж не помню, сколько за это полагалось лет), во-вторых, вовлечение малолетних в преступную деятельность (караул!), а главное – еще страшнее – идеология! – ведь это было надругательство над *самым святым*, над пионерской организацией! Всесоюзной, великой и могучей – боевым резервом, комсомола и, не к ночи будь помянута, коммунистической партии...

Однако, похоже, все это сошло Новикову с рук.

Чем еще он в то время занимался, на чём и когда *засыпался*, а это, похоже, имело место, он не говорил...

Но – времена несколько изменились. Все проходит... В стране победившего социализма произошли *Великие Реформы*, и в связи с изменением исторической ситуации профессиональная деятельность Новикова часто оказалась связана с культовыми объектами и тематикой, приобрела *религиозную составляющую*...

Отсюда и особенный интерес мастера к Священному Писанию, оттого и читал он Библию в стороне от человеческой суеты...

Новиков относился к своей работе честно и добросовестно.

Религиозная составляющая, впрочем, не обязательно была православной или даже христианской: ему случалось просить и у мечети – возле проспекта Мира... У мечети на Курбан-байрам очень хорошо подавали!.. И у хоральной синагоги (Спасоглинцевский переулок, прежде улица Архипова).

Он очень забавно про это рассказывал.

...У синагоги он работал *слепым*.

В синих очках.

Подавали замечательно. Особенно по праздникам. Песах, праздник Труб, праздник Седмиц, Обновления, Пурим...

Правда, однажды одна престарелая иудейская прихожанка звонко выразила сомнение в принадлежности нашего Новикова к избранному народу.

Новиков был по-своему великий человек. Он не растерялся:

– Хочешь, покажу?

И сделал вид, что растворяет штаны.

Испуганная бабушка поспешно ретировалась. Предварительно все же сунув в руку слепому довольно-таки большую бумажку...

Неплохо он работал и у костела Непорочного Зачатия на Малой Грузинской.

Там ко всему еще и кормили.

Не оставлял своим вниманием Новиков и старообрядцев. У него, кстати, я в первый раз видел и даже полистал старообрядческий Часослов.

О старообрядцах он подробно рассказывал.

И про Рогожскую слободу, и про храм возле Белорусского вокзала, и про федосеевскую общину Преображенского кладбища...

Профессионал!

Но главная территория деятельности Новикова была все же в окрестностях православных храмов. Просто, вероятно, в силу их относительной многочисленности...

...Про один храм и его настоятеля он отзывался очень неодобрительно. Даже с возмущением.

Не могу вспомнить, где располагался этот храм с преступным настоятелем. Не то Петра и Павла в Ясенево (Оптинское подворье), не то в его родном Очакове – на другом конце, за железной дорогой: на Очаковском шоссе.

Нехороший поп на просьбу о материальной помощи произнес ужасные слова, о том, что он, конечно, поможет, даже с радостью, но не хочет ли *бедный человек* прежде чуть-чуть потрудиться: взять, например, лопату и почистить снег на дорожке...

Грех подумать: это же метров двадцать!

Новиков убежал с церковного двора как ошпаренный. И полный благородного негодования.

Видно, эта история так потрясла и возмутила его, что он рассказывал ее неоднократно.

Еще он любил рассказывать о том, как знаменитый о. Александр Мень дал ему 15 копеек (советскими деньгами), и какие чудеса за этим последовали... Видно, он не очень почитал отца Александра...

В это время он трудился в окрестностях Сергиевой лавры (в самой лавре, похоже, не часто бывал – велика конкуренция).

Там у храма, где служил о. Александр (с. Семхоз), он сколько-то времени *поработал*, что-то заработал, а напоследок еще и о. Александр дал 15 копеек...

Естественно, немного устал (это только совсем глупый и невежественный человек может думать, что у него была легкая работа!), присел отдохнуть и подкрепиться. Взял вино и полукопченую колбасу. Пристроился возле самого магазина.

В это время в магазин привезли продукты. Привезли на лошади. В телеге.

И – то ли погода такая была, то ли возчик сильно спешил и гнал, а скорее всего, просто возраст и время пришло, только лошадь, несколько шагов не дойдя до магазина, остановилась, пала и испустила дух.

– Ты представляешь, – нервно и как-то не по-здоровому радуясь, повторял Новиков, – Александр Мень 15 копеек дал, и – лошадь сдохла...

Связь этих двух событий была для него несомненна и каким-то образом знаменательна, как будто не дай ему о. Александр 15 копеек, бедное животное осталось бы живо...

Ко времени нашего знакомства Новиков обитал в ЦСА (центр социальной адаптации «Люблино» на Иловайской улице), тогда, может быть, это называлось еще «Дом ночного пребывания». По-простому – на Иловайке. В ночлежке.

Жилищные дела его сложились не совсем благоприятно.

Вот как это получилось. Свою квартиру на Озерной (дальняя по тем временам окраина, но все-таки Москва, столица) он обменял на какое-то жилище за городом (если я правильно помню, Голицино) – с доплатой, разумеется.

А некоторое время спустя и из Голицино он перебрался, и не куда-нибудь, а в Сумгаит. Надо понимать, с очень большой доплатой.

Что толкнуло его на такие *обмены*? Не знаю.

Злая нужда? Алчность? Азарт? – Безусловно, это были выгодные в денежном отношении переезды...

Не знаю... Я думаю, самое главное и прежде всего им руководил Азарт... Великий и беспощадный. А за азартом часто следуют всякие неизбежные непредвиденные обстоятельства.

Чем он занимался в Сумгаите, Новиков не рассказывал...

А в 1988 году в Сумгаите произошло то, что произошло...

Выражаясь простыми словами газетного материала *нового времени*, «за слабость и трусость советского руководства десятки простых людей заплатили своими жизнями, сотни тысяч стали беженцами». Сначала естественным образом произошел Карабах, потом Сумгаит, потом Баку...

26 февраля 1988 года на центральной площади Сумгаита прошел митинг, над площадью звучал лозунг «Смерть армянам!», потом начались погромы. Власти не вмешивались. Быстрее всего, и сами участвовали. Тем более, погромы сопровождалась, конечно же, грабежом...

Смерть армянам!.. Других тогда не трогали...

Но долго ли так будет продолжаться (кроме армян, прочие неазербайджанцы в первое время были (или считались) еще в относительной безопасности), никто не знал, поехали и побежали все. Все, кто смог...

Новикова, по его словам, эвакуировали военные...

Еще, увы, *лирическое отступление* личного характера. Никак не могу удержаться.

Хотя, едва ли это отступление можно назвать сильно лирическим...

Уже не Сумгаит, Баку...

Я учился когда-то в технологическом институте. И даже, как ни странно, закончил его.

Со мной в одной группе училась очаровательная армянка.

Зина. Вернее, по-ихнему, скорее всего, Зита, но у нас ее называли по-нашему.

Училась она страшно старательно и, надо полагать, неплохо, но на экзаменах ее охватывал какой-то сковывающий страх и ужас, она переставала что-либо соображать и часто получала двойки.

Тогда она плакала. Мы все, как могли, утешали ее...

Мы все с ней дружили, и я чувствовал, даже ясно понимал, что я ей не совсем безразличен, но никаких *последствий*, никакого развития все это получить не могло: у них очень патриархальные, традиционные нравы... Даже жених ее был давно известен: предстояло только доучиться, доучиться в институте, и ехать к жениху.

В Баку.

К чему ей был этот наш технологический институт? Очень просто. Высшее образование. А почему именно наш технологический? Еще проще: ее отец был в нем преподавателем. На кафедре физкультуры.

Время прошло. Я ухитрился кончить этот самый институт.

Некоторое время спустя и у меня возникли *жилищные проблемы*...

Не такого рода, как у Новикова, но все же.

В конце концов дошло до того, что я надолго вынужден был искать у убежище в другой стране. В Средней Азии. Тогда это называлось *союзной республикой*.

Однако успел вернуться, и во второй половине 80-х снова был в Москве.

И вот мне приснился сон.

Двор какой-то. Я на детских качелях качаюсь...

Серый, пасмурный, обыкновенный, но почему-то веселый день... Или начало вечера.

И там, во сне, появляется эта Зина.

Застенчиво, и смущаясь по своему обыкновению, она спрашивает меня: нельзя ли ей у меня некоторое время пожить...

О чем речь! Во сне-то мне ведь все возможно!

– Что ты, говорю, Зиночка, о чем разговор... У меня сейчас три квартиры: две в Москве, одна в Киргизии... Выбирай какую хочешь и живи, сколько тебе надо...

Сказал и тотчас – даже еще во сне вспомнил, что ни одной-то квартиры у меня нет... И вообще – вся недвижимость моя: эти самые качели, на которых я теперь раскачиваюсь... Да и то – только во сне...

А утром радио сообщило о погромах в Баку...
Где ты теперь, Зина? Жива ли...

А у Новикова по возвращении из славного города Сумгаит с жилищем в родной Москве ничего хорошего не вышло, и он оказался на Иловайской улице, в Центре социальной адаптации (ЦСА), в ночлежке.

Но не бедствовал. Профессия и работа по специальности выручала.

Правда, времена еще несколько раз поменялись, и со свободными *рабочими местами* возле храмов стало затруднительно. И в электрических поездах тоже...

Или нужна была *крыша*, которой надо платить, или своя устойчивая компания...

А платить кому бы то ни было Новиков не хотел и морально был не готов. И в силу здорового и понятного *индивидуализма* в устойчивую компанию (коммуну) он тоже не хотел и не мог.

Это можно понять.

Но отстаивать свое место под солнцем силой он уже и по возрасту, и по состоянию здоровья не мог... Теперь ему осталось только с иконкой в подземном переходе стоять и смиренно просить во славу Божию...

Впрочем, на скромную, но достаточную жизнь на Иловайке ему хватало.

Когда хотелось или нужно было выпить, или то и другое вместе – и нужно было, и хотелось (непосредственно в «доме ночного пребывания» это было более чем затруднительно – милиция там, говорят, совершенно не церемонилась с проживающими), он сообщал коменданту или кому-то там о необходимости уехать на 2-3 дня и на ночлег отправлялся на какую-то дальнюю конечную станцию (не помню имени) по Павелецкой дороге.

Там было комфортно. И милиция не выгоняла. Тем более у Новикова полная сумка *священных книг*... Подвижник...

Однажды на этой самой Павелецкой станции какой-то мужик попытался утащить его сумки. Да так ловко, что Новиков и не заметил...

Но недобродетельный бродяга еще на чем-то попался, его взяла милиция, и повели его с новиковскими сумками как раз мимо лавки, где сидел наш герой...

Тут и удалось ему вернуть украденное имущество.

А бедного воришку увели. Уж как Новиков злорадствовал!

Даже многое время спустя, рассказывая мне, он в ладоши хлопал! «Так ему! Так ему и надо!..»

Бедные мы и слабые люди...

3.

А теперь, когда всё, в основном, вспомнил про Новикова, не могу удержаться: снова о себе. О себе, любимом.

Труден был жизненный путь Новикова, но и мы пожить умели...

Это из моего собственного, не по-хорошему гордого опыта нищенства...

Вернее, не совсем нищенства, даже совсем не нищенства... Даже наоборот... Но все же где-то рядом...

Все мы где-то рядом!

Однажды я прогуливался по нашим окраинам, одетый по обыкновенному (мог тогда себе позволить!), был праздно задумчив и скверно мечтателен.

...Немолодая, но симпатичная крупная женщина (мы некоторое время шли с ней рядом) неожиданно вынула из сумки полбуханки черного хлеба в пакете (видно, только из булочной):

– Мужчина! Может быть, вы хлеб возьмете?.. Черный, мягкий... Поедите, а?.. Свежий...

Сытый, даже, пожалуй, слишком, даже, можно сказать, даже бессовестно сытый, я не сразу понял, о чем она говорит, а сообразив, смог только растроганно поблагодарить...

Другой раз, в воскресенье, слегка проспавшись от вина, я решил пойти в храм, и даже два рубля (тогда так стоило) на свечку у меня были приготовлены. И еще рубль я стал искать, увидев на пути к храму нищих: им подать.

Маленькая светло-серая старушка стояла согбенно, а на лавке перед церковной оградой сидела пьяная дама, и с ней двое, тоже нетрезвые. Один молодой почти атлет, другой, постарше, казался мне почему-то похожим на спившегося кочегара. Они просили профессионально, артистично, талантливо, широко крестились, усердно и проникновенно выводили «Дай Бог, здоровья!».

И я стал искать по карманам хоть рубль им подать.

Но не успел я подойти, молодой парень встал со скамейки, пошел мне наперерез. Приблизившись, промычал коротко: «С нами здесь сядешь – зарежем!..»

А еще в храме Митрофания Воронежского, что возле метро «Динамо», где существовала долгое время знаменитая всю округу пивная «У семи дорог» (на память о пивной осталась только фотокарточка на стенде перед храмом: «Так было до реставрации»), все повторилось по-другому.

Было воскресенье, и я туда с работы после ночной смены решил к обедне пойти. Это было недалеко от моего заводика.

Когда я вошел, служба еще не началась. Я присел на один из стоящих у стены стульев – для *неможных*: все же устал после смены. Возле меня, но не совсем передо мной, немного наискось стоял невысокий столик, на нем вазочка. И вот женщина, работающая (труждающаяся) в храме (сестра милосердия, и красный крестик на косынке) подошла налить воду, поставить в эту вазу букет.

Все так буйно цвело в ту пору, была поздняя весна или самое начало лета, и везде, везде были цветы...

Женщине нужно было немного подвинуть столик, и выходило так, как будто у ей мешал пройти, или мне так показалось... Смущенный (не старый еще и не очень больной, а уселся), я проворно вскочил, пробормотал: простите...

Управившись с цветами, через пару минут эта женщина подошла ко мне сзади и сказала твердо и решительно:

– Пока служба не кончилась, без благословенья, я только хлеба могу вам предложить.

Я не понял сразу, о чем она.

– Нет, что вы, – сообразив, еще больше смутился я, – спасибо, не надо. У меня хлеб есть...

У меня и правда было тогда в сумке немного хлеба, что осталось от того, что брал на работу... И тотчас еще больше смутился: разве можно было так говорить? Подумаешь, не голоден...

– Простите... Спаси вас, Господи... Хлеб у меня, правда, есть, и все равно спасибо...

...После службы густо зеленеющими и цветущими дворами я возвращался в радостном, в счастливейшем настроении. И даже выйдя на широкий, многолюдный, грохочущий и чадающий автомобилями Ленинградский проспект, я продолжал ощущать это радостное чувство. И даже несмотря на жестоко терзавшие меня тогда сомненья, неприятности и обстоятельства я был почти счастлив. Обо мне позаботились!

Я жалел только, что не поблагодарил должным образом эту прекрасную женщину. Она ж мне тогда больше чем хлеба дала. Радость какую-то светлую...

И даже – надежду. Может быть, думал я, все еще наладится в моей жизни...

...Происходила такая перепутаница от моего естественного обыкновения (тогда мне это еще можно было!) одеваться как хотел – то есть *прикид* мой, куда бы я ни шел, был тогда равномерно оборванческий... Это не от крайности и не от того, что я что-то кому-то хотел доказать, просто от лениности... И – от радости – реализация личной свободы: как хочу, так и хожу...

Я мог быть собой. Великое право!

Вероятно, я, конечно, был не совсем прав.

Облачение – предмет существенный.

(По одежке встречают, по уму выпроваживают.)

Вот как писал об этом арх. Сергей Староградский:

«Ходить священнику в светском костюме за границей... – *пора бы отрешиться*»... (Письма японского миссионера).

Меня это, конечно, мало касается – я не в сане, но почему-то – всегда как бы *за границей* (и чем дальше, тем боле)...

Да и у нас на родине тоже... Вот свт. Николай (Японский) рассказывал:

«...видел батюшку в рясе... **сними рясу и остриги волосы – право же, не задумался бы дать милостыню или подумать весьма дурно. И вот для чего, между прочим, нужна ряса и нужны длинные волосы!**» (свт. Николай (Касаткин) Дневник. 25 июня 1880 г.).

Я хоть и не священник, но... но *уже подавали*... Или принимали за другого и думали, может быть, *весьма дурно*...

... А Новиков одевался скромно, но – в лохмотьях не ходил.

Скромно, но чисто.

Это необходимо. Профессиональный этикет. Как теперь любят говорить, *дресс-код*.

Нищий должен быть одет скромно, но чисто, чтобы отвращение не преодолевало сострадания, а не наоборот. – Это говорил мне еще один добрый знакомый из людей этой веселой (хоть и не всегда веселой!) профессии...

Вот, грешный человек, я опять о себе: кто-то поп, кто-то нищий – и соответственно чину одеваться должны...

А я-то кто!?

Ясно: не поп, не священнослужитель... И не бывать никогда...

Но – слава Богу, но пока не попрошайничаю...

Ни то ни се!

От кур отстал, к орлам перестал...

И *формы одежды* не имею, и за другого принимают...

...

К слову, по-настоящему невеселой (крайне невеселой!) нищенская профессия бывает не когда плохо подадут (это только вопрос азарта и эффективности трудовой деятельности), а когда человек попрошайничает не *на себя*, а находясь в невольном, несвободном или просто рабском положении...

Таковыми часто бывают дети и инвалиды. И – дети-инвалиды...

Хотя бывает всяко...

Это называется Рабство.

4.

Но, дорогие сограждане, не надо торопиться судить ни Новикова, ни его своеобразную жизнь...

И меня тоже не надо судить.

Как сказал поэт:

*...Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?*

Все жили, как могли, и живем, как умеем...

Кто-то беззаботничает (как я грешный), кто-то ту или иную карьеру делает, кто-то просто ворует, кто-то что-то...

Некоторые даже работают.

В самом деле, разве не бороздят наши космические корабли просторы Большого театра!

Когда-то работали или не работали, но, по крайней мере, на работу ходили когда-то почти все.

За злостное нехождение в течение года давали год тюрьмы. И в уголовном кодексе статья была...

Новиков просил. Побирался. Как он обходил уголовную статью за *тунеядство*, не знаю...

Но в попрошайничестве его было столько лишнего, ненужного и – отвратительного, страшного и ужасного, но возможно неизбежного – издержки профессии – профзаболевание, хотя его работа работой когда-то не считалась.

Другое дело теперь. Ни разу не слышал, чтобы *просящие* говорили о ней по-другому. Исключительно: «Ты что, не работаешь?», «Я на работу», и так далее.

А издержки профессии у Новикова были нехорошие: он презирал тех, кто ему подает, и ненавидел тех, кто не подает...

И – не знаю, сколь надо было бы душевных сил, чтобы при такой профессии это в себе сломать... Если б даже захотелось...

О. Александр Меня не смог помочь нашему Новикову ...

И многие, многие другие отцы (и не отцы) не смогли, не помогли...

Грешный был человек Новиков...

И трудная была у него жизнь... Двойственная.

...У его достопамятного однофамильца, у того Новикова, который в восемнадцатом веке (масон! илиуминатор!) тоже двойственная жизнь была. Матушка Екатерина никак достаточно его уличить не могла.

Писала она ему (если память не врет) примерно следующее: *...если бы доброе делали, не было бы нужды таить, а вы таили...*

И наш бедный Новиков, увлеченный своим азартом (наверно, похожим на азарт охотника или рыболова), должен был двойной жизнью жить... Как его совсем небедный однофамилец, просветитель и масон...

Азарт и двойственность. Это просто заразные болезни такие...

Да, разве один Новиков был ими поражен!

Все почти этим больны. У Новикова это выразилось в попрошайничестве.

У кого-то эта двойственность воплощается в театральном или другом каком-нибудь художественном творчестве... В писанине, например... Безразлично даже, удачно воплощается или нет... У всех свое. Но и у всех общее. Диалектика.

Так что же она такое, *жизнь Новикова*?

Как и всякая наша «личная жизнь»? – Вино, кино и эскимо?

Всего только повод для кого-нибудь (как для меня, например) повспоминать, порассуждать, порассказывать? – И преимущественно о своем?

Не так ли и все наши здешние жизни?

Впрочем, новиковская жизнь в силу своей трудной своеобразности может доставить больше поводов повспоминать, порассуждать и – страшно вымолвить: м.б., даже подумать, чем многие иные в добросовестной приличности прожитые биографии ...

У нас, у многих вся личная своеобразность и неповторимость потерялась, безнадежно утонула в общей монотонности карьер и «трудовых стажей», в хищном плену масскульта и общих ценностей грубого самоуважения и самовыражения...

Интересно было бы спросить, были ли у Новикова дети...

Тогда почему-то не спросил, не пришло в голову... Да и не очень это вежливо задавать такие вопросы человеку, который в ЦСА, в ночлежке для бездомных живет...

Скорее всего, детей у него не было.

Хотя, может быть, там, в Сумгаите...

...Прости меня, Новиков...

Я так часто от тебя отвлекался на всякое постороннее...

Но я не виноват... Или не совсем виноват...

Слишком много времени прошло с тех пор, как мы были знакомы, и многое из того, что ты рассказывал, я просто преступно забыл...

Многое забывается.

Но, может быть, довольно нам и того, что помним...

Олег ДОЗМОРОВ

Недорого ценил хозяйственный Петров
развешиванье, сортировки муки
и воссоединение носков
опять, после разлуки.

Подобье божие, ощипанный петух
с широкими ногтями,
гляди, куда, дыша, нисходит дух
с простынками, носками и трусами.

Наверно, проще быть по жизни школяром:
в сне равнодушия и лени
мы записали курсе на втором
семнадцать, я не вру, определений.

Там было все: тростник, животное, мешок
с костями, и субъект, и тары-бары,
а вот – Петров, он – мыслящий носок,
то с парой, то опять без пары.

Я проснулся в четыре утра от дождя.
Он шуршал, барабанил. Однако
так, негромко, практически шелестя,
и во сне завозилась собака.

Означал этот звук шелестения что?
Из кармана достали пятерку?
Прочитала, очнувшись: «що тобі, милий, що?» –
и скорей разрывали обертку?

Иль особенно был бесконечно тягуч
этот шорох далекий, поскольку
аккуратно снимали с бечевки сургуч,
разворачивали бандерольку?

Олег Дозморов родился в 1974 году в Свердловске. Окончил филологический факультет Уральского университета и аспирантуру. Автор шести книг стихов, публикаций в журналах «Арион», «Урал», «Звезда», «Знамя», «Волга» и др. Лауреат «Русской премии» (2012). Живет и работает в Лондоне.

Долго звук шел из мест, где примерно за век
до того появился на свет
дед мой, а ныне в «дубке» человек
открывает из штаба пакет.

Я хочу, чтоб мой тесть оставался здесь,
и поэтому вы читаете про него
перед тем, как, допустим, за ужин сесть,
или после прогулки, или типа того.

Вот он садится в автобус и едет в сад,
вот исследует «Аргументы и факты», а вот
учит английский, на что горазд,
а вот чинит в своей хрущевке водопровод.

Юрий Глебович! В этом мире лишь жизнь и есть,
потому зафиксируем статус-кво:
иногда читается «факт», хоть написано «тест»,
и если вы читаете про него,
то мой тесть – как мы – остается здесь,
и с этим никто не сделает ничего.

– Что ты видишь во взоре моем,
в этом утреннем взоре-позоре?
– Я в нем вижу глубокое горе
с умирающим в поле полком.

Самолет разгонялся смелее,
парашют распахнул небеса,
пели неуставное старлеи,
закрывали перчаткой глаза.

Плыли «ИЛы», как странные рыбы,
человечью метали икру,
и снимала легко недосыпы
мысль последняя: я не умру.

Потому что нас подняли рано,
прочитали пред строем укор
и дорогами телеэкрана
повели на ненужный позор.

И никто никогда не узнает
о далеком неслышном огне
и о том, где теперь пролетает
призывник в ослепительном сне.

Почему обгоревшие руки
развернули в пространстве страну,
попросили у родины муки,
отпустили в предсердьё струну.

Только тот, кто обнялся с землицей,
понимает, что будет потом,
да его голубая петлица
затеряется в небе сыром.

Так вот какой фигачил холодок
сквозь дыры в заднике смешного балагана,
так вот о чем предупреждает Блок
и тайно жаждет, только нам туманно,

так вот о чем вопил другой пиит,
и звёздный ужас рассекал на части
и мир, и свет, и дом, где стол накрыт,
пока мы байки слушали в подкасте,

и пили в чашках глиняных улонг,
и подзывали вновь официанта,
и кто так и не выучил урок
художника, поэта, музыканта,

кто думал, что циничное верней,
что все имеет цену и тем крепко,
теперь летит, как маленькая щепка,
среди миров, пространства, звезд, огней.

Плохо. Шлифуя эзопов язык,
слово прилаживать к слову стык в стык,
ведь усложнение речи
все же слабее картечи.

Ах, речь двухслойная, заподлицо,
следует за языком-подлецом,
вот уж кому все равно-то,
пахота или пехота.

Речь разработана, выгнута речь.
Сашку забили, попробуй убечь
из исторической сечи,
из политической речи.

Оську забили! Блажен, кто тогда
желтой струей обжигал провода,
сладко кичиться пророчеств
влажной дорожкой в песочек.

Хуже молчание – способ примкнуть
к вам, победители, штык свой примкнуть
и предъявить всем пустое
слово, как жопа, простое.

Рифма, мелкая паскуда,
как несданная посуда
после алковыходных,
ты, наверно, ох.ела:
в ухо празднично звенела
в ходе действий боевых.

Раньше рифм скороговорка
в барда превращала орка,
обезболивши печаль,
а теперь сумбур афазий
и полнейший сдвиг по фазе
в очарованную даль.

Чур, потом, смотри, не харкать
кровью, подбирая к «Харьков»
невозможный ассонанс,
или к слову «Мариуполь»,
чтоб война пошла убыль,
иль проваливай сейчас.

И ручку тугую колонки качать,
подставить висок под тугую струю,
и холод собачий, и воду глотать,
чтоб зубы ломило: ты снова в строю.

Должна быть мечта, рядовой, у тебя,
такая зарубка на чёрный на день,
чтоб снилась деревня, гудела вода,
с чего бы ресницами стряхивать пыль.

На этом на свете оставишь её,
со света того не дотянешься, нет?
А если дотянешься – ручку качать,
придешь за водой в ослепительный день.

Дождь перестал, закат кровопролитен,
и ветер анонимку пролистал.
Да что там дождь! Смотри – почти что виден
соленых звезд внимательный кристалл.

Я не люблю красоты, но если...
Короче, прикрывай лицо рукой,
когда увидишь, как они пролезли.
И чем назвать, когда б не красотой.

Мы не умрем, ведь ночь – она живая.
Живи себе и на небо гляди,
то вскользь, за счёт метафор выезжая,
а то на полувдохе: господи!

Тварь любая требует вниманья.
Я зову тебя в чудесный мир –
мир нытья, уродств, самокопанья,
самоумаления и др.

Не побед, а жалких поражений,
долгих жалоб, низменных утех,

странный мир корявых отражений,
искажений достижений всех.

У любого есть испод, изнанка.
Ты его потом переверни –
где была расчесанная ранка,
выросли цветы, мечты, огни.

Человек нашаривает брючину,
человек, уснувший за столом,
человек, которому поручено,
что – забыл, в дверях застыл с ключом.

Был бы я талантливым художником,
рисовать растерянных людей
стал бы, глупо вымокших под дождем
или на себя проливших клей.

Опоздавших и теперь, на станции,
осознавших: некуда спешить,
человек в глупейшей ситуации,
человек, не знающий, как жить.

Трамвай и кладбище. Черт, где бы я ни жил –
трамвай и кладбище неподалеку.
Трамвай под окнами ходил,
и похороны – оп, через дорогу.

Все странно, странно, но должна же быть
какая-нибудь странность,
и вот трамвай ну в пять утра звонить,
и смерть – такая данность.

Трамвай четвертый, восемнадцатый,
двадцать шестой, четвертый
по кругу шли, ну, просыпайся, ты,
калач ты черствый.

Не знаю, что еще сказать. Возможно, вот:
мы за оградой там детьми играли,
и было страшно, аж болел живот,
трамвай звенел, и мы от ужаса орали.

Ангел собачий с косточкой наперевес
сам посещает каждый собачий подъезд.

Ангел – ну да, он красивость, но, как ни крути,
он уже вот он, топ-топ на своем пути.

Он уже – гав (фрикативное ав, собаки – южане),
чтобы мы со всех лап с лаем к нему бежали.

Дарит надежду и косточку дарит, чувак,
с ним веселее сквозь весь этот ужас и мрак.

Был я, допустим, когда-то достойным котом,
может быть, буду, кто знает, собакой потом.

Буду ловить ультразвук, буду ангела ждать,
буду, слюнявый и милый, куда-то бежать.

Облако летело и растаяло,
в чистом небе перестало быть,
тихо все на свете переставило,
оборвало призрачную нить.

Ныть не будем. Будем приукрашивать,
пару рифм прикрутим к облаку,
у несуществующего спрашивать
чтобы – что случится на веку.

Ротко – на закате, в дождик – Поллока
иль не нарисует ничего.
Может быть, оно совсем не облако?
Может быть, и не было его?

СЛАВА НАСТЕННЫХ МОЗАИК

Повесть

Понедельник I

Гигахрущ бесконечен, что само по себе может показаться совмещением несочетаемых слов. Тесны его сложенные из бетонных плит стены, жилищечки, распределительные узлы и производственные цеха – но нет пределов у хаотично расходящихся вдаль коридоров, лестниц, лифтовых шахт и коммуникационных колодцев. Возможно, он представляет собой некое подобие гигантской фрактальной бутылки Клейна, внешняя поверхность которой плавно переходит во внутреннюю, как бы замыкаясь на саму себя. Эта легенда больше всего популярна в закрытых НИИ и КБ, работники которых в свободную минуту задумываются о законах бытия. Люди попроще предпочитают считать, что Гигахрущ просто безмерно велик, как, к примеру, было бы велико здание, покрывающее собой всю поверхность планеты. В обоих случаях бесстрашный путешественник теоретически может, двигаясь в одном направлении, обойти весь Гигахрущ и вернуться в ту же точку, откуда он когда-то давно отправился в свой вояж. Однако в действительности это будет крайне проблематично: уже упомянутый хаос из коридоров, лестниц и лифтовых шахт ни в коей мере не позволит продвигаться по прямой, и, возможно, отважный исследователь будет всю жизнь ходить кругами – если говорить точнее, то чрезвычайно прихотливыми многоугольниками. Но скорее всего, такой путник будет остановлен на первом же контрольно-пропускном посту. Говорят (хотя, разумеется, никаких подтверждений этому нет), что даже ликвидаторы не вправе передвигаться свободно по всем коридорам Гигахруща – если, конечно же, есть хоть одно действие, которое эти хорошо вооружённые люди не вправе совершать.

В противоположность гигантскому, принципиально непознаваемому Гигахрущу крошечная диспетчерская «теплицы», а точнее, станции культивирования корнеплодно-овощных культур ЗЕА-61, с точки зрения стороннего наблюдателя является идеальным образцом мироздания: в ней нет ничего, что можно было бы оттуда убрать, и нет ничего, что туда можно было бы добавить. Первый угол занят стеллажом с садовым инвентарём. Во втором углу, сбоку от стеллажа, располагается стол диспетчера, заставленный всё тем же садовым инвентарём – разве что имеется место для эмалированной кружки растворимого синтетического чая. Третий угол вмещает в себя не очень удобный стул с клеёночато обивкой; сбоку, в квадратной нише стены наклеен декоративный плакат, создающий иллюзию окна. Четвёртый же угол, соседствующий с раздвижной дверью, предназначен для того, чтобы диспетчер мог выбрать нужное действие из трёх: закрыть дверь, повернуться к стеллажу или же разместиться на стуле. Возможно, это действительно идеальный отдельно взятый микрокосм в бесконечной вселенной Гигахруща.

Борис Пономарев родился в 1988 году в Калининграде. В 2018 году окончил Санкт-Петербургский институт культуры и искусств. Публиковался в журналах «Химия и жизнь», «Нева», «Знамя». Участник форумов молодых писателей России. Романы «Красный мак» («Плюсquamфутурум»), «Тринадцать месяцев» и «Дорога через ночь» входили в короткие списки литературной премии «Лицей» (2019, 2020, 2022).

Понедельник II

Зелёные индикаторы часов ещё показывали две минуты до окончания рабочего дня, когда Никита покинул диспетчерскую и направился через теплицу к выходу. Яркое пурпурное сияние светодиодных лент кажется приятным только первые пятнадцать минут, но потом оно всё-таки утомляет зрение, поэтому Никита шёл чуть прищурившись. Выйдя в коридор, он закрыл большую железную гермодверь теплицы на два оборота бороздчатого ключа и только потом поймал себя на мысли, что сейчас ему хочется вообще закрыть глаза.

Это было объяснимо: мироздание, начинавшееся за пределами теплицы ЗЕА-61, показалось бы неудобным даже самому неприспособленному человеку. Одежда Никиты, отсыревшая во влажном помещении, внезапно повисла липким грузом на плечах. Холодил свет тусклых коридорных ламп. Бетонные, крашенные такой же ледянисто-голубой краской стены выглядели голыми после тепличных полок с зелёной растительностью. Мелкие коричневые плитки пола за день уже успели затоптаться: отпечатки подошв пересекались друг с другом, превращаясь в странный, немного гипнотизирующий рисунок. Вдалеке в коридоре виднелись спины удаляющихся рабочих металлопрокатного цеха. После них хвостом тянулся тяжёлый запах пота и этанольного перегара. Впрочем, осудить их за это имел право лишь человек, тоже отработавший полную смену на тяжёлом, вредном для здоровья производстве; Никита же трудился в более комфортных условиях.

– Добрый вечер, – поздоровался он с мужчиной, одетым в потёртый серый комбинезон.

– Добрый вечер, – столь же вежливо откликнулся мужчина. У него была мягкая, дружелюбная манера речи, нечасто встречающаяся в коридорах Гигахруща.

Каждый раз, тотчас по окончании рабочего дня, они встречались именно здесь, в той части коридора, где из бетонного пола к бетонному потолку поднимались шесть массивных чугунных водопроводных труб. Это происходило аккуратно в ту минуту, когда рабочие-металлисты уже скрывались вдалеке за поворотом. В этой нехитрой стабильности событий было что-то приятное, успокаивающее душу и вселяющее хотя бы какую-то уверенность в завтрашнем дне. Никита не знал даже имени своего таинственного визави – лишь однажды, выйдя с работы на пару минут раньше, он увидел, как тот закрывает дверь блока, помеченного литерами ЗАС-22. Кажется, там скрывался один из узлов телефонно-телеграфной связи. Это объясняло как интеллигентный вид мужчины в комбинезоне, так и ту скорость, с которой тот захлопнул массивную дверь. Тогда Никита демонстративно отвернулся, показывая, что вовсе не желает лезть в чужие секреты. А ну как за чрезмерное любопытство уведут с собой ликвидаторы?

– Каждый раз, когда иду здесь, – начал разговор связист в комбинезоне, – задаюсь вопросом. Древние создали Гигахрущ и украсили его стены этими гениальными мозаиками. Почему же мы не в силах сделать что-то подобное?

Никита взгляделся на настенную мозаику, мимо которой они неторопливо шагали – всё равно сейчас все возвращаются в лифтах с работы, и спешить особо некуда. Улыбающийся рабочий, созданный из маленьких кусочков цветного кафеля, заливал бетон в опалубку. Когда-то давно сверху помещалась надпись «СЛАВА ТРУДУ», созданная из таких же обломков, но потом первое слово сбили из цензурных соображений. Оставшаяся часть лозунга теперь казалась какой-то самой неприятной пятибуквенной аббревиатурой, предназначенной для обозначения разве что энергораспределительных щитков.

– Может быть, потому, – осторожно ответил Никита своему шапочно знакомому собеседнику, – что Древние уже это сделали за нас?

Связист всплеснул руками.

– Нет, нет, – негромко, но с жаром возразил он. – Я имею в виду – почему наше общество настолько деградировало? Почему мы не можем воплотить в жизнь тот совершенный мир, что находится в шаге от нас на стенах Гигахруща?

Никита пожал плечами. Их разговор уже начал опасно приближаться к красной черте, и в иных условиях можно было бы предположить провокацию. Но, с другой стороны, зачем нужно устраивать какую-то провокацию там, где любого и так могут расстрелять на месте?

– Может быть, потому, что нам не дают построить? – как бы вскользь произнёс он.

Мужчина в комбинезоне, по всей видимости, не понял подтекста.

– Да бросьте, – ответил он. – Кто вам не даёт-то? Это всё отговорки для оправдания собственного бездействия. В нашей жизни всё зависит только от нас.

Никита снова пожал плечами. Ещё лет пять назад он вступил бы со своим безымянным собеседником в дискуссию и даже попытался в чём-то убедить, но сейчас подобная идея выглядела пустой тратой далеко не бесконечных собственных сил.

– Возможно, – лениво сказал он. – В любом случае, я сегодня не бездействовал...

Они свернули в короткий соединительный коридор. Здесь проходила полузаброшенная нейтральная зона, не принадлежащая ни одному из близлежащих секторов – такие ошибки административного деления ещё кое-где сохранялись. По углам валялись пустые упаковки от пищевых брикетов, коварно поблёскивающие осколки бутылок, сорванная с кабелей пластмассовая изоляция и прочий сор. Плитки пола местами были выщерблены, под потолком вдалеке горела одинокая лампа, а прямо посередине коридора чернело пятно засохшей слизи, так никем и не убранной после давнишнего Самосбора. На стене возле одной из навсегда закрытых гермодверей, покрашенной суриком прямо поверх ржавчины, угадывалась очень старая, оставшаяся со времён самоуправления надпись:

КООПЕРАТИВНЫЙ ДИСКО-БАР «ФАНТАЗИЯ»

– Вот, видите, – продолжал связист в комбинезоне, указывая на разруху вокруг. – А ведь когда-то много лет назад за той дверью – нет, не там, где потом бар был – находилась секретная аппаратура, о которой я не могу вам рассказать подробнее. Именно здесь Зингашин совершил свой подвиг. Рекордный Самосбор длился больше двух суток. Всё это время запёртый Зингашин обеспечивал бесперебойную работу вверенной ему техники и даже не выпил этанол из электроохладительной системы радиоламп! Разве сейчас так смогут?

– Наверное, не смогут, – равнодушно согласился Никита из вежливости.

– И всем безразлично! – воодушевлённо продолжил связист. – Вот Древние наверняка сделали бы здесь грандиозную мозаику, увековечивающую подвиг героя. А сейчас что? Пока не прикажет начальство, никто даже мемориальный плакат в нишу не повесит...

Они распрощались у лифто-лестничного блока, где сходились сразу четыре коридора, выкрашенные масляными красками разных цветов, а в стенной нише располагался отнюдь не мемориальный плакат «Докладывай о трещинах в стене: они могут быть источником Самосбора». После третьего нажатия лифт всё-таки приехал. Его скрип и лязг были слышны издали: Никите подумалось, что, вероятно, этим вечером лифт тоже хочет отдохнуть и ему тоже неприятно преодолевать шесть этажей.

– Системы освещения и водоснабжения в норме, – доложил Никита, сдав ключи в управлении теплиц ПЯ-74 и отработанным движением расписываясь за свою смену в журнале. – Полив и внесение подкормки произведены по установленному графику. За время дежурства происшествий не было.

Андрей Александрович, заведующий управлением, субъект штатский до последней нитки своего служебного костюма, любил, когда подчинённые обращаются к нему в подобной манере. Тогда на его немолодом лице фиксировалось сложное, отчасти одухотворённое выражение, которое свидетельствует о том, что его обладатель близок к счастью.

– Так держать, – скупно похвалил он Никиту, перехватывая журнал, чтобы внести на рыхлые, блекло-жёлтые страницы запись о приёме ключей. – До завтра.

Вот теперь можно было идти домой: ещё один коридор с новым цветом стен, ещё один спуск по лестнице, соединяющей блоки, ещё один лифт. В кабине так же чувствовался лёгкий запах перегара, но в остальном здесь было довольно прилично, лишь на вандалостойком зеркале красовался оскорбительный рисунок (должно быть, один из пассажиров возвращался с работы, держа в руках сверло высшего класса). Никита ткнул кнопку с надписью «125». Было что-то респектабельное в том, чтобы ехать в лифте в одиночестве: час пик миновал.

Родной этаж встретил Никиту дружелюбным жёлтым цветом стен: жилые блоки обычно красили в цвета, приятные глазу. Свернув влево и обойдя узел гидрораспределения, Никита поравнялся с настенной надписью АМД-125. Теперь, миновав распахнутую гермодверь, оставалось только пройти пятнадцать метров по очередному коридору, чтобы войти в жилище номер 36. Всё. Добро пожаловать домой.

– Света, пойдёшь в распределитель, брикеты пятьдесят второй серии не покупай, – доносился женский голос с кухни-столовой. – Они плохо очищенные, изжога ужасная будет...

Понедельник III

Семён Михайлович, сосед Никиты по жилище, был бодр духом в той же степени, в какой, к сожалению, казался немощен телом. Однако здесь следовало употребить именно слово «казался», ведь, дожив до пенсии, он благополучно разминутся с туберкулёзом, аспергиллёзом, циррозом, и – вот счастливчик – со страшным фиолетовым туманом Самосбора. Семён Михайлович не пил этанол, не курил эрзац-табак и даже не храпел ночью, так что ему вполне можно было простить всепоглощающую страсть к беспрестанным поучениям и назиданиям.

– Что, Никита, как день прошёл? – спросил Семён Михайлович, размешивая чай вилкой: у бетонщиков, даже вышедших на пенсию, считалось дурной приметой использовать для этой цели ложку.

Никита пожал плечами. Как может пройти типичный день жителя Гигахруща?

– Да ничего особенного, – туманно ответил он. – Всё растёт, всё развивается. Через пару дней урожай подрастёт, убирать будем. А у вас какие вести?

– Представляешь, Никита, – посетовал Семён Михайлович, – а я сегодня утром в распределитель пошёл. Попал в час пик. Три раза хотел уехать на лифте, а там всё занято было. И никто за все три раза даже не подумал уступить мне место! Хотя я видел там детей, которые вполне могли бы пройти по лестнице. В наше время молодёжь обязательно выходила из лифта, чтобы уступить место старшим!

– Сочувствую, – бросил Никита чуть запоздало, так что было непонятно, чему же именно он сочувствует.

– За такую дерзость вообще довольствие надо срезать, – безапелляционно заявил Семён Михайлович, сердито шевеля большими усами. – Не уступил место – походи голодный, поразмышляй над своим поведением, в следующий раз будешь как шёлковый. Подумать только, никакого уважения к старшим, которые всю жизнь горбатились, как самособранные... А представляешь, Никита, в самом лифте ещё кто-то похабшину нарисовал!

Никита неопределённо хмыкнул.

– А я видел, – сказал он, укладываясь на кровать и вытягивая ноги.

– Это всё из-за реформ, – продолжал сосед. – До них за такое весь жилблок выгнали бы на субботник. Хочешь-не хочешь, а после работы выходишь и чистишь стены, потому что это твой этаж и ты здесь живёшь. И в следующий раз такой хулиган хорошенько подумает перед тем, как подставлять весь коллектив!.. А теперь что? Полная свобода! Ходи где хочешь, рисуй что хочешь, старшим место в лифте не уступай. Да на кой мне такая свобода сдалась?

На самом деле Семён Михайлович был вовсе не так кровожаден, как могло показаться из его реплик. Он – дитя своей эпохи – сформировался как личность в эпоху «Рассказов для детей-47»: эту книжку сосед Никиты до сих пор хранил на своей полке, как святыню, между «Расчётом арматурных конструкций» и «Предварительным напряжением железобетона». Несложные, но очень важные истории должны были наставлять обитателей Гигахруща и учить их жизни с самого раннего возраста. Сборник начинался сюжетом о том, как один малыш очень не хотел есть тронутые плесенью брикеты; исправить это смог лишь дядя, сказавший, что в ликвидаторы берут только тех, кто хорошо кушает. Дальше шла глава про мальчика, который доложил заведующей блоком о том, что папа поражён Самосбором: папу забрали ликвидаторы, а мальчику выдали целых три карточки на синтповидло – в те годы даже дети из Верхних секторов получали только один брикет лакомства в месяц. В таком слащаво-поучительном духе была составлена вся книга – так, девочка, обнаружив дырку в уплотнении гермодвери, заткнула её пальцем. Жилблок был спасён от Самосбора, а девочку со словами «тебя обязательно вылечат» уводили всё те же самые ликвидаторы. Чувствовалось, что Семён Михайлович принимал все эти истории за чистую монету. Никита же принадлежал уже к другим поколениям, которым достались страшные байки про бракованное синтповидло: после него язык не синел, а чернел – и тогда человека, рискнувшего съесть такое лакомство, по ошибке расстреливали на месте настоящие, а не книжные ликвидаторы.

– ...потому что люди были добрее и честнее, – продолжал сосед, вспоминая золотой век Гигахруща. – Это оттого, что никаких талонов не было. Идёшь в столовую – а там тебе даже делать ничего не надо. Буфетчицы сами смотрят в таблицу, проверяют норму выработки и обед дают. Каждый месяц заходишь в банно-прачечный распределитель, там тебе вручают мыло и бритву. Разве сейчас такое мыло делают? А бритвочки какие были! Такую к шее подносишь, раз – и готово. Нынешние-то прямо в воздухе тупеют.

– Ага, – безрадостно согласился Никита, глядя в потолок тупым, подобным современному бритвенному лезвию взглядом. Отдохнуть в тишине после работы никак не удавалось. Нужно было поскорее заканчивать этот разговор, пока воодушевлённого соседа не поглотил саморазрушительный вихрь воспоминаний.

– Это всё в самоуправление началось, когда деньги придумали, – Семён Михайлович неустанно продолжал изобличать былые дни, беспощадно бичуя реалии того времени. – Тогда-то и пошёл лютый ужас. Тебя могли на лестнице за пять талонов прирезать. Хорошо, что удалось порядок навести.

Никита пожал плечами, поднявшись с кровати. Чего стоили все эти рассказы о добрых людях прежних времён, если они при первой возможности начали резать друг друга всего за пять талонов?

– Ну и что, – раздражённо ответил он, не сдержавшись. – Зато сейчас ликвидаторы тебя могут пристрелить, если ты дышишь в их сторону.

– Ну так не дыши в их сторону, и не пристрелят, – ехидно возразил сосед.

В общем-то, он был прав: без причины ликвидаторы обычно не стреляют в обитателей Гигахруща. Наверное, Никите следовало возразить, но он сдержался. И так уже беседа становилась опасной. За такое недовольство Никиту не уволкут с собой ликвидаторы, но с работы в Агропроме могут и уволить – и больше никуда «за ненадёжность» не возьмут. Через месяц будет нечем платить за подачу воздуха в жилищечку: Никиту переведут в коммблочки-общежития, где в одной комнате на трёхъярусных кроватях спят шесть человек, и ужинать тогда придётся не высококачественным грибным концентратом – едой успешных людей, – а пайковыми брикетами из гидролизованного жмыха.

– Пойду, кстати, поужинаю, – сказал Никита, вытаскивая из шкафчика брикет.

– Приятного аппетита, – вежливо ответил Семён Михайлович. Всё-таки Никите повезло с соседом.

В кухне-столовой было не так уж и многолюдно: жилблок АМД-125 населяли люди преимущественно семейные, предпочитающие принимать пищу дома, в жилищечайках. Покрошив в тарелку брикет грибного концентрата, Никита залил его кипятком и поставил на полосатую клеёнку стола. Ту же процедуру он проделал и с таблеткой чая, растворив его в кружке. Кинув туда половину дольки сахара, он откинулся на спинку стула, наслаждаясь вечерним отдыхом. Что может быть лучше, чем поужинать грибным брикетом, вернувшись с работы домой? Разве что поужинать сосиской?

Надо быть справедливым. Работа у Никиты не самая тяжёлая, но и платят на ней не так, чтобы каждый вечер ужинать сосиской. Во всём жилблоке такое может себе позволить лишь несколько человек. Может быть, всё же нужно было согласиться на работу в грибной теплице? Платят там лучше, чем в овощной...

Платят там хорошо, вот только, работая с вешенками, хочешь-не хочешь, а однажды вдохнёшь споры – и с тех пор в твоих лёгких появится новая жизнь, совершенно недружелюбная по отношению к старой. Грустно покачив головой, Никита помешал алюминиевой ложкой грибной концентрат и осторожно, чтобы не обжечься, попробовал маленькую порцию. Неплохо. Сегодня поединок человека и гриба закончился победой человека – а завтра наступит только завтра.

По телевизору, чей выпуклый экран мерцал над водонагревательным титаном, показывали вечерние новости. Сегодня трансляция шла почти без помех.

– ...в промышленном секторе ФЗУ-34 сегодня произошло Аномальное Явление... – рассказывала чёрно-белая телеведущая.

Что-то давно Самосбор не называют Самосбором. Сегодня его именуют «Аномальное явление», завтра – «Инцидент», а послезавтра, возможно, о нём скажут как о «Событии». Впрочем, и сам термин Самосбор – это замена какого-то другого, старого, столь страшного названия, что никто не хотел его вспоминать.

– ...высокий уровень подготовки и отработанные навыки борьбы за живучесть позволили избежать человеческих жертв. Оперативно прибывшие ликвидаторы в кратчайшие сроки справились с последствиями Аномального Явления по протоколу Анна-раз...

А-1 – это обычная уборка. Чего там справляться? Если фиолетовый туман Самосбора не дойдёт до человека, то последствий практически не будет – ну разве что останется несколько лужиц чёрной жижи на полу и тяжёлый, плохо выветриваемый запах. Почему-то его принято называть запахом сырого мяса. Никита не согласился бы с этим. Ему доводилось раз два проходить через секторы, попавшие ранее под Самосбор, и тот гнетущий дух совершенно не казался похожим на запах мясных сосисок категории Б – Никите тоже доводилось пробовать одну такую, когда он был на курсах повышения квалификации в Верхних секторах.

– ...управление ликвидации напоминает о необходимости самонаблюдения, – железным голосом говорил с экрана мужчина в униформе. – Если вы видите, что ваши слизистые оболочки покрылись чёрным налётом или из ноздрей начинает течь чёрная жидкость, – значит, вы столкнулись с Аномальным Явлением, и вам следует немедленно обратиться за помощью в ближайший медблок...

Свежо предание, да верится с трудом. Нельзя спасти попавшего под Самосбор. Скорее всего, ликвидаторы его просто пристрелят из соображений самозащиты, даже не успев довести до ближайшего НИИ. Никто не знает, во что может превратиться человек, проконтактировавший с густым фиолетовым туманом. Легенды рассказывали о том, как за ночь у человека отрастала дюжина щупалец, которыми он утром разрывал всех остальных обитателей жилблока. Легенды говорили о хитиновых панцирях, которых не могли пробить даже спецпатроны с урановыми сердечниками. Впрочем, эти слухи не стоило пересказывать: слишком велик был шанс попасть потом на допрос к ликвидаторам. «Откуда вы услышали эту историю? Кто вам её сообщил? Кому вы успели её рассказать?» Никита один раз в жизни видел, как ликвидаторы утаскивают человека из

жилячейки, – и видеть подобную сцену второй раз, а уж тем более становиться её участником, не хотелось ни в коей степени.

– ...помните, – продолжал мужчина в телевизоре, – если вы заметили симптомы контакта у другого человека, следует немедленно сообщить любому уполномоченному лицу. От этого может зависеть ваша жизнь...

За соседним столом сидел Петрович из тридцать второй ячейки – тихий, немногословный человек без имени. Встретившись взглядом с Никитой, он стыдливо кивнул и тут же отвернулся обратно к телевизору. Когда-то давно, ещё до того, как Никиту переселили в жилблок АД-125, Петрович был совсем другим. Это его и сгубило. Однажды вечером после рабочего дня Петрович пришёл домой с двумя товарищами по работе. Судя по всему, день оказался очень тяжёлым – коллеги отоварили сразу пять карточек на этанол и начали употреблять его ещё на лестнице. Все могли слышать, как они, ругаясь, наотрез отказываются от дальнейшей работы на объекте без спецафандров повышенной защиты. Здесь Семён Михайлович, рассказывавший Никите эту историю, практически переходил на негромкий шёпот: названия объекта он никоим образом не упоминал, ограничившись лишь фразой о том, что там была одна буква и одна цифра. В тот страшный вечер Петрович очень быстро опьянел и лишился чувств. Возможно, это его и спасло, когда за ними пришли ликвидаторы.

Через три дня, когда уже все попрощались с Петровичем и, поминая его хорошие человеческие качества, растащили талоны и брикеты из его жилищечки, он всё-таки вернулся. Петрович сохранил за собой койку и даже смог потом устроиться подсобным рабочим в арматурный цех, что свидетельствовало о полной реабилитации в правах. Но те дни, о которых он никогда не рассказывал, всё же оставили на нём след – Петрович бросил пить, стал исключительно немногословным и очень не любил, когда его громко окликали по имени. В такие секунды он вжимал голову в плечи.

Вторник I

Никите отчего-то опять было тоскливо и беспокойно – возможно потому, что сегодня не удалось отдохнуть на кухне в одиночестве. По телевизору показывали фильм «Любови все возрасты покорны» – мелодраму былых лет про то, как заведующая химвиробудом ГП-5 полюбила простого слесаря из коммблока и обрела своё женское счастье. Слесарь, первым делом выпивший весь этанол, найденный в индивидуальной трёхкомнатной жилищечке своей суженой, был откровенно ублюдочен, и Никита совершенно не понимал, почему половина обитательниц жилблока, собравшихся сейчас в кухне-столовой, смотрит этот фильм с влажными глазами – впрочем, женщины всегда любят плохих мужчин. Да, пожалуй, страшнее, чем кинематографический герой-любовник, могли быть только зрители, сопровождавшие просмотр ностальгическими репликами наподобие «Какие же хорошие жили тогда люди!» или «Столько лет прошло, а до сих пор лучше фильма и не сняли!». Этикет Гигахруща предписывал всячески уважать старших за их уникальный опыт, хотя, положив руку на сердце, Никита бы мог и поспорить. Ну что уникального в навыке разламывания брикета перед тем, как его заварить кипятком? Это и так написано на упаковке. Так что, торопливо поужинав грибным концентратом, он покинул переполненную комнату и направился обратно в жилищечку. В шкафчике ещё должны были оставаться одна-две карточки на этанол: пару месяцев назад ему выдали премию. Поскольку Никита вёл не особо светский образ жизни, срок их действия уже опасно близился к концу.

– Всё-таки жаль мне ваше поколение, – чуть снисходительным тоном сказал Семён Михайлович. Никита продолжал поиски – карточки куда-то пропали. – Вот в наше время мы шкафчики на ключ не закрывали...

Никита на секунду оглянулся. Интересно, если ответить соседу «Так в ваше время вам и ключи-то были не положены», это будет выглядеть как оскорбление? С Семёном Михайловичем ещё жить в одной жилчейке. Не стоит портить отношения.

Две непогашенные карточки на этанол всё-таки обнаружили под зарплатной книжкой стро-гой отчётности. Никита переложил их в карман. Туда же он спрятал картофелину, которую сегодня тайно сварил на работе. Разумеется, в теплице подсчитан каждый ящик с землёй и каждый литр воды – но умелый садовод может разместить растения чуть плотнее, чем это предписано в нормативах, где также указан процент невсхожести. Поэтому несколько клубней картофеля мож-но оставить себе.

– К вечеру вернусь, – пояснил он на прощание соседу и отправился в путь.

Лифт опять был занят, хоть послерабочий час пик уже давно кончился: два нажатия на желез-ную кнопку вызова не привели ни к малейшему результату. Вздохнув, Никита направился вверх по лестнице.

Конечно, Гигахрущ бесконечен – но его отдельные части могут быть очень компактными. Взять хотя бы жилсектор АМД: то, что Никита жил на 125 уровне, вовсе не означало, что здесь су-ществуют сотни ярусов. Четырьмя этажами выше лестница упиралась в закрытые и опечатанные двери; там мигал красный глазок сигнализации и висела строгая предупреждающая табличка. Пятью этажами ниже всё было попросту залито бетоном. Оставалось лишь гадать, что находится под этой преградой. Возможно, там шли ярусы, необратимо повреждённые Самосбором (бывало и так, что лишь срочное бетонирование могло преградить путь страшному фиолетовому туману, разрушающему все человеческие представления о возможном и невозможном). С такой же веро-ятностью там мог располагаться особо секретный НИИ, работающий над спасительным лекар-ством или образцом сверхпрочного скафандра – ходил слух, что у ликвидаторов есть несколько штук защитных костюмов, снабжённых мощными фильтрами.

Никита не торопясь шёл наверх. На лестничной клетке 126 жилблока пахло хлорной изве-стью. Женщина с объёмной причёской тщательно протирала тряпкой местную достопримеча-тельность, настенную мозаику тонкой работы: несколько учёных в белых халатах стояли на фоне химических колб и атомных орбиталей. Высокообразованные обитатели АМД-126 по праву гор-дились этим образцом искусства Древних и тщательно оберегали его на зависть соседям с дру-гих этажей; правда, года два назад поступил приказ сбить фрагмент, где кусочками кафеля было выложено секретное название НИИ. С того дня все жители блока окончательно уверились, что остальные просто завидуют их мозаике, и принялись ухаживать за ней с удвоенной силой.

127 жилблок, напротив, населяли люди попроще: здесь опять шёл какой-то праздник и тяже-ло пахло этанолом, ну а стенная мозаика была давно замазана серой эмалью. Шумела музыка. На ступенях, уткнув лицо в колени, сидела пьяная женщина. Никита осторожно обогнул её, стараясь не наступить на волосы.

– ...совсем от рук отбился, – жаловался стоящий на лестничной клетке мужчина с густыми чёрными усами. Его собеседник согласно кивал, прихлёбывая из бутылки. – Я ему говорю: сынок, ты не понимаешь своего хрупкого счастья, пока ты его не потерял. Брикеты есть, крыша над го-ловой есть, этанол дают. Тут от радости прыгать надо. А он мне что отвечает?..

Добравшись до 128 уровня, Никита свернул в боковой переход, где рабочий счищал шпателем со стены какую-то наклейку: все плакаты положено крепить только в специально предназна-ченные для этого ниши. Миновав ещё одну короткую соединительную лестницу, он прошёл двумя тесными коридорами: гермодвери здесь были тоже маленькие, снабжённые четырёхбуквенными пометками. Наконец после подъёма на лифте Никита оказался у пропускного пункта: контролёр лениво проглядел издали его документы и, не говоря ни слова, вернулся к чтению приключенче-ской книги.

Исписанные ругательствами тёмно-зелёные стены и редкие – половина вышла из строя – горящие под низким потолком лампы свидетельствовали о том, что Никита дошёл до сектора с

общежитиями. Людей тут жило заметно больше: спускаясь по тесной лестнице, он несколько раз столкнулся с отдыхающими жильцами. Нумерация здесь, в секторе БУР, была совсем другая – триста тринадцатый этаж, триста двенадцатый этаж...

На триста одиннадцатом этаже Никиту ощутимо задел локтем абориген, одетый в растянутую майку.

– Шляются тут, – донеслось до него злобное рычание. – Проходной двор устроили...

Никита промолчал. Со здешними жителями лучше не вступать в конфликт.

На триста десятом этаже одна женщина сложной судьбы (это было заметно по её глазам) обрatisлась к нему:

– Мужчина, угостите даму этанолом...

Никита отрицательно покачал головой, продолжая свой спуск.

На триста девятом этаже пахло тинной. Это вдруг напомнило Никите о том, как он в молодости, сразу после учебных курсов в НИИ, работал на станции выращивания хлореллы. Похоже, кто-то из обитателей коммблоков смог подзаработать на пищевые концентраты; но лучше не спрашивать, где местные добывают карточки на этанол. Задумавшись о жизни, Никита едва не зацепился рукавом за полуотломанную дверцу общественного почтового ящика. Отштампованные слова «для писем и газет» ещё угадывались на грязном металле, но ни писем, ни газет внутри, конечно, уже давно не было – лишь поднималась над ящиком к потолку полоса старой копоти, закрывая собой несколько грубых слов.

На триста восьмом этаже Никита, пригнувшись под потолочной балкой, свернул в коридор жилблока: фанерная гермодверь с хлипким уплотнением из клеёнки была открыта настежь. Миновав сушащееся в коридоре штопаное бельё, он едва не столкнулся с сурового вида мужчиной средних лет. Живот мужчины колыхался, точно поверхность растворённого синтповидла.

– К кому идём? – самым что ни на есть деловым тоном спросил мужчина, всем видом показывая, что он – как минимум заведующий.

– К Лёне. Двадцать пятая ячейка.

– А документики ваши? – продолжил мужчина средних лет. Манера беседы делала его похожим на работаровца. – С какой целью пришли? Язык показываем.

Вот это уже было совершенно не по чину. Конечно, по закону ответственное лицо имело все полномочия для осмотра постороннего посетителя, но в данной ситуации это граничило с откровенным самодурством – ну как если бы ликвидаторы начали просто так, за здорово живёшь, расстреливать всех встречаемых обитателей Гигахруща. Никита нахмурился. По какому праву заведующий всего лишь коммблоком так допрашивает гостя, работающего ни много ни мало в Агропроме? Гостя, имеющего допуск четырнадцатого уровня? Гостя, когда-то прошедшего курсы повышения квалификации в Верхних секторах?

– С целью производственной консультации, – холодно отрезал Никита, чуть приподняв руку с документами, но не показывая язык. – Если вы откажете мне в доступе и партия урожая Щука-Зинаида-шестьсот-сорок-один сгниёт на корню, то уполномоченные лица спросят, по чьей вине это произошло. Тогда я назову вашу фамилию, имя и отчество. Кстати, каковы ваши фамилия, имя и отчество?

Вопреки ожиданиям Никиты заведующий неплохо выдержал этот удар – всё-таки неопытных людей не назначают на такие должности. Без малейшего подобострастия он криво улыбнулся и чуть сдвинулся в сторону, всем своим видом показывая, что только ради партии урожая ЩЗ-641, и только ради неё, он согласен прикрыть глаза на букву закона, чтобы последовать его духу.

– Так вот, – на прощание сказал Никита, желая ещё раз показать заведующему, кто тут главный. – Про партию урожая никому ни слова.

Заведующий снова криво улыбнулся, показывая, что эта тайна умрёт вместе с ним.

– Так, вещи из прохода убираем! – услышал его голос за спиной Никита, удаляясь по коридору. Видимо, заведующий решил отыгаться на жильцах блока. – А вдруг сейчас Самосбор, а вы тут бельё сушите? Быстро перенести!

Кто-то неуверенно возражал, но заведующий был непреклонен. Похоже, Никите удалось задержать его за живое.

– Вас Гигахрущ бесплатно кормит жмыхом, воздух в жилищечки подаёт, а вы как себя ведёте? Выполнять немедленно!

Обогнув неумытого мальчика, обратившегося к нему со словами «Дядя, дайте талончик», Никита добрался до цели. Дважды ударив в дверь жилищечки и не дожидаясь ответа, он заглянул внутрь. Двое парней играли в карты на заставленном тарелками столе. В тёплом, влажном воздухе пахло прелой гнильцой жмыха: видимо, ужин закончился лишь недавно. В стенной нише висел плакат с грозно выглядящим ликвидатором. Неприятно заскрипели ржавые пружины: Лёня посмотрел на Никиту с верхнего яруса железной кровати.

– Какие люди в нашем коммблоке!

Никита улынулся.

– Вторник. Время отдыхать.

Вторник II

Снаружи, за пределами сектора БУР было просторнее, и даже воздух казался прохладным и чистым. Навстречу им прошли двое: женщина с авоськой, набитой брикетами, и мужчина с двумя неоткрытыми бутылками этанола. Его майка торчала из-под обтрёпанной тренировочной куртки, и казалось, что мужчина носит спортивные брюки с оборками.

– Нале-во! – скомандовал мужчина с оборками на повороте, рассмеявшись собственной шутке. Никита проводил их взглядом: обычно семейные пары ходят в распределители по субботам.

– Начну с дела, – заговорил Лёня, когда семейная пара скрылась за их спинами. – Не поможешь достать пропуск в сектор Ка-семьдесят два?

– Ка или Кэ-а?

– Ка. Константин.

Никита задумчиво потёр щёку. К-72. Кажется, это сектор НИИ. Одна буква, но две цифры, значит, получить пропуск теоретически возможно.

– Я могу узнать через дирекцию. Но зачем тебе?

– Был тут слух, – как бы невзначай сказал Лёня, – что там обнаружили мозаику с Ним. Говорят – старая, чуть ли не одна из самых первых. Только теперь туда не пройти. Спецрежим ликвидаторы ввели...

Никита пожал плечами, оглядываясь – не слышит ли кто их разговор?

– Ну, если там уже спецрежим ввели, то как я туда пропуск достану? – недовольно ответил он. – Да и мозаику уже сбили наверняка.

– Как учит нас Он, в жизни всегда есть место чуду, – улыбнулся Лёня, делая правой рукой возле своего лица такой жест, как будто откидывал забрало скафандра.

Никита дёрнулся. В коридоре всё же есть и другие люди! А вдруг кто-то заметит? Лёня, конечно, хороший парень, но зря он так смело показывает свою веру. Когда-нибудь соседи из коммблока очередной раз доложат про него ликвидаторам, и Лёню уведут. Не на расстрел – всё же тут не Самосбор. Но обычно забранные ликвидаторами не возвращаются. Что с ними происходит – трудятся ли они на работах повышенной вредности или просто до самой смерти живут в тюремных блоках, после чего их тела перемалывают в сосиски, – остаётся неизвестным, и лучше такими вещами не интересоваться. В Гигахруще вообще лучше не задаваться вопросами. Лёня вот начал

задумываться о жизни несколько лет назад – и поверил в Единственного, Кто Вышел и Вернулся. За это его и выгнали из Агропрома.

Лёня опять улыбнулся, на этот раз слегка снисходительно.

– Не бойся, – сказал он. – Может быть, и ты когда-нибудь обретёшь веру и утратишь страх. А про мозаику... – Он придвинулся и зашептал Никите почти на ухо: – Ничего они её не собьют. Сделают священный спецсектор. Я тебе скажу, ликвидаторы сами в Него верят ещё больше нас. Только нам запрещают. Чтобы спастись могли только они.

На лестничной клетке Никита и Лёня разминулись с двумя мужчинами; те косо посмотрели на футболку Лёни, где в шахматном порядке размещались пять золотых звёзд – символ победителя физкультурных соревнований, – но, к счастью, ничего не сказали. Другие могли бы и придраться: с чего это Лёня, человек явно неспортивного вида, носит одежду с такими престижными эмблемами? И даже то, что жители коммблоков не имеют особой возможности разнообразить свой гардероб, вряд ли послужит аргументом...

Распахнутую настежь гермодверь распределителя подпирал кусок бетона с торчащим оттуда обрезком арматуры (это походило на вставленный в бомбу фитиль), но внутри всё равно было душно. К счастью, очередь начиналась внутри помещения, что позволяло считать её недлинной.

– Дайте брикеты не пятьдесят второй серии! Они не очищенные! – спорил какой-то мужчина у кассы.

– Других нет, – зло отвечала продавщица с блестящим от пота лицом. У неё был очень измождённый вид.

В очереди стоял невысокий мальчик, глядящий на спорщиков большими грустными глазами. Весь его вид говорил о том, как он испуган этими странными взрослыми. Неужели он вырастет и станет таким же? Никите отчего-то стало стыдно. Думал ли он в детстве, что спустя двадцать лет ему придётся всё так же ждать в очереди и что изменится только карточка в его руке? А что станет с ним лет через сорок? Он будет стоять в толпе покупателей, но на этот раз с пачкой пенсионных продовольственных карточек? А потом пойдёт ужинать хлореллой в столовую, где по телевизору показывают фильм времён его молодости?..

– Ну тогда скидку сделайте! – продолжал спорить мужчина. – Что мне, семью травить, что ли?

– Не положено!

Стоящий чуть впереди худенький дедушка обернулся к Никите.

– Это всё потому, – зачем-то сказал он, – что у нас сделали рыночную экономику.

– Ага, – равнодушно ответил Никита. – Как скажет директор рынка, так и будет.

Скандал продолжался. Дело заключалось даже не столько в полубракованных брикетах – ну в самом деле, это не повод для спора, – сколько в том, что ругать в Гигахруще позволялось лишь работников распределителей. Мало кто осмеливался возразить своему заведующему или постоянному контролёру, и уж точно не нашлось бы смельчака, рискнувшего послушаться ликвидаторов, – но вот на сотрудников общественной торговли эти ограничения не распространялись. Их можно было без опасения проклинать в кухонных разговорах, жаловаться (разумеется, безрезультатно) в распределительную администрацию и даже едко высмеивать в печати – Никите доводилось видеть карикатуры, где жадные, думающие только о собственной выгоде торговцы-спекулянты всячески обманывали честных обитателей Гигахруща, подсовывая им из-под полы просроченные, начавшие разлагаться брикеты. В конце концов, должен же кто-то быть виновным в бедах социума?

– Пожалуйста, не задерживайте очередь! – сердился ещё один покупатель, которому до кассы оставалось всего ничего.

– Если тебе так не нравятся брикеты, пиши заявление и переселяйся на Верхние уровни! А если не переселяют, тогда бери, что дают! – учил жизни сурового вида мужчина.

Позади, за спиной продавщицы висел плакат «Вежливость – норма нашего времени», закрывая старую мозаичную надпись «ХрущПО-56» – от этой системы нумерации отказались уже

очень давно. У плаката был оторван угол, и нарисованный улыбающийся продавец протягивал брикеты куда-то в пустоту и вверх. Вверх... Никита подумал, что надо бы ещё раз попробовать подать заявление на курсы повышения квалификации. Если его обучат работать в гидропонной теплице, то там можно будет неплохо подняться – в прямом смысле этого слова, на Верхние уровни. Но вот только кто же его пустит на курсы? Туда даже по блату не попасть. Хорошие места в Гигахруще заняты ещё до рождения Никиты.

– Ну переселюсь! А что, вам тогда брикеты нормальные привезут?..

Драма у кассы продолжалась. Недовольный мужчина, не получив ни качественных брикетов, ни скидки, всё же смог выпросить жалобную книгу и сейчас торопливо писал в ней.

– А вот раньше, – продолжил дедушка, пытаясь зацепить взгляд Никиты, – такого не было...

– Это точно, – согласился Никита. – Ему бы даже жалобную книгу не дали...

Отоварив карточку, Никита получил заветную бутылку этанола; в свою очередь Лёня со словами «кутить так кутить» приобрёл брикет синтповидла. Прорвавшись через очередь наружу, они пошли в сторону и наверх – туда, где двумя коридорами дальше, тремя этажами выше лестница упиралась в давно закрытую гермодверь с глазком, замазанным серой краской. Здесь не горела лампочка, и вокруг царил довольно уютный полумрак. Свет, прорывавшийся с нижних этажей, падал на стену диагональной линией. Едва пахло нагретой электропроводкой.

Вытащив из кармана газету, Лёня расстелил её на ступенях. Никита осторожно отломил уголок – больше не нужно – от брикета синтповидла и, раскрошив его пальцами, засыпал получившийся порошок в свежкупленную бутылку сорокапроцентного этанола, легко встряхнув её напоследок. Взбаламученная жидкость покрылась лёгкой пеной. Запах жжёной резины стал слабее; взамен этанол приобрёл густой фиолетовый цвет. Казалось, что если в него обмакнуть палец, то на стене можно будет написать слово. Наконец на дно бутылки начали неторопливо падать едва заметные хлопья осадка. Коктейль был готов.

Снизу раздалися шаги: трое совсем молодых парней с бутылкой этанола недовольно усталились на Никиту и Лёню, занявших столь уютное место. Никита напрягся: в этих секторах молодёжь взрослеет рано, но, к счастью, всё обошлось без драки. Юные гости, перекинувшись взглядами, развернулись и ушли.

– Чернильники, – презрительно бросил один из парней перед тем, как скрыться вниз.

Синтповидло, растворённое в этаноле, делало напиток из просто тошнотворного приторно-тошнотворным, взамен снижая крепость алкоголя: должно быть, в ходе реакции разлагалась примесь изопропанола. Из-за этого коктейль считался в Гигахруще преимущественно женским, и употреблять его в необразованной мужской компании было дурным тоном.

– Думаю, можно, – наконец сказал Никита и осторожно, чтобы не стряхнуть со дна осадок, налил этанол себе и другу.

Они чокнулись зажатыми в руках эмалированными кружками: звук был забавный. Первый глоток прополз в глотку точно стусок канцелярского клея. Никита так и не научился пить этанол – ему всё время казалось, что его стошнит. Несколько бесконечных секунд он боролся с подступающей дурнотой; ему даже пришлось зажмуриться. Судя по резкому вдоху Лёни, тот испытывал схожие ощущения.

– Что-то совсем гадкая партия, – сдавленным голосом пробормотал он. Никита посмотрел маркировку этанола: номер серии заканчивался на цифры 76. Если вдруг будет выбор, такое больше не стоит брать.

– Давай следующую.

Второй глоток этанола всегда удавался проще: видимо, организм получал нечто вроде местной анестезии. Теперь Никита даже смог закусить варёной картошкой, предварительно посыпав её раскрошенным суповым брикетом. Брикет был солёный, с каким-то терпким привкусом, позволяющим нейтрализовать приторно-гадкий коктейль.

Почему-то этанол действовал на Никиту совершенно не так, как на остальных жителей Гигахруща. В них – в заведующей Екатерине Алексеевне, в Антоне из шестой жилищайки, даже в Семёне Михайловиче, который любил нет-нет да и прихлопнуть треть кружечки, особенно если угощают, – в них он пробуждал оптимизм, веру в жизнь, и странную, неоправданную радость. Никита же по неизвестной причине ощущал себя совсем иначе. Барьеры, которыми он успешно отгораживал себя в обычной жизни от этой самой обычной жизни, истаявали в этаноле точно синтповидло, и Никита внезапно начинал испытывать чувства, от которых обычно старался укрыться. Передав недоеденную половину картофелины Лёне, Никита огляделся, словно пытаясь понять – каким образом он оказался здесь, на верхней лестничной клетке сектора ЗСУ, прямо под выведенным багровыми цифрами на стене номером 217? Почему он сидит на газете, опираясь правой рукой на ржавые перила из сваренных железных прутьев, с которых уже давно отвалилась вся краска? Зачем он пьёт отвратительный, бьющий по голове напиток фиолетового цвета?

Неожиданно для себя Никита ощутил, что правая кроссовка сильно сдавливает ногу: раньше ему удавалось отгонять от себя даже это чувство. Поставив кружку на бетон ступени, он расшнуровал обувь и снял её, пошевелив освободившимися пальцами. Лёня, доев свою часть картофелины, с лёгким удивлением наблюдал за его действиями; в этот момент Никита осознал, что держит кроссовку в руке так, как будто собирается занюхать ею выпитый этанол.

– Какой-то камушек попал, – солгал Никита, для видимости лёгонько постучав кроссовкой о перила, точно выбивая несуществующую помеху. Он подумал, что обитатель Гигахруща, занюхивающий этанол собственной обувью, в общем-то, вполне достоверный типаж, в возможности существования которого никто не усомнится, и ему стало грустно.

– Вот теперь можно поговорить и о вечном, – сказал Никита, оставив кроссовку в покое. Собственный голос показался ему каким-то чужим и незнакомым.

– А не боишься? – с лёгким вызовом спросил Лёня.

Никита осторожно прислушался к внутренним ощущениям. Затем – к звукам на нижних этажах. И там и там всё было спокойно.

– Сейчас – нет.

Лёня поднял взгляд вверх, где в полумраке лестничной клетки белела потолочная бетонная плита, и улыбнулся.

– Ну, тогда давай поговорим о Нём.

Эту легенду, одно из бесчисленных сказаний Гигахруща, Никита знал не первый год. Она гласила, что когда-то очень давно, в незапамятные времена, задолго до самоуправления, в Эру великих шагов, жители Гигахруща попытались преодолеть само пространство и время, чтобы выбраться наружу, за пределы бетонных стен. Никто не знал, как именно это оказалось возможным, но классический сюжет был таким. Сотрудники семидесяти семи НИИ и КБ изготовили скаффандр, способный выдержать даже пребывание в центре Самосбора. В урочный, рассчитанный заранее час ликвидаторы отворили Семь Гермоврат, ведущих на крышу Гигахруща, и его простой обитатель вышел наружу. Он гулял там не больше часа. Никто не знает, что он видел там; апокрифические сказания говорили про звёзды, траву и ночное небо – точно как на настенных мозаиках Древних. Эти же сказания расходились в том, когда Его расстреляли: сразу по возвращении, немедленно после допроса или же на третий день. Однако пули не смогли убить путешественника – за час, проведённый вне пределов Гигахруща, он стал богочеловеком и обрёл бессмертие. Никто не знал, что стало с Ним дальше, но именно с тех пор на стенах Гигахруща в дальних заброшенных секторах сохранились мозаики Древних с Его портретами. Оригиналы Никите – да и, пожалуй, почти никому – не доводилось видеть, но при желании найти копию эскиза, сделанного по рисунку с наброска, было несложно, равно как и узнать на нём канонический лик Героя: широко улыбающегося мужчину в скаффандре на фоне звёздного неба. Выше, над шлемом скаффандра с открытым забралом, всегда помещались два имени, показывающие Его двойную природу – человеческое имя Слава и божественный тетраграмматон КПСС.

Вторник III

– Как думаешь, – обратился Никита к Лёне, вновь разливая этанол по кружкам, – что там было снаружи? Что Он там увидел?

Для начала беседы Никита решил сделать допущение, что Слава КПСС действительно существовал и действительно выходил на крышу. В конце концов, он мог быть просто каким-то старинным киноактёром или героем-ликвидатором, которого решили запечатлеть в настенной мозаике на фоне звёздного неба.

– Ты знаешь, – коротко ответил Лёня. – Вопрос не в том, что он видел, а чего он там не видел. Но ты и правда хочешь, чтобы я это сказал прямо здесь?

Лёня знал правила базовой конспирации. За фразу «Слава КПСС на крыше бывал и Самосбора не видал» можно было гарантированно лишиться работы – собственно, примерно за это Лёню и уволили из Агропрома. Не стоило подставлять Никиту.

– Нет, – сказал Никита, чуть мотнув головой. – Не надо. Но почему ты думаешь, что там нет Самосбора? Ведь откуда-то же он должен появляться?

Лёня чуть пригубил этанол. То же самое сделал и Никита. Сейчас их самодельный коктейль уже не казался отвратительным: поистине, человек может приспособиться ко всему.

– Самосбор приходит снизу, – ответил Лёня и закусил обломками супового брикета. – Это наказание за гордость и тщеславие. Когда Древние, пытаясь познать мир, приказали своим учёным пробурить самую глубокую скважину – те пробили дно, выпустив Самосбор на свободу...

Никита, крутя в руках кружку – коктейль вздымался по её стенкам, оставляя на них фиолетовый след, и это отчего-то казалось смешным, – решил, что как-нибудь надо будет расспросить Лёню поподробнее. Почему Самосбор выпустили Древние, а наказан этим Никита?

– ...и с тех пор он просачивается снизу через трещины и стыки в бетоне, – продолжал Лёня. – Ведь на Верхних уровнях его почти не бывает. А на крыше его нет.

– Откуда ты знаешь?

Лёня посмотрел на Никиту. Сделав глоток, он закашлялся.

– Потому что Его тогда бы не казнили, – сказал он изменившимся голосом. – Но Он принёс людям благую весть о том, что на крыше нет Самосбора, и это стоило ему жизни. Кто захочет оставаться в Гигахруще, если там, снаружи, есть спасение?

– Хороший вопрос – есть ли вообще что-то снаружи.

Лёня лишь воздел руку к плакату в стенной нише прямо напротив них. Это был непонятно как здесь оказавшийся репринт мозаичного сюжета Древних: вероятно, когда-то за спинами Никиты и Лёни располагался вход в очень важное учреждение. Несколько физкультурников – одетых в белоснежные майки юношей и такие же белоснежные платья девушек – образовывали гимнастическую пирамиду на какой-то площади. Вдалеке на заднем фоне виднелся город, залитый лучами гигантского золотого светила. К небу возносились невообразимой высоты здания белого бетона; одно из них было увенчано статуей человека с воздетой рукой. Казалось, ещё немного, и он дотронется до облаков. Неизвестный хулиган – надо заметить, очень культурный хулиган – пририсовал статуе бутылку этанола, вложив в поднятую ладонь.

– Чтобы придумать такой рисунок, – пояснил Лёня, – нужно знать, что существует открытое пространство и что в небе есть большое, яркое светящееся нечто. Попробуй посмотреть на этот рисунок и представить мир снаружи?

– Это даже не мозаика. Вот это – просто фантастическая картинка, из числа тех, к которым наши заведующие привыкли в детстве, – негромко произнёс Никита. – Поэтому их и вешают. Когда мы состаримся и станем начальством, то люди, чтобы умиловить нас, будут украшать стены картинками из нашей молодости.

– Мы? – с лёгкой, едва заметной иронией спросил Лёня. – Начальство? Нас? Умиловить?

Никите стало грустно. В самом деле, обитателям секторов АМД и БУР не следует слишком забегать вперёд в своих планах на жизнь.

– Кто знает, – сказал Никита в пространство; казалось, он говорит это не столько Лёне, сколько себе. – Если долго учиться и упорно работать... может быть, меня переведут в сектор... хотя бы ЗАЗ. Ну или как два месяца назад дадут пять карточек на этанол, который мы сейчас пьём.

Он снова сделал глоток из кружки.

– А чтобы прийти к Нему, – важно сказал Лёня, – нужно всего лишь открыть своё сердце.

Никита выпил ещё глоток этанола. Хотелось поговорить о более важных вещах.

– Лёня, – начал он. – Вот скажи мне. Почему вы ищите мозаики с Ним, но не пытаетесь выбраться наружу? Может быть, наверх нет выхода?

Никита говорил это с лёгким вызовом. Ему хотелось, чтобы Лёня начал с жаром доказывать – нет, выход есть...

Лёня не попался на провокацию и желание Никиты не исполнил.

– Наверное, потому, что тех, кто обрёл спасение и вышел отсюда, ты уже не встретишь, – логично ответил он.

– Значит, выход всё-таки есть? – спросил Никита с тем же вызовом в голосе.

– Почему бы ему не быть. Слава КПСС до расстрела не мог проходить сквозь стены.

– А если Гигахрущ бесконечен? И снаружи ничего нет?

– Он выходил, – веско сказал Лёня. – И видел мир снаружи.

Здесь можно было бы начать долгий теологический спор: кто доказал, что Слава КПСС существует? Кто может подтвердить, что он вышел наверх и действительно не встретил Самосбор? – но Никите почему-то не захотелось этого делать. Возможно, сказало утомление от алкоголя. С такой же вероятностью его томило желание обрести надежду и прикоснуться к чему-то большему, чем окружающий Гигахрущ.

– Пойми, проблема не в этом, – медленно произнёс Лёня, пока Никита наливал коктейль по кружкам. – Выйти из Гигахруща не так сложно. Путь на крышу тебе преграждают ликвидаторы, гермодвери и администрация. Это можно преодолеть – поднять восстание, отнять оружие у ликвидаторов, прорваться наверх...

Никита сдержанно улыбнулся. Лёня так легкомысленно рассуждает об окружающем мире! Прорваться через бесчисленные кордоны ликвидаторов столь же сложно, как проковырять ногтями бетонную плиту за их спинами.

– ...настоящая проблема в том, чтобы, выходя из Гигахруща, не сохранить его в своём сердце. И когда ты ищешь мозаику с Его улыбкой, ты на самом деле хочешь обрести в своём сердце улыбку, а не Гигахрущ. Когда-то давно в секторе КПЗ...

Никита, содрогнувшись, покачал головой. Куда только не занесёт человека поиск истины! Кстати, не про этот ли сектор ходил неправдоподобный слух, будто там после одного из особо мощных Самосборов ликвидаторы забетонировали сразу два этажа вместе со всеми работниками?

– ...мне рассказывали, что в незапамятные времена, задолго до Славы КПСС жители Гигахруща уже находили выход и выбирались на крышу. Но, поскольку они несли в своём сердце Гигахрущ, они не знали, как им жить дальше. Они бродили по крыше, смотрели на небо и солнце – а потом возводили цех бетонных плит и надстраивали новые этажи к Гигахрущу, потому что это было единственное, что они умели делать. И за бесконечное количество лет, повторяя это снова и снова, они построили безграничный Гигахрущ.

– Если я выйду на крышу, – предположил Никита, опять прислушиваясь – нет ли кого внизу, – то я не буду строить новые этажи.

– Это ты. А другие? Помнишь эпоху самоуправления, когда людям дали свободу?

Никита попытался вспомнить детство.

– Да не так уж плохо и было, – сказал он наконец. – Людей всю жизнь держали под дулом автомата. А потом разрешили всё. Вот их и понесло. Это как жильцы сектора ИТЛ перебираются...

ну хотя бы в ИТК и открывают для себя, что можно свободно пить этанол каждый день, ходить по соседним блокам в гости и ложиться спать в любое удобное время. И тут начинаются такие дебоши...

– Если люди выйдут на крышу, будет то же самое, – предупредил Лёня. – Они испугаются и надстроят ещё один этаж, чтобы спасти себя от этого страха и оказаться в безопасном месте.

Никита хмыкнул. Выпитый этанол отуплял, не давая возможности придумать аргументированный ответ.

– Пожалуй, ты и прав, – недобро сказал он. – Но ты забыл о ликвидаторах. Они ведь тоже пойдут на крышу вслед за людьми – потому что они умеют только командовать и надзирать. А ещё их много – и они умеют стрелять. Выйдут и прикажут строить новые этажи, чтобы они снова могли спасти нас от Самосбора, а мы бы их за это кормили. И вообще, почему Он не может ничего сделать, чтобы спасти нас?

Вопрос был прямым и чрезвычайно сложным; задавая его, Никита где-то в глубине души соизнавал, что некрасиво подлавливать собеседника подобным образом. Как может появиться развитая теория там, где за богословие немедленно карают?

– Он бог, но всё-таки и человек, – чуть подумав, ответил Лёня. – Знание истины ещё не даёт всемогущества...

Среда I

После вчерашнего возлияния – то ли от богословских рассуждений, то ли от некачественного этанола – ужасно болела голова. Когда утром Никита вполз в кухню-столовую, чтобы налить себе воды, по телевизору транслировали старинную запись развлекательной передачи.

– Этанол в малых дозах безвреден в любых количествах, – сообщал залу Ковальский, известный эстрадный юморист былых лет. Лысина юмориста поблёскивала подобно застёжкам его портфеля. Телезрители, одетые в старомодные душегрейки, встретили эту искромётную шутку бурными аплодисментами, но вот Никите от упоминания этанола сделалось дурно.

Это было не единственное последствие застолья: лиловый краситель синтпovidла сохраняется в человеческом организме слишком долго. Синий язык и губы в розовом свете светодиодных лент казались чёрными, как если бы Никита попал под Самосбор. Как назло, сегодня – на день раньше – была приёмка урожая. Продовольственно-развёрсточная бригада оперативно извлекла маленькими вилами картофель из ящиков с землёй. Распорядитель Вячеслав Михайлович, спустившийся из У-51, в это время важно ходил по теплице, наблюдая за работой своих подчинённых. Он выглядел сытым и ухоженным, похожим на оживший картофельный клубень; от него даже пахло одеколоном, и Никиту ужасно мутило каждый раз, когда приближалось начальство. Поджав губы и стараясь не слишком дышать остатками этанола, Никита перекладывал картофельную ботву в специальный контейнер. Распорядитель же смотрел за его действиями с заметным презрением – наверное, это тоже можно было счесть карой за выпитый алкоголь.

– Семена задерживаются, – сказал Никите заведующий Андрей Александрович, когда продовольственно-развёрсточная бригада, взвесив собранный картофель и опечатав контейнеры, ушла с урожаем. – Так что пока рыли почву.

На жаргоне сотрудников Агропрома это означало, что сегодня Никита может отдохнуть. Вернувшись в диспетчерскую, он поставил кипятиться воду для чая. После вчерашнего застолья не отпускало какое-то противно-суетливое чувство обречённости бытия. Сегодняшнее наблюдение за уборкой урожая – когда всё, выращенное его руками, грубо выдёргивают из земли и уносят на брикетные фабрики, – только усугубило это чувство.

Вздохнув, Никита открыл стеллаж с садовым инструментом. На время прихода продовольственно-развёрсточной бригады он спрятал туда самое ценное, что было у него в жизни – цветок

эдельвейса. Взяв с полки стакан с чуть подрагивающим хрупким ростком, он бережно отнёс его в теплицу и пристроил на свободное место возле опустевших ящиков с землёй.

Бело-серебристый эдельвейс оказался у него прихотью судьбы: тогда Никита был в Верхних секторах на курсах повышения квалификации. Его учили работать с системами капельного полива и заодно оформляли допуск к работе со светодиодными лентами. Там-то он и разговорился с одним из заведующих, и тот подарил Никите сложенный вчетверо кусочек бумаги, в котором лежало что-то, похожее на крупинку.

«Положите семечко на почву», – посоветовал заведующий Михаил Сергеевич, неожиданно добрый для своей должности – на Верхних уровнях люди вообще не такие злые. – «Этот цветок может расти без плодородной земли, даже на обломках бетона, но взамен ему требуется много света. И постарайтесь никому не показывать его».

Выросший из семечка эдельвейс казался чудом: Никита даже не мог поверить, что бывают такие прекрасные растения. Известно, что по крошке бетона мудрец может догадаться о существовании Гигахруща, а по автоматному патрону – о существовании ликвидаторов. Любуясь эдельвейсом, Никита пытался представить себе, что где-то есть спецтеплица, в которой специально обученные люди, обладающие высшей – несомненно высшей – группой допуска, выращивают подобные цветы. А где-то есть люди, которые украшают ими свои жилищечки... Может быть, Никита когда-нибудь сможет выбить из заведующего новые курсы повышения квалификации, снова окажется на Верхних уровнях и попытается завязать там знакомства, чтобы попасть на работу в эту спецтеплицу, где растут чудесные цветы с бело-серебристыми лепестками...

Вернувшись из теплицы в диспетчерскую, Никита залил вскипевшей водой таблетку чая. Почему-то теперь всё, попадающееся ему на глаза, напоминало о той славной неделе, когда он был на курсах, и особенно цветной плакат с лесным пейзажем, наклеенный в стенной нише. Никита купил его в последний день перед возвращением домой, потому что у него ещё оставалось несколько неизрасходованных талонов. Такие плакаты, создающие иллюзию проёма в стене, продавались только на Верхних уровнях. Почему-то местные обитатели совершенно не ценили подобную роскошь, считая её предназначенной лишь для очень небогатых и невзыскательных людей.

Сосед Семён Михайлович, к сожалению, тоже не очень оценил покупку, и энергично воспротивился тому, чтобы Никита наклеил плакат в жилищечке: в стенной нише уже давно висел именной треугольный вымпел, подаренный Семёну Михайловичу при выходе на пенсию. Поэтому Никита, чтобы избежать потока lamentаций «Рабочего человека обижают», отнёс лесной пейзаж в диспетчерскую и закрепил его там водоупорным клеем – от тепличной сырости бумага может пойти волнами.

Плакат приводил Никиту в восторг. Как сказал ему продавец, это была полиграфическая копия с какой-то очень древней картины. Напечатанная на бумаге река текла через лес с неправдоподобно высокими деревьями – это же сколько света и воды нужно, чтобы вырастить подобных колоссов? – ныряя под мост, выгнувшийся аркой. Мост был сложен из каких-то небольших прямоугольных блоков, совершенно не похожих на бетон. Никита очень гордился своим приобретением: казалось, что в полуметре от него начинается настоящий лес. Особенно реалистично это выглядело, если он, как сейчас, закрывал один глаз: тогда мозг, лишённый стереоскопического зрения, мог на мгновение поверить, что рядом действительно находится лесная чаща; чего только не способен представить человек, желающий ввести в заблуждение самого себя!

Почему-то сейчас это не сработало так, как раньше: плакат продолжал оставаться плакатом, не создавая иллюзию леса, но напоминая о том, как Никита один раз в своей жизни поднялся наверх. Верхние уровни и вправду находились где-то очень высоко и далеко – тогда их учебную группу вёл по Гигахрущу специальный уполномоченный. Они шли и шли через незнакомые им секторы, отделённые друг от друга постами строгого контроля, и циклопические лифты – на сот-

ню человек каждый – поднимали их куда-то всё выше и выше. Миновал бесчисленное количество переходов и подъёмов, они оказались в сердце Гигахруща.

Не имелось слов, чтобы описать роскошь и богатство Верхних секторов. Достаточно лишь упомянуть, что стены там покрывал узорчатый кафель, а не масляная краска; до потолков не удалось бы дотянуться, даже встав на стремянку. Вода в кранах – вот диво – не была ржавой, а контролёры – это казалось совершенно невозможным – обращались к людям на вы и после проверки документов даже желали хорошего дня.

В свободное от курсов время Никита успел прогуляться по галереям Верхних уровней, где – чудо из чудес – потолки изгибались дугами. Один из залов ему не очень понравился: там в тесных стеновых нишах размещались статуи сгорбленных, стоящих на коленях обитателей Гигахруща, и даже ликвидатор в старомодной форме, с каким-то странным старинным пистолетом, выглядел таким же скрюченным узником бетонного лабиринта, как и глядящий на него Никита. Зато его восхитил другой чертог – лёгкие, ажурные арки из блестящей нержавеющей стали поддерживали потолок, где в овальных кессонах пряталось небо.

На самом деле это были изумительно сделанные мозаики Древних, изображавшие небо – деревья на фоне розового заката, летящие среди облаков крылатые машины, возносящиеся вверх пёстрые воздушные шары, но Никите казалось, будто он находится на самом верхнем этаже Гигахруща и через стеклянные иллюминаторы рассматривает внешний мир. Конечно, ему уже по секрету рассказали: нет, этот этаж далеко не последний, и можно ещё долго-долго подниматься наверх по мраморным лестницам, и там якобы будет находиться всемогущий Главсектор – но так хотелось верить, что он смотрит на настоящие облака и листья яблонь... Эти произведения искусства на голову превосходили бесхитростные мозаики, сложенные из обломков кафельных плиток в секторе АМД. Неизвестный художник обладал не только талантом – похоже, в его распоряжении были лучшие образцы смальты. Тогда Никита долго ходил по залу с запрокинутой головой, жадно вглядываясь в каменное небо, сталкиваясь с такими же, как он, гостями, прибывшими из нижних ярусов. Аборигены здешних мест с лёгкой усмешкой глазели на визитёров: возможно, что для них наблюдение являлось таким же источником удовольствия, как для Никиты – любованье мозаиками. Именно тогда, возвратясь в гостиничную жилищечку, он принял твёрдое решение: учиться, работать и любой ценой пытаться вырваться в люди, надеясь, что когда-нибудь его всё-таки переведут на Верхние уровни, и он снова будет ходить вечером по залу, глядя на гениальные мозаики. Но перед этим – ужинать настоящей мясной сосиской категории А.

Среда II

Никита узнал Георгия издали и почти сразу – по уверенной походке: тот шагал по широкому соединительному коридору между административными блоками ЦПШ и ВПШ. Сам Никита оказался здесь, почти наверху, случайно – в управлении ПЯ-74 его попросили срочно передать начальству, в У-51, журнал учёта вегетативных циклов. Для Георгия, вероятно, это был столь же случайный спуск «вниз».

– Здравстуй...те, – не очень решительно начал Никита, сомневаясь – может быть, стоило добавить обращение «Георгий Максимилианович»?

Георгий приглядывался к нему секунду-другую, показавшуюся Никите очень долгим сроком.

– Привет. Мы же на ты перешли.

Никита облегчённо вздохнул. Значит, его помнят, хотя после курсов повышения квалификации – они познакомились там совершенно случайно – прошло больше года. Как жизнь, Никита? Да всё так же, сажаем и убираем, а как ты? Вот, расширяем производство, давно не виделись, если будешь на Верхних уровнях, заходи. Я бы зашёл, да входа нет. А на курсы гидропоники заявку подал? Там все места уже расписаны на три будущих года. Ну а по знакомству с Борисом Нико-

лаевичем? А по знакомству Борис Николаевич уже давно взял не того человека, который теперь уйдёт только ногами вперёд...

Они приближались к контрольно-пропускному пункту, и Никита рискнул перейти к сути дела.

– Есть один вопрос, – сказал он негромко. – В моём жилблоке несколько надёжных людей хотели бы приобрести немного мяса. Это возможно?

Георгий посерьёзней лицом. Подземные птицемясокомбинаты обслуживают только ликвидаторов и незримую администрацию Главсектора.

– Это очень трудно и очень дорого, – наконец ответил он, и Никита облегчённо выдохнул. Всё-таки возможно. – С сосисками было бы проще. А люди надёжные?

Никита кивнул.

– В наших блоках нормальный человек виден с другого конца коридора.

Кивнул и Георгий. Судя по некоторым деталям, он и сам был родом не из Верхних секторов, и легко понял, что имеет в виду Никита.

Они свернули в боковой коридор, чтобы не стоять лишний раз перед контрольным пунктом. Здесь раскинулась во всю стену очень оптимистичная, радующая глаз мозаика: девушка в сиреновом платье, сидящая на подоконнике, смотрела в окно, за которым был только яркий белый свет. Сверху кусочки кафеля складывались в слово «ВЕСНА».

– Что вы хотите? – перешёл Георгий к делу.

– Сколько будут стоить куриные голени? – наудачу спросил Никита. Следует быть реалистом: бёдра, скорее всего, окажутся неподъёмно дорогими, но вот голени...

– Семьсот.

Никита содрогнулся. Семьсот талонов? Это за килограмм?

– За штуку? – несмело спросил он.

– Ага.

Какой ужас.

– А... нет ли дешевле?

Георгий с деловым видом качнул головой.

– Никак нельзя. Это и так со скидкой. Знаешь, сколько мне приходится откатывать начальству?

Никита промычал что-то неразборчивое.

– Могу потрошки продать, – продолжил Георгий. – Один набор – двести талонов. Считай, те же сосиски категории Б, только без примесей. Суп из них сварить. Овощи у тебя ведь водятся?

Никита задумался.

– Ну или крылья могу, – предложил Георгий. – На бульон – самое то.

Это уже интересно.

– Сколько?

– Триста за крыло.

Триста талонов. Это зарплата Никиты за месяц – разумеется, без учёта премии карточками на этанол. Никита колебался; Георгий не торопил с ответом.

Продвигаясь неторопливым шагом, они покинули ВПШ-82 и оказались сразу в ВПШ-86: такие разрывы в нумерации были обычным делом для секторов, вытянутых по горизонтали. Рабочий в грязном комбинезоне замазывал цементным раствором трещину в стене как раз на границе двух административных единиц. Слишком жидкий раствор понемногу вытекал из разлома между бетонными плитами, и рабочий, тихо бранясь, пытался вернуть его обратно. Мастерок неприятно скрипел.

– Я спрошу у своих, – в конце концов решился Никита, когда бетонщик остался позади. – Думаю, мы сможем себе это позволить...

Дорога домой показалась Никите невероятно короткой. Он быстро спускался по лестницам сектора АМД, стараясь скрыть своё волнение. Откуда-то снизу доносилась классическая музы-

ка: по телевидению транслировали концерт пианиста Сердюка, и Никита шёл точно персонаж драматического фильма, спешащий навстречу своей судьбе. В каком-то смысле так оно и было: торопливо свернув в жилблок 125, он направился сразу к заведующей.

– В чём дело? – спросила Екатерина Алексеевна, открыв дверь своей ячейки. – Приёмный день окончен.

Никита огляделся. Сегодня по расписанию давали горячую воду, и в коридоре жилблока уже выстроилась очередь к душевой.

– Можно войти? – негромко осведомился он, скосив глаза в сторону желающих помыться, тем самым аккуратно намекая на то, что не всякое слово годится для людного места.

Екатерина Алексеевна внимательно посмотрела на Никиту: тот был в жилблоке на хорошем счету и по пустякам о подобном просить бы не стал.

– Заходи, – наконец разрешила она, впуская его в свою роскошную двухкомнатную жилищечку. В дальнем дверном проёме покачивались занавеси ручной работы, сделанные из скрепок и кусочков цветной бумаги. Как же богато могут жить люди!

Гермодверь закрылась за спиной Никиты. Звякнул, покачнувшись, вычеканенный на латунной пластинке барельеф с цветком в вазе. О такой роскоши Никите оставалось только мечтать.

– Я сегодня встретился с человеком, который может продать настоящее куриное мясо, – осторожно сказал он, делая шаг по настоящему, точно как в управлении ПЯ-74, линолеуму. – Помните, мы говорили об этом раньше?

Бровь заведующей чуть дрогнула. Начиналась игра ва-банк.

– Сколько? – коротко спросила она.

– Триста за крыло, – так же лаконично ответил Никита.

Екатерина Алексеевна нахмурилась. Никите очень захотелось перевести взгляд куда-нибудь в сторону – хотя бы на узор ужасно дорогого настенного ковра, – но он сдержался.

– Верхние что, думают, мы тут талоны рисуем? Когда делать нечего?

– Голень была вообще за семьсот.

Губы заведующей жилблоком сжались в тонкую нить.

– Ну допустим. А из этих талонов тебе к рукам ничего не пристанет?

Никита принял самый честный вид, который только мог.

– Я могу дать вам его координаты. Вы можете подойти к нему на Верхние уровни и спросить, за сколько он продаст вам куриное крыло. Скорее всего, он ответит, что работой не торгует и тут же доложит о беседе контролёрам. У них инструкция – сообщать о таком...

...И в жилблоке АМД-125 будет новый заведующий. Эти слова Никита произнёс про себя, но они были очевидны.

Екатерина Алексеевна недоверчиво смотрела на Никиту. Почему-то в её взгляде не было обычного начальственного превосходства. Никита вдруг понял, что ещё никогда не видел заведующую жилблоком такой, как сейчас: она казалась очень уставшей, точно человек, проживший тяжёлую жизнь без права на ошибку. Интересно, а как бы он сам выглядел на её месте?

– Посмотри, Лёша в девятнадцатой пришёл с работы? – наконец произнесла она странно мягким голосом, лишённым обычной командной интонации. – Позови, пожалуйста, его ко мне. Если я пойду к нему сама, это будет подозрительно...

В кухне-столовой уже почти никого не было – лишь Никита, волнуясь перед завтрашней сделкой, размешивал чайную таблетку в кружке да Антон из шестой жилищечки, сидя за дальним столиком, ковырялся в зубах алюминиевой вилкой. По телевизору передавали молодёжную музыкальную программу: это происходило только в самый поздний час, когда целевая аудитория дневного ретро-вещания ложилась спать. Милая девушка, одетая в камуфляжные серо-розовые шортики и такую же маечку, пела про любовь – про то, что она хочет любить именно смелого ликвидатора, но никак не слесаря, токаря или сварщика. Никита слушал песню вполуха. Лёгкая,

ритмично-танцевальная мелодия, не призывающая ходить строем в ногу, казалась причудливым цветком, чудом выросшим посреди бетонной громады Гигахруща – ну точно музыкальный эдельвейс. Обычно по телевизору транслировали эстраду, похожую на сочетание шансона с маршем; таким, к примеру, был недавний хит «Ликвидатор рад сразиться, Самосбора не боится».

– Только и умеют, что задницей по телевизору вертеть, – проворчал Антон, не выпуская вилки изо рта. – Её бы к нам на завод, она после смены только пожрать бы смогла, а не выделяться на сцене.

Никита что-то промычал неразборчивое в ответ. Вступать с Антоном в беседу у него не имелось никакого желания, но и игнорировать соседа по жилблоку было бы невоспитанно. Тот не сильно превосходил Никиту по возрасту, но своей любовью к Древним затмевал даже Семёна Михайловича.

– Вот раньше этого просто не было, – продолжал роптать Антон, адресуя свою реплику куда-то в пространство. – Такой девчонке дали бы ремнём по одному месту и отправили на конвейер, брикеты штамповать. Слышал, серия на пятьдесят два бракованная? Не очистили до конца, есть невозможно. Словно кислоту пьёшь. И вот так везде. Пока к каждому не приставят контролёра, а лучше ликвидатора с автоматом, никто работать даже не начнёт. Ну скажи, Никита, вот как Древние смогли построить Гигахрущ? Только так и сделали. Иначе никак. Посмотри, какие мозаики были: простой рабочий переезжает в трёхкомнатную жилищечку. Или обычный инженер ест мясные сосиски. А сейчас что? Только и умеют сдирать талоны за воздух и покраску стен...

Никита кивнул, всем видом высказывая равнодушие. Будь он тут не с Антоном, а с Лёней, можно было бы попробовать усомниться – а почему Древние не могли построить что-нибудь получше, чем Гигахрущ? Или хотя бы сделать так, чтобы на всех этажах было не хуже, чем на Верхних? С чего вообще люди взяли, что в древности всё было как на мозаиках?

Музыка сменилась. Новый исполнитель, мужчина подчёркнуто брутального вида пел в микрофон волчьим голосом:

– ...компост-батяня, батяня-компост, он целую роту загнал на погост...

– Антон, – заговорил Никита, – ну вот к тебе приставят ликвидатора с автоматом – ты что, от этого будешь лучше работать?

Антон воззрился на Никиту с каким-то огнём в глазах.

– А ко мне уже приставили, – зло бросил он в ответ. – Как видишь, работаю.

Четверг

По коридору шли навстречу сразу четыре ликвидатора, и Никита содрогнулся всем телом. В кармане у него лежит пачка денег – тысяча двести талонов, семьдесят бумажек разного достоинства. Если вдруг его остановят и начнут обыскивать, сразу возникнет вопрос: куда он столько несёт? И, собственно, всё...

Ладно бы ещё контролёры, но это действительно были ликвидаторы во всём обмундировании: камуфляжная форма бетонных цветов, противогазы на поясе, автоматы со складными прикладами. В руках один из мужчин сжимал непонятный агрегат, похожий на комбинацию отбойного молотка с пескоструем. Надо идти спокойно, надо идти спокойно... Вот почему у Никиты с собой сейчас нет бутылки этанола? Он мог бы её немедленно выпить, чтобы не вызывать никаких подозрений – ну идёт по коридору пьяный житель Гигахруща и идёт себе. А так... Разворачиваться нельзя: это сразу привлечёт внимание. Смотреть в глаза ликвидаторам тоже нельзя. Никиту трясёт так, что это наверняка заметно. Что же делать?

К счастью, ликвидаторы прошли мимо, даже не взглянув на него, как если бы Никиты и не существовало. Один из них даже ненароком задел его за плечо дулом автомата. Никита, сдержав-

шись, пошёл дальше, стараясь не убыстрять шаг. Страх прошёл только тогда, когда ему удалось добраться до поворота коридора и пройти мимо гермодвери с надписью БФ-6; за ней, судя по равномерно чавкающим звукам – словно что-то полужидкое неторопливо наматывали на сверло, – располагался производственный цех. Прямо напротив двери в стенной нише был приклеен очередной предписывающий плакат «Остерегайся каустической соды». Поднимаясь по очередной лестнице с выщербленными ступенями, Никита с ощущением собственной обречённости успел задуматься – почему же такого не пишут про ликвидаторов?

Георгий передал Никите четыре крыла на лестничной клетке промсектора ДТЛ, который располагался невдалеке от управления У-51. На самом деле здесь не было каких-то важных производств или учреждений – так, гудящая трубами в стенах водонасосная станция и что-то давно заброшенное, с гермодверьми, заваренными много лет назад, – поэтому и прохожих здесь почти не встречалось. Воздух вокруг казался застоявшимся, чуть затхлым, но приятно прохладным: пахло извёсткой и плесенью.

– Прячь быстрее, – всё же не выдержал Георгий, когда Никита заглянул в газетный свёрток, отдающий холодом. – Что у вас такие талоны мелкие?

Никита проглотил недовольство. Эту пачку они собрали вчетвером из своих скудных запасов.

– Накопили, – резко ответил он.

Внизу раздались чересчур быстрые шаги, и двое конспираторов, переглянувшись, спешно направились в коридор. Редкие лампы неярко светились там под высоким потолком, придавая полузаброшенному промблоку ДТЛ-59 безрадостный недружелюбный вид. В управлении У-51 как-то говорили, что здесь никогда нельзя ходить одному – мало ли что может произойти? Судя по странной двусмысленной интонации, начальство подразумевало отнюдь не встречу с выпившими хулиганами; тогда Никита не решился переспрашивать, зато сейчас вдруг осознал, что в этом пустом блоке никогда не собираются компании друзей, желающих расслабиться с бутылкой после тяжёлого рабочего дня. Он поёжился, отгоняя мрачные мысли: нет, если бы здесь было что-то плохое, то входы сюда обязательно бы забетонировали ликвидаторы, предварительно прочесав с огнемётами все закоулки...

Избавиться от этих дум не получилось: они продолжали слегка беспокоить Никиту, напоминая о своём существовании. Точно так же неприятно жёг его кожу холод замороженных крыльев, проникая через слой газеты и синтетическую ткань кармана.

– Слушай, – вдруг спросил Никита, – тебе не жалко твоих цыплят?

Георгий с удивлением посмотрел на него.

– Наверное, жалко, – ответил он. – Но если я их начну жалеть, то вернусь жить обратно в блок ОЗУ и буду с утра до вечера мешать хлореллу в цистернах. Только не говори мне, что если бы тебе предложили работу на птицемысокомбинате, ты бы отказался.

Никита задумался. Там в месяц наверняка платят больше, чем он на станции ЗЕА-61 получает за год.

– Нет, – невесело кивнул он, понимая, что такую работу ему не предложат никогда. – Не от казался бы.

– Ну вот и не спрашивай. Ты же не жалеешь свои овощи?

– Да нет, это... Это другое. Я ощущаю себя каким-то каннибалом. Один узник Гигахруща ест другого.

Георгий хмыкнул.

– Весь Гигахрущ радостно ест друг друга. Странно испытывать по этому поводу угрызения совести.

– Это не то чтобы совесть. – Никита задумался, как лучше облечь в слова ощущение, которое он испытывал от мороженных крыльев в кармане. – Я просто вдруг понял, что почти ничем не отличаюсь от предыдущих обладателей этих крыльев.

– Ты отличаешься тем, что несёшь их по коридору.

– Вот именно. Я отличаюсь от твоих бройлеров тем, что могу относительно свободно разгуливать по птицефабрике.

– По мясокомбинату, – поправил его Георгий, не лишённый тщеславия. – Ну, они у меня тоже довольно свободно разгуливают по загону – пока могут.

Никита и Георгий прошли мимо наклеенного в стенную нишу плаката «Брикеты – наше богатство». Нарисованный там улыбающийся розовощёкий мальчик собирал со стола крошки в ладонь. Где-то в жилом блоке это выглядело бы по-домашнему уютно, но здесь, в тускло освещённом пустом коридоре полузаброшенного промблока, плакат производил совсем другое впечатление: казалось, что глаза неестественно сытого мальчика смотрят прямо на прохожего. Никите стало не по себе.

– Я тут недавно беседовал с другом, – задумчиво продолжил он, стараясь не оглядываться на оставшийся за спиной плакат. – Он сейчас в коммиблоке, но очень хорошо знает жизнь. Мы говорили с ним про Гигахрущ в сердце каждого из нас. А сейчас я внезапно подумал, что в жизни этих цыплят был только мясокомбинат – и только он мог оказаться в их сердце.

Георгий взглянул на него с любопытством. Примерно так бы он мог посмотреть на фокусника, что выступает в цирковом секторе.

– Никита, ты же умный человек. Чему тебя может научить люмпен из коммиблока?

Они замолчали, увидев приближающиеся навстречу силуэты, но опасности не было: по коридору неторопливым шагом шли двое мужчин. Покрой их дорогих синих лавсановых спорткостюмов и предмет их беседы явственно давали понять, что это неизвестно каким образом оказавшиеся здесь обитатели Верхних уровней.

– ...понимаете ли, мы живём в обществе потребления, где погоня за материальными благами, жажда наживы и стремление к демонстративному успеху заставляют людей терять человеческий облик...

– ...да, я более чем согласен с вашей оценкой. Несомненно, решение ввести универсальную талонно-карточную систему в ходе реформ было фундаментальной ошибкой. Это разрешённое мещанство, эта неистребимая тяга к низменному, к бытовому полностью лишает смысла человеческую жизнь...

Стремящийся к демонстративному успеху потребитель и жаждущий наживы продавец материальных благ, выраженных в форме четырёх куриных крыльев, прошли мимо, свернув за угол коридора. Шаги мужчин в лавсановых спорткостюмах затихли позади как-то чересчур быстро. Никита на всякий случай оглянулся, но за поворотом уже ничего не было видно.

– Твои бройлеры в своей жизни видят только мясокомбинат и тебя, – продолжил он, возвращаясь к беседе. – Для них естественно предположить, что мясокомбинат – это вселенная, а ты в ней нечто вроде демиурга.

– Никита, не преувеличивай. Курицы – довольно глупые создания.

На одной из стен в блеске далёкой лампы виднелась надпись «Все жиличейки – концлагеря»; это была цитата из старой песни времён неудавшегося самоуправления, когда ненадолго стало можно называть вещи своими именами. Белый бетон просвечивал сквозь царапины в многолетнем слое разноцветных красок, и это выглядело по-своему симпатично. Ниже размещался сделанный в такой же технике грубый рисунок, повторяющий обложку музыкального альбома: сапог, топчущий человеческое лицо. Никита мельком подумал, что вполне верно и обратное – все концлагеря при желании можно считать жиличейками. Он вдруг вспомнил детство. Эпоха самоуправления показалась ему не такой уж и плохой, как про неё сейчас было принято говорить. Конечно, с едой тогда возникали проблемы и по коридорам требовалось ходить осторожно, особенно ночью, – зато сапог на лице почти не ощущался, и его подошву не требовалось целовать с благоговением. Пожав плечами, Никита продолжил разговор:

– Ты видишь всё сверху. Для тебя это мясокомбинат, а для них – родина. Просто потому, что у них ничего нет, кроме загона. Ну и тебя, который сыплет им корм.

Георгий сдержанно улыбнулся, приподняв брови. Его лицо было преисполнено морально-го превосходства человека, который работает на спецпредприятии особого допуска, живёт на Верхних уровнях и питается настоящим мясом. Никите вдруг стало предельно ясно: Георгий настолько выше всех этих бесед, что ему даже не нужно вступать в подобные дискуссии и что-то доказывать.

– Мясокомбинат вполне может быть родиной, – всё-таки снизошёл Георгий до ответа. – Бройлеров даже не нужно в этом убеждать – полагаю, они приходят к этому умозаключению сами, пытаясь познать окружающий их мир. Но верно и обратное: родина может быть мясокомбинатом. Счастлив тот, кто это понимает.

– Не думаю, что это знание обрадует бройлеров.

– Я не сказал – радостен. Я сказал – счастлив. На мясокомбинате нет ничего, что могло бы обрадовать его обитателей, – прямо ответил Георгий. – Ну разве что горсть корма, которую я им кидаю. Можно пошутить, что они на это клюют.

Никита постарался представить цыплят, ждущих своей участи в загонах птицемясокомбината. Он от них, по сути, отличается только степенью самопознания. Интересно, на их месте он бы точно так же пытался понять законы и правила странного окружающего мира?

Впереди с потолка коридора свисала одинокая светодиодная лампочка – без плафона, один только чёрный цоколь на проводе. Лампочка едва заметно покачивалась, словно её шевелил сквозняк, но воздух в коридоре был неподвижен. Никита с содроганием оглядел стены вокруг. Под слоями потрескавшейся краски виднелись плохо замазанные швы между бетонными плитами. Откуда-то пахло растворителем. Под ногами валялась старая пыльная ведомость на битумные окислители серии 652/58; на бумаге темнел полуосыпавшийся отпечаток чьей-то подошвы. Возможно, подумал Никита, этот след – всё, что осталось на свете от обладателя обуви.

– Тогда что бы ты посоветовал своим бройлерам, чтобы они стали умнее? – тихо спросил он.

Георгий позабыл этот вопрос.

– Что я могу посоветовать тем, кто живёт на мясокомбинате? Пусть хотя бы отдают себе отчёт, что они живут на мясокомбинате, а не на родине. Для них это уже будет огромным прогрессом. И пусть не думают, что я, хоть и кидаю им корм, нахожусь на их стороне; мы – разные биологические виды.

– А что же тогда считать родиной?

– Не знаю. Но уж точно не мясокомбинат.

Никита постарался осмыслить слова Георгия, когда тот продолжил:

– Кстати, ты удивился, но некоторые это всё-таки понимают. Так, вчера куда-то сбежала пара цыплят, а моего коллегу даже клюнули в глаз...

– А те, кто не понимают? – зачем-то спросил Никита, хотя совершенно точно знал ответ.

Георгий недобро улыбнулся.

– Те, которые не понимают, лежат у тебя в кармане, завернутые в бумагу. Одних только крыльев мало – нужна ещё лётная погода.

Екатерина Алексеевна, администратор жилблока АМД-125, ещё с самого утра повесила объявление о предстоящей противогрибковой обработке коридора: всем жильцам с 21.00 до 23.00 предписывалось запереться в ячейках и не выходить наружу. Для особо сомневающихся были выделены строки о штрафе в целых десять талонов согласно распоряжению АЗЛК/30 (это распоряжение Екатерина Алексеевна выдумала на ходу). Так что, когда Никита незадолго до урочного часа начал собираться, сосед Семён Михайлович посмотрел на него с удивлением.

– Никита, ты куда? Там же травить будут.

Легенда была придумана заранее.

– Срочно вызывают на работу – обработать семена для повышенной всхожести. Времени нет вообще, нужно спешить. Посадка скоро.

Никита ожидал, что после этих слов сосед с энтузиазмом вспомнит дни молодости, когда трудлюбивые жители Гигахруща считали великой честью поработать за себя и за того парня. Он ошибся.

– Что же это такое делают-то, – сочувственно вздохнул Семён Михайлович. – В ночь на работу выгоняют и ещё коридор ядом протравят. Совсем уже озверели, три шкуры с людей дерут. Одно им имя – реформаторы...

В коридоре, ярко освещённом лампами, было пусто. Что-то чуть слышно жужжало в распределительной коробке, покрашенной серой краской. Никиту почему-то охватило пугающее предчувствие – наверное, так может выглядеть жилблок, поражённый Самосбором. Стараясь ступать как можно тише, он подошёл к ячейке номер один и слегка постучал по холодному железу гермодвери.

– Заходи, – скомандовала заведующая Екатерина Алексеевна. – Быстрее, чего стоишь?

Алексей из девятнадцатой уже был здесь. Николай, муж заведующей, сидел с ожидающим видом на роскошном продавленном диване – не иначе как с Верхних уровней выбросили. Вообще, каждый из четверых участников тайного ужина вложился сверх своих трёхсот талонов. Заведующая с мужем обеспечили конспирацию. Алексей, интеллигентного вида мужчина – по слухам, он работал где-то в КБ паровых котлов – принёс со службы мощный кипятильник, чтобы сварить бульон. Никита, конечно, и здесь постарался больше всех: помимо четырёх крыльев он принёс две небольшие картофелины и выменял у коллег одну морковку.

– Может быть, стоило открутить электроплиту из кухни? – спросил он.

– Не стоило, – отрезала заведующая.

Было тихо. Екатерина Алексеевна готовила точными, вымеренными движениями – и откуда она всё это знает и умеет? Промыв четыре оттаявших крыла, она бросила их в закипевшую воду. Затем осторожными движениями, стараясь снять как можно меньше очисток, заведующая подготавливала овощи и, нарубив кубиками, отправила их в бульон.

– Ждём, – коротко приказала она остальным.

По трепещущей поверхности воды потянулась пена; Екатерина Алексеевна собрала её ложкой. Никита принял. Он вспомнил, где и когда уже чуял этот запах: в одном из коридоров Верхних секторов.

В животе у Алексея что-то тихо заурчало.

– Может быть, добавить туда брикет супа? – воодушевлённо спросил он, безотрывно глядя на то, как в кастрюльке кипит вода. – Наваристее будет.

Екатерина Алексеевна гневно выдохнула.

– Не смей портить мой бульон всякой дрянью, – жёстко произнесла она.

Бульон разливали идеально поровну – даже квалифицированные рабочие металлообрабатывающих цехов не делают столь прецизионно этанол. Кусочков картошки оказалось нечётное количество, и один пришлось разрезать для ровного счёта.

Четверо заговорщиков ужинали в молчании. Было очень тихо. Казалось, что снаружи могут услышать даже звук ложки, опускаемой в бульон. Издалека, из кухни соседнего жилсектора, едва-едва пробивалась старинная песня:

– Гигахрущ придуман не нами, – пела приятным голосом артистка, и её голос преодолевал слои бетона и десятки прошедших с записи лет, – Гигахрущ придуман не мной...

Быть может, это и вправду был каннибализм – Никита первый раз в жизни неумело обглодал худенькое птичье крыло и запил обжигающим бульоном. Вкус мяса казался невероятным. Никита даже не мог себе представить, что еда может быть настолько хорошей.

Екатерина Алексеевна осторожно повернула куриное крыло и снова впилась в него зубами, чтобы не оставить на нём ни волоконца. Затем сделала глоток горячего бульона.

– Я очень давно не ела мяса, – внезапно сказала она, глядя куда-то вперёд, в пространство.

Никите показалось, что в углу её глаза что-то блестит. У заведующей был такой вид, будто ей вспомнилось нечто очень дорогое и значимое – настолько дорогое и значимое, что она даже не хочет об этом вспоминать при всех.

А ведь действительно, Георгий не ошибся. Все обитатели Гигахруща едят друг друга. Вот теперь немного досталось и Никите. Он попробовал запретную пищу – крылья цыплят, которым не удалось улететь с мясокомбината. Теперь он знает её вкус, и считает, что это хорошо; ещё он помнит вкус брикетов, и знает, что это плохо. Всё познаётся в сравнении: что ещё есть в жизни, чего он не пробовал и чего он не узнает?

Пятница

Семён Михайлович утром шелестел газетой и вёл себя неожиданно шумно.

– Никита, – озадаченно спросил он, когда Никита встал с койки и пытался нащупать на полу тапки. – А чем это от тебя таким вкусным пахнет?

Сердце Никиты ухнуло. Где же это Семён Михайлович мог встретить куриный бульон в своей жизни? Какую бы легенду придумать спросонья?

– А чем это от меня пахнет? – переспросил он, демонстративно принюхиваясь к футболке. – Я позавчера мылся, когда горячую воду давали...

Семён Михайлович опустил газету на колени; стал виден крупный заголовок «Как узнать, что ваш сосед завербован тоталитарной сектой?»

– Нет, нет. Чем-то... Я как будто помню такой запах... На мой день рождения мама вынесла еды из столового сектора, и я...

– Может быть, удобрение Иван-Роман шестьсот сорок пять? – самым равнодушным голосом, кажим только мог, сказал Никита. – Я вчера его намешал литров тридцать...

...В коридоре жилблока зверствовал Николай Иванович, контролёр сектора АМД.

– Кто испортил настенный плакат? Светлана Тимофеевна, почему вы не следите за своими дочерьми?..

– Мои дети не могли такого сделать! – тщетно оправдывалась жилица из ячейки 28.

– А кто тогда? Будете отпираться – я вас в коммблочки отправлю!

Скандалную новость Никита узнал тут же, зайдя в кухню-столовую: кто-то подрисовал ликвидатору на плакате длинные ресницы и обвёл ручкой губы. Плакат уже заклеили сверху новым, но об этой диверсии могли донести наверх, в администрацию, и контролёр Николай Иванович желал прикрыть собственные тылы...

...Овощной брикет неохотно расплзался в кипятке. По телевизору показывали очередной старый фильм – на этот раз про инженера из КБ: отдыхая с друзьями в банно-прачечном секторе, тот перебрал этанола и, уехав не в том лифте, перепутал жилблок АБЗ-117 с точно так же жилблоком ЦБЗ-286. Открыв дверь чужой ячейки внезапно подошедшим ключом, инженер запустил целый каскад причудливых совпадений и событий, и даже увёл из семьи чужую жену. Этот фильм был полон гедонистической атмосферы отдыха, и его традиционно показывали по телевизору ближе к выходным. Вообще, этим утром в кухне-столовой был какой-то праздник тщеславия – Наталье из девятой жиличейки муж купил две сосиски категории Г, и теперь счастливая хозяйка варила их на единственной электроплитке, прикрученной к стене болтами. На запах лакомства собрались любопытствующие, радуя самолюбие Натальи.

– Вот всё-таки мой Саша правильно сделал, что пошёл работать контролёром, – важным тоном говорила она, поглядывая одним глазом на то, как в кипятке варятся вытянутые цилиндрики землистого цвета. Наверное, здесь было бы правильное сказать «повезло попасть в контролёры». – Охраняет вход в НИИ. На его зарплату можно каждый день питаться вот такими сосисками!

Это был явный укол в адрес Анастасии из пятнадцатой жилищайки: её муж работал в резинотехническом цехе, неумеренно пил и растрачивал на этанол чуть ли не весь семейный бюджет. Увы, не на всех в Гигахруще припасены высокооплачиваемые регулировочно-надзирательные должности!

Никита помешал в тарелке распутившийся овощной брикет. Всё это утро – шуршащий газетой сосед, злой контролёр, гордая мужем жена, старый добрый фильм на экране – всё было совершенно обычным, как всегда, но вот Никита, неизвестно почему, чувствовал себя как-то странно посреди такой обыденности. Ещё пару дней назад он мог бы позавидовать Наталье и её мужу; однако после вчерашнего ужина ему показалось, что та варит на завтрак нечистоты в уже начавшей коричневеть воде. Его собственная трапеза, впрочем, была не лучше. Даваясь, он кое-как смог проглотить грязного цвета массу, которая обычно не вызывала подобных эмоций: захочешь есть, и не то прожжёшь. Никите стало страшно. Скорее всего, ему удастся купить следующее крыло разве что через год. Год он, конечно, без проблем проживёт на брикетах, как прожил всю предыдущую жизнь, но велик шанс, что за это время он утратит память о вкусе нормальной еды и снова приспособится питаться противной жижей, лежащей в тарелке перед ним.

Сегодня был последний рабочий день перед выходными, но радости отчего-то не чувствовалось. Никита закапывал в землю семена, ощущая, как мимо него тупо и бесполезно проходит жизнь. Раньше он почти не замечал этого – как, к примеру, не обращал внимания на неприятный кислый вкус пищевых брикетов. Однако не только Никита в эту пятницу задумывался о смыслах бытия: после бесконечно длинной смены он в очередной раз встретил в коридоре связиста в комбинезоне. Связист был в состоянии лёгкого грустного опьянения.

– Желаете? – осведомился он, протягивая Никите бутылку с надписью «Электролит кислотный 3/62». – Нет-нет, не волнуйтесь, это служебный ректификат для протирки контактов. Я его сюда перелил, чтобы никто не заподозрил...

Никита не отказался: сегодняшний рабочий день успел его заметно измотать. Вопреки ожиданиям, ректификат оказался невероятно мягким – лёгкий, едва заметный привкус этанола слегка кольнул язык. Никогда раньше Никите не доводилось пробовать такого изумительного напитка – даже на Верхних уровнях, когда они отмечали окончание курсов. Ну точно как вчера с мясом. Удивительно, что бывает столь хорошая выпивка; но как же теперь ему пить обычный этанол, зная, что тот в подмётки не годится ректификату?

– Я сегодня читал Кайдановских, – продолжал связист, пока Никита сделал ещё один глоток ректификата, наслаждаясь тем, как нежная пелена опьянения окутывает рассудок, – ну, знаете, «Мы – дети галактики»...

Никите, как и любому мало-мальски культурному обитателю Гигахруща, разумеется, доводилось читать фантастику братьев Кайдановских. Написанные во времена древнего дореформенного оптимизма, их книги были полны моральных назиданий для сотрудников НИИ: авторы любили, свысока цокая языком, рассуждать на сложные интеллектуальные темы. Что, к примеру, произойдёт с обществом Гигахруща, если тунеядцев уравниют в правах с передовиками производства и начнут каждый день выдавать им карточки на этанол? Обладает ли обычный инженер КБ, переселённый в коммиблок, правом поучать тамошних обитателей, пытаясь возвратить им человеческий облик, или же должен принять своё моральное поражение перед лицом простого народа?

– ...и вот я задумался. Вы ведь знаете, что на мозаиках Древние очень часто изображали космический полёт? И человека среди звёзд? Ну, вы понимаете, как его зовут...

– Краем уха слышал, – осторожно сказал Никита.

– Многие мозаики зачем-то были уничтожены, – продолжал связист. – Обратите внимание: со звёздами – сбиты, а все остальные – сохранены. Это объясняют заботой о нашей безопасности: чтобы мы считали, что снаружи Самосбор, а не, к примеру, вакуум. И, собственно... Вы знаете, что такое «корабль поколений»?

Что-то такое Никите доводилось встречать в книгах с вычеркнутыми именами авторов – такие издавали в вольные времена его детства.

– Корабль, который летит в бесконечной пустоте, – вдумчиво произнёс он, ощущая, как нежное опьянение окутывает его мозг: находясь в тесном бетонном коридоре с трубами, идущими под потолком, было очень трудно представить себе бесконечную пустоту. – Корабль, который летит так долго, что на нём вырастают и умирают люди – и где они забывают про цель пути. К примеру, они могут решить, что живут в гигантском бункере...

– Да, именно так, – воодушевлённо подтвердил связист, забирая бутылку обратно и делая глоток. – И вот что я подумал...

Он ещё раз глотнул ректификат и продолжил:

– Понимаете, проблема такого корабля в том, что смысл жизни есть только у первого поколения, которое добровольно взлетает в космос, и у последнего поколения, которое всё-таки долетает до цели. Но все промежуточные генерации рождаются, по сути, ни для чего. Только чтобы продолжить цепь жизни на корабле; только для того, чтобы кто-то когда-то долетел. Но не больше. Летучий инкубатор. Вы соображаете, к чему я клоню?..

Никита огляделся, ощущая, как голова слегка кружится. Ректификат действовал не хуже этанола. Мысль, что за бесконечными панельными стенами может скрываться бесконечная чёрная пустота, страшила настолько, что от неё хотелось биться головой о бетон. Да нет, не может такого быть.

– ...то есть смысл их жизни заключается в его принципиальном отсутствии, – говорил связист, временами переходя на присвистывающий шёпот.

А какая разница, что за стенами Гигахруща: космос? Открытое пространство? Или же у Гигахруща нет границ? Гораздо важнее то, что по эту сторону панельных стен с промазанными цементом швами.

– Вернее, даже так, – продолжал собеседник Никиты, – жизнь не будет бессмысленной, если у жизни в принципе нет смысла...

Дважды коротко взревела сирена вдалеке и смолкла. Сердце Никиты рванулось в груди. Связист едва не выронил бутылку. Снова дважды коротко взревела сирена.

– Вот и смысл жизни, – коротко бросил Никита. – Выжить.

– Но разве это жизнь?.. – вдруг произнёс связист.

Они ускорили шаг. Двойной короткий сигнал с длинной паузой – это значит, что где-то далеко, где-то очень далеко идёт Самосбор. Опасности пока нет – но все уполномоченные лица должны занять свои места около гермодверей, чтобы перекрыть их, если вдруг рёв сирены станет безостановочным. Опасности нет – но где-то она есть, и все прохожие должны поскорее направиться к своим жилищам.

В мгновения перерыва, когда звуки их шагов разносились по коридору, отдаваясь далёким эхом, Никите показалось, что он может разобрать, пусть и на грани слышимости, длинные автоматные очереди. Он содрогнулся.

– Быстро, быстро проходим! – крикнул на них контролёр у гермодвери лифто-лестничного блока. Никита посмотрел на связиста.

– Пожалуй, сейчас лучше по лестнице...

...Новость о том, что Самосбор прорвался в производственно-жилой блок ЛТП-798, облетела Гигахрущ ещё до того, как страшную весть передали по телевизору.

– По предварительной версии, причиной трагедии стала халатность. Было нарушено уплотнение вентиляционных фильтров... – торопливо говорил ведущий, одетый в камуфляжный пиджак.

В кухне-столовой собрались почти все обитатели жилблока АМД-125 – Никита стоял у двери, глядя поверх голов.

– А люди? – выдохнула Ксения Павловна из девятой ячейки.

– ...прибывшие ликвидаторы были вынуждены действовать по протоколу Анна-шесть...

Все присутствующие вздохнули. Протокол А-6 означал полную зачистку поражённой территории – как говорил Антон из шестой жиличейки, «стреляют во всё, что движется, а всё, что не движется, двигают и стреляют».

– ...принятые меры позволили ограничить последствия Аномального Явления...

Семён Михайлович, бледный и ссутулившийся, прижал ладонь к лицу.

– У меня внук в том секторе, – пробормотал он едва слышно. – Только блок другой – семьсот восьмидесятый...

Картинка на экране сменилась. Ликвидатор с неразличимым лицом – камера снимала против света – пояснял:

– Отработанные действия подразделений ликвидации позволили снизить число жертв до минимума...

В переводе это означало, что в блоке ЛТП-798 не осталось ни одной живой души.

– Надо фильтры проверить! – горячо шептал Антон из шестой жиличейки. – Екатерина Алексеевна, пустите меня в вентячейку, я посмотрю!

– Сидеть! – таким же шёпотом, глядя одним глазом в телевизор, отвечала заведующая. – Ждём уполномоченных, а то оштрафуют за срыв пломб.

– Да какие пломбы! Если там фильтры повреждены, нас первый же Самосбор пожрёт!

– Так, отставить мне тут панику! А то быстро в коммиблок поедешь!..

Суббота

Всю субботу Гигахрущ перебирали с первого до последнего этажа. Таких катастроф – чтобы Самосбор поразил не отдельную жиличейку, не заплутавшего в коридорах одинокого путника, что не успел добежать до укрытия, но целый жилблок – таких катастроф не было очень давно. Утром появившийся неведь откуда мужчина властного вида сделал выговор заведующей Екатерине Алексеевне прямо посреди коридора:

– Почему планы эвакуации закреплены не по регламенту? Перевесить сейчас же! А где отчёт об уплотнении гермодверей? Что за бардак вы тут развели?!

Никита торопливо просочился мимо них в кухню-столовую: строгий гость посмотрел на него с отвращением. Видимо, жильцы блока АМД-125 не совсем считались за людей, и критиковать руководство можно было прямо в их присутствии: Никиту порой тоже ругали прямо возле ящиков с растущим картофелем.

– Проходим, не мешаем работе, – наконец процедил визитёр.

После скорого завтрака (брикет снова оказался тошнотворным) Никите пришлось отправляться в теплицу, несмотря на выходной, и несколько часов ждать проверяющих. Появившиеся трое мужчин в комбинезонах долго осматривали гермодверь и решётки вентиляционных каналов. Ещё один человек в костюме, но без галстука, торопливо заполнял страницы журнала. По случаю прихода высокого начальства в теплице включили белый свет.

– Вентканалы прочищаются регулярно? Фильтры в порядке? – уточнял главный проверяющий, проходя коридорами теплицы. – На предмет трещин в бетоне проверяешь? Помни, что твоя теплица находится довольно низко. Может быть, Самосбор уже скапливается под полом, чтобы прорваться через стыки плит?

Заглянув в диспетчерскую, главный проверяющий скептически оглядел висящий в нише плакат с лесом, но ничего не сказал. Затем он неожиданно быстро приоткрыл дверцу стеллажа, где в дальнем углу светилась серебристая звёздочка спрятанного эдельвейса. Проверяющий недовольно хмыкнул.

– Вот этого не положено, – распорядился он, закрывая дверцу. – В замечаниях я писать не стану, но завтра его здесь не должно быть.

Это следовало считать сказочным везением. Видимо, проверяющий рассудил, что если простой работник держит в теплице эдельвейс, то это уже не простой работник – и ещё неизвестно, для кого он выращивает такой цветок. Теперь есть шанс спрятать растение у себя в жиличке... если, конечно, об эдельвейсе не доложит сосед.

– Вот эти документы несём в управление, – приказал проверяющий, подписав несколько бумаг.

В управлении ПЯ-74 было закрыто, и Никите пришлось долго стоять у двери, дожидаясь Андрея Александровича, – судя по его недовольному виду и суетливым движениям, даже начальству сегодня пришлось несладко. Потом возле порога пришлось провести ещё минут двадцать.

– Никита, эти акты надо срочно передать в У-51, – наконец распорядился заведующий, складывая бумаги в папку. Связав тесёмки, он залил их сургучом и прижал сверху печать. – Лично Михаилу Порфирьевичу. Что за день, какой-то дурдом...

Идти в У-51 пришлось пешком через промышленные секторы, где царил такой же беспорядок: ругань неизвестного бригадира, перемежаемая грохотом перфораторов, разносилась сразу на два этажа. Стоящий наготове контролёр перенаправил Никиту на другой путь:

– Обход через верхний этаж! Проходим, не задерживаемся!

Никита не хотел быть задержанным и послушно проследовал на этаж выше. На подходе к нужному блоку у него проверили документы. Контролёр долго придирался к записям, и только ведомственная папка для бумаг позволила Никите миновать пункт пропуска, хотя его было бы точнее назвать пунктом непропуска. В длинном, плохо освещённом коридоре шипели газовые резак и пахло горелым металлом: группа ремонтников что-то чинила в воздухонасосной подстанции. Рядом возле открытой дверцы стояли сразу два огромных воздушных фильтра, каждый на десяток кубометров в секунду.

– Работаем быстрее! – ругался какой-то мужчина грозного вида. – А то всем премию срежу!

Хотелось вернуться домой, отоварить карточку на этанол и испить бутылку до дна. Никита вдруг вспомнил, что начатый брикет синтповидла лежит в шкафчике и ждёт своего часа. Сдав документы в У-51 – Михаила Порфирьевича не было, а секретарша совершенно несправедливо сделала ему выговор по поводу ошибочно оформленной описи, – он вышел, держась рукой за бетонную, выкрашенную жёлтой краской стену коридора. Подниматься пешком пять этажей до коридора, где работали сварщики, не хотелось, и Никита нажал кнопку вызова лифта. Какой тяжёлый день, какой же ужасно тяжёлый день.

– ...кем мы только управляем, – жаловался своему спутнику вышедший из лифта мужчина руководящего вида. – Люди совершенно не понимают хорошего отношения. Я завидую ликвидаторам. Дайте мне полномочия расстреливать – и через неделю весь гидролизный цех будет работать как часы, а не права качать...

Дав дорогу двум руководителям, Никита прошмыгнул в лифт и нажал кнопку нужного этажа. Двери схлопнулись, и где-то наверху зажужжал мотор. Почти одновременно с этим снаружи взвыла аварийная сирена – взвыла и не замолкла, сообщая всем, что Самосбор на подходе. Никита с какой-то обречённостью ударил по большой аварийной ручке «срочный выход». Уж лучше бы оборвался лифтовый трос. Так хоть был бы шанс.

Ручка срочного выхода не сработала, и лифт долго, безумно долго ехал вверх все пять этажей. Лязганье механизмов даже заглушало предупреждающий вой сирен. За это время Никита успел вспомнить всю свою жизнь. Как и следовало ожидать, гермодвери на площадке уже были закрыты. Безостановочно вопила сирена над головой: Никита находится прямо в зоне Самосбора.

Он бросился бежать по длинному коридору, где всего полчаса назад рабочие чинили воздухонасосную подстанцию, но тщетно: гермодверь соседнего отсека наглухо отрезала путь к спасе-

нию – хотя с таким же успехом она могла и преграждать путь страшному фиолетовому туману, несущему гибель.

Мыслей в голове не было – точнее, они казались поверхностными, плывущими по сознанию, как опавшие листья по воде в цистерне полива. Шанс выжить есть, шанс выжить есть, все коридоры наглухо перегорожены, и если сработали гермозаглушки вентиляции, то, возможно, Самосбор и не дойдёт до него...

Без долгих размышлений Никита нырнул за дверцу недоремонтированной воздухонасосной подстанции, оглядываясь – вдруг где-то в углу завалился штатный противопожарный газ. Здесь было тесно и темно, точно в стенном шкафу. Тихо гудели механизмы вентиляционных насосов. Их вибрация, скорее, воспринималась кожей, но не ушами – настолько громко редела сирена. Никита осторожно потянул дверь, прикрывая её за собой. Широкая полоса гермоуплотнения уже была снята с неё, но рабочие не успели поставить взамен неё новую. Возможно, их нерасторопность сейчас будет стоить Никите жизни.

Никита вдруг вспомнил, что так и не успел поставить стакан с эдельвейсом обратно в теплицу. Если повезёт, цветок заберёт себе заведующий Андрей Александрович. Если не повезёт, растение погибнет в темноте стеллажного ящика. Прямо как Никита сейчас.

Непрерывный вой сирены прекратился, сменившись короткими вскриками с трёхсекундным интервалом: Самосбор закончен, но ликвидаторы ещё не прибыли. Всем оставаться на своих местах. Шансы выжить повышаются. Сегодня в жизни Никиты произошло маленькое чудо. Казалось, что в сантиметре от него упала бетонная плита. Он прижался к стене, стараясь не дышать.

Где-то вдалеке раскрылись двери шахты лифта – другой, не той, в которой так опасно задержался Никита. Раздались шаги: шло человек пять. Совсем близко. Ликвидаторы? Или такие же собраты по несчастью, застрявшие в коридорах?

Какое-то предчувствие подсказало Никите, что пока не стоит выходить наружу. Если это действительно ликвидаторы, вдруг они подумают, что он поражён Самосбором, и откроют огонь на поражение? Никита даже не успеет им объяснить, что всё в порядке...

– Крюк, сюда побрызгай.

Совсем недалеко раздалось шипение.

– Да брызгай нормально, не жалей.

Шипение продлилось дольше. Никита с ужасом ощутил, как до него доносится слабый запах, напомнивший о размороженных куриных крыльях. Самосбор? Но почему нет тумана?

– Совсем обнагтели, варят какую-то дрянь, – сказал другой голос. – Запаха нет вообще. Раньше одного пшика на целый этаж хватало, а теперь лёшь-лёшь, и ничего.

– Довольствие им снизить надо, вмиг всё сделают.

Никита очень осторожно, не дыша, чуть сместился в своём убежище – так, чтобы видеть коридор через не до конца прикрытую дверь.

В дальнем его конце, там, где находилась лестничная клетка и лифтовые шахты, стояло несколько ликвидаторов. Сейчас они вовсе не выглядели, как обычно, суровыми, беспощадными мужчинами, скорее, весёлой компанией друзей, возвращающихся домой после работы.

Один из ликвидаторов ещё раз брызнул на стену струей чёрной жидкости из агрегата, похожего на пескоструй. Маслянистая жидкость уже сползала на пол, растекаясь лужицей. Запах сырого мяса стал сильнее. Второй ликвидатор, подняв автомат, несколько раз выстрелил в даль, в пустоту коридора. Никита вжался: вдруг одна из пуль попадёт в него? Гильзы прозвенели по полу.

– А вы слышали? Гвоздь из восемнадцатого взвода сегодня по ошибке зарядил автомат боевыми патронами и попал рикошетом от бетона себе в лоб!

– Гвоздь? Так он же вчера был...

– Где был, там уже нет! Разговорчики! Ещё очереди!

Автомат снова протрещал двумя короткими очередями – как раз в паузе между сигналами сирены. Никита весь обратился в слух.

– Так, здесь хватит. Перемещаемся к вэ-а-и двести-сорок-четыре, там через тридцать минут объявят Самосбор. Крюк, ещё брызги в том конце коридора.

Никита старался не дышать, когда по коридору буквально в метре от него простучали сапоги ликвидатора. То, что он сейчас слышит – это гарантированный расстрел на месте. Снова раздалось шипение, и по стене сползла новая полоса чёрной жидкости.

По коридору тяжело прошагал ещё кто-то, судя по голосу, тот, кто отдавал приказы.

– Слушай сюда, Крюк, – негромко сказал он. Двое ликвидаторов стояли совсем недалеко. Никита почувствовал запах горелого пороха, машинного масла и немытого человеческого тела; ему это показалось запахом смерти. – Этого разговора не было, и не будет, и ты о нём сейчас забудешь. Я говорю только потому, что знаю тебя пять лет, и ты меня в дэ-эр-а-семьдесят-девять выручил. Короче, про Гвоздя ты уже слышал. Костыль сегодня днём свалился в лифтовую шахту. Ящер ночью отравился этанолом. Я не знаю, что у вас было вчера в семьсот девяносто восьмом, и знать не хочу...

– Крысбой, там был приказ...

– Молчать! Я сказал: не знаю, знать не хочу, и знать не буду!

Стало очень-очень тихо. Один раз взвыла сирена, и вновь наступила тишина. Никите почудилось, что он слышит дыхание двоих ликвидаторов в коридоре.

– Береги себя, Крюк. Это всё, – сказал главный.

Никита ждал. Ждал и Крюк: когда стук командирских сапог затих вдалеке, он с горечью наподдал одному из стоящих в коридоре фильтров.

– Ааааа! – выкрикнул он, перебивая голосом даже сирену.

Догнав катящийся фильтр – теперь Никита мог хорошо видеть Крюка через щель не до конца прикрытой двери, – ликвидатор с размаху ударил его ногой, проминая тонкий жестяной корпус. Выплеснув первую волну ярости, он чуть сосредоточился и начал молиться, резко вздёргивая руку возле лица. Лёня, уволенный из Агропрома, был прав – ликвидаторы верили в Славу КПСС больше остальных. Таких сложных, продуманных заклинаний Никита ещё не слышал ни разу.

– Слава КПСС, вышедший на крышу и вернувшийся к нам, – испуганно бормотал Крюк, снова и снова делая жест, точно открывая забрало скафандра, – глядевший на небо и Самосбора не видевший, да придёт за нами твоё ОГПУ, дай нам порядка и избавь нас от ГКЧП...

Ликвидатор не договорил свою молитву. Вместо этого он, сорвавшись, снова начал топтать ногами фильтр.

– Слава КПСС, – воззвал он, подняв голову к бетонному потолку, – я не хотел их убивать. Ну пойми, мне же дали приказ. За что ты так со мной? Мы должны были их ликвидировать. Это же утка информации. Если в Гигахруще узнают, что Самосбора уже давно нет, то они просто перестанут нам подчиняться и поубивают друг друга в первый же день. Слава КПСС, неужели тебе жалко всего лишь какой-то жилсектор? Это же только для того, чтобы порядок был! И дисциплина! Хочешь, я ради тебя в одиночку сегодня же два таких перестреляю? Только не трогай меня, я не хочу. Не хочу! Не хочу!

Сорвав с плеча автомат и рывком разложив рамочный приклад, ликвидатор ударил им по тому же многострадальному фильтру так сильно, что у прибора треснул уже основательно промятый корпус.

– Слава КПСС, – продолжал бормотать он, удаляясь к лифтовым шахтам. – Защити меня от своих же. Они ведь меня просто грохнут...

Лязгнула вдалеке дверь лифта. Над головой пять раз коротко взвыла сирена – и в коридоре воцарилась тишина. Ликвидация последствий Самосбора завершена. Отбой.

Ночь на воскресенье

Никита сидел в диспетчерской, обхватив голову. Чай в кружке давно остыл. Теперь, когда его вновь вызвали внеурочно на работу, чтобы устранить все замечания комиссии, он выглядел так, что даже Андрей Александрович, человек жёсткий, предпочитающий директивные методы, спросил:

– Никита, у тебя всё хорошо?

Он тогда что-то промямлил в ответ и даже на всякий случай, чтобы избежать подозрений, торопливо показал не-чёрный язык – нет-нет, этим вечером он не попал под Самосбор, а успел укрыться в коридоре ближайшего жилсектора. Да-да, просто вчера перебрал этанола со знакомым связистом, сегодня не выспался, съел на завтрак некачественный брикет, да и страшно очень – второй Самосбор за неделю. И сама неделя выдалась сложная – работа, сдача урожая, комиссия, которая придралась к неровности ящиков на стеллажах...

– Отдохни завтра и в понедельник не приходи. Даю отгул, – коротко приказал Андрей Александрович, выдавая ему из премиального фонда карточку на этанол. – Вот, держи. Только сегодня доделай эти пункты, ладно? Время сейчас какое-то сумасшедшее.

Если бы Никита, спустившись в свои чертоги фиолетового света, принялся работать с былым энтузиазмом, он бы уже освободился. Замечаний комиссии в списке имелось не столь уж и много – так, дежурные придирки, чтобы показать, кто здесь главный. Чистота воды в баке, несколько непрополотых сорняков, беспорядок в диспетчерской... Но не было сил что-либо делать. Откровение в коридоре с голубыми, выкрашенными масляной краской стенами, не то чтобы вышибло Никиту из колеи – скорее, оно вышибло колею из Никиты.

Самосбора нет. Есть лишь автоматы ликвидаторов. Всё, чему его учили ради спасения его жизни, – неправда. Сонм правил, предрассудков и примет – ложь. Жители Гигахруща выдумали Славу КПСС, чтобы получить надежду на спасение; ликвидаторы придумали Самосбор, чтобы получить право на власть. Корабль поколений никуда не летит. Но это знание – ключ без возможности передачи. Если Никита кому-то это скажет, то сначала ему никто не поверит. А потом этот кто-то наверняка донесёт, и повторится судьба блока ЛТП-798: расстреляют всех, имея полное на то право. Потому что если ликвидаторы не сделают этого, то никто больше не будет им подчиняться.

Перед Никитой в стакане чуть покачивалась серебристая звёздочка эдельвейса. Никита с грустью посмотрел на неё. Допустим, удастся договориться с соседом и спрятать запретный цветок дома, хотя, конечно, никакой веры Семёну Михайловичу нет – тот донесёт, радуясь своей законопослушности. Что дальше?

Ещё один пункт замечаний требовал обновить стенную нишу – вместо вольнодумственного вида на лесную рощу с кусочками неба следовало разместить ведомственную агитацию, предписывающую экономить поливочную воду. Плакат с пейзажем было жаль.

Зачем он вообще крепил плакат, используя клей? От сырости можно спасти бумагу и иначе. Или потому, что это предписывает традиция – чтобы никто не украл? В компостный бак такие традиции. И вообще, пейзаж слишком красивый, и Никита его заклеивать не будет. Это немного, что у него есть. Мало что ему под силу – но он хотя бы может не заклеивать плакат с видом на лесную рощу. Один раз в жизни он не выполнит чужой приказ. Один раз в жизни он сделает то, что хочет сам.

Снова пропали все мысли. Не особенно соображая, что делает, словно находясь во сне, Никита взял со стеллажа садовую лопатку и попробовал поддеть угол плаката. Это удалось с трудом: металл лопатки вошёл куда-то между слоями бумаги, так что, когда Никита потянул, начал отрываться целый пласт проклеенного папье-маше, скопившегося здесь за многие годы. Из ниши будто вывалилась целая доска с нарисованной на ней рощей.

Обнажившийся плакат – а в стенную нишу, судя по всему, плакаты клеились десятилетиями – был очень старым. «В пору урожая – работой свёрхурочно», гласила надпись. Бумага здесь расслоилась, и от древнего агронома остались только две руки, протянувшиеся к тепличным за-рослям.

Никита вдруг заметил с удивлением, что ниша глубже, чем кажется – не сантиметр, и даже не два. Он вонзил лопатку между краем бумажного слоя и бетоном стены, и та ушла вглубь сантиметров на десять.

Слой скопившихся плакатов был так велик и прочен, что поддеть его за один раз не представлялось возможным – Никите пришлось долго выламывать его тупой, используя секатор как опору для рычага. Он не сразу понял, что скрывается под удалённым напластованием истории, тем более что последние газеты намертво прилипли к поверхности и никак не отделялись. Да, в самой глубине стенной ниши под безумно старым плакатом «Уплотняй гермодверь асбестовой верёвкой» обнаружили ещё более древние, пропитанные клеем полуразорванные газеты. Никита смог разобрать разве что набранные старинным шрифтом строчки «команда глубокого бурения доведёт скважину СГ-3 до рекордной глубины» и опечатку в большом заголовке «вожди наших партий собрались для торжественного празднования дна всеобщего тоталитаризма...», но не больше – да ещё на размазанной, нечёткой фотографии какой-то усатый дедушка в фуражке приветствовал с трибуны сухонькой ручкой парад таких же дедушек. В тех местах, где садовый инструмент прорвал бумагу, чернело стекло. По периметру вокруг газет шла деревянная рама с двумя шпингалетами: один сверху, другой снизу.

Никита отступил на шаг, ещё не до конца понимая, что находится перед ним. То есть он понимал, что это самое настоящее окно, заклеенное газетами, но эта мысль представлялась ещё более абсурдной, чем идея о том, что Самосбора не существует. Что будет дальше? С той стороны через стекло ему из темноты улыбнётся пролетающий Слава КПСС?

Шпингалеты окна были намертво закрашены, и их пришлось поворачивать и оттягивать, используя всё тот же секатор в качестве рычага. Рама открылась так же неохотно, хрустя слоями масляной краски. Вниз на пол посыпалась какая-то труха и мелкий мусор. Никита осторожно выглянул наружу.

Снаружи было темно. Никита не сразу понял, что это ночь – когда вроде бы света нет, но в то же время в бесконечности сверху горят точки звёзд – а справа, за стоящей неподалёку тёмной громадой здания находится что-то яркое, заливающее своими лучами всё пространство впереди. Казалось невероятным, что здесь нет низкого, нависающего над головой потолка; что над головой теперь только безгранично высокое небо.

Слева и наверху на вершине другого гигантского здания светилося раскрытое окно. Никита успел даже разглядеть силуэт человека, прежде чем тот, видимо, заметив в свою очередь Никиту, торопливо захлопнул створки и погасил лампу. Вероятно, это был такой же обыватель, внезапно обнаруживший окно в стене – здесь Никита вспомнил, что в его ячейке тоже есть ниша, заполненная слоями плакатов. Впрочем, с такой же, если не куда большей вероятностью это мог быть кто-то из Главсектора, столкнувшийся с тем, что на нижних уровнях люди тоже могут самоуправно раскрыть для себя секреты Гигахруща. Никита бросил взгляд вниз.

К счастью, здесь было невысоко – наверное, второй-третий этаж – и, к счастью, рядом с окном проходила насквозь ржавая пожарная лестница. Перед тем как вернуться в теплицу, Никита ещё раз вдохнул полной грудью воздух наружной Вселенной.

В теплице всем телом ощущалась влажность. Только сейчас, вернувшись в свой привычный мир, Никита понял, что внутри Гигахруща, в общем-то, нечем дышать, а воздух несёт в себе одновременно затхлость, сырость и всепроникающее гнилое зловоние. С каким-то отвращением дёрнув ноздри, Никита огляделся.

Он не знал, сколько у него есть времени. Что если к нему уже выдвигается оперативный отряд ликвидаторов, вызванный неизвестным с верхних этажей? Никита с какой-то обречённостью по-

нял, что рисковать нельзя, и в худшем случае – а хороших случаев в Гигахруще не бывает – у него вряд ли есть больше минуты.

За несколько секунд, что он оглядывался внутри диспетчерской, Никита понял, что ему, собственно, нет никакой нужды возвращаться в жилищечку. Скорее всего, там, снаружи, не понадобится ни одна из вещей, лежащих в его шкафчике – ни зарплатная книжка строгого учёта, ни карточки на этанол, ни даже початый брикет синтповидла. То же самое можно было сказать про все пласты жизненного опыта, наклеенные на Никиту, точно плакаты на окно – про умение угадывать настроение начальника по движению бровей, про способность вежливо склонять голову перед заведующей жилблоком и, разумеется, про навык бесконечно подчиняться. Единственное, что могло пригодиться – опыт работы с растущей жизнью. И ещё эдельвейс. Вот плакат, к сожалению, придётся оставить.

Торопливо закинув стакан с цветком в карман куртки, Никита выглянул в теплицу, прислушиваясь, не вскрывают ли появившиеся ликвидаторы гермодверь теплицы? Но всё было тихо.

Никита вдруг понял, что даже плакат с изображением леса не заслуживает того, чтобы оставаться в Гигахруще. Он выбросил проклеенный, твёрдый лист наружу, и тот спланировал вниз и вбок. Проследив за улетающим в темноту плакатом, Никита поймал себя на том, что ему заодно хочется выбросить на свободу всё, что он недавно посадил в ящики с землёй – но времени на это уже совершенно не хватало. Он забрался на подоконник и, осторожно схватившись за ржавое железо пожарной лестницы, начал спуск. Лестница обрывалась, не доходя до земли, и Никите пришлось спрыгнуть в какие-то изрядно разросшиеся заросли; к счастью, шипов или колючек здесь не было. Проминая путь при зыбком розовом свете, падающем из окна, Никита подхватил под мышку плакат и выбрался на открытое место, обогнув бетонный угол высокого соседнего здания.

Вероятно, здесь заканчивался Гигахрущ. Странное ночное светило – такого Никита не видел даже на картинках – заливало всё вокруг своим белым, чуть призрачным сиянием. Откуда-то из бездн подсознания поднялось, пришло на ум слово «луна», хотя Никита мог поклясться, что никогда не слышал и не читал этого названия раньше.

Со стороны Гигахрущ выглядел совсем не так монолитно, как это казалось изнутри. Вдаль уходили бесчисленные корпуса высоких, похожих на каменные свечи зданий. В хаотичном порядке их этажи там и здесь соединяли короткие галереи. Какие-то здания, как то, где размещалась оставленная Никитой теплица, наоборот, были низкими – не более пяти этажей, но длинными и расположенными зигзагами. Гнетущая бесконечность уходящих вдаль бетонных параллелепипедов, залитых белым холодным светом луны, наводила ужас и неизбывную тоску. Чуть поблёскивали слепые окна, заклеенные изнутри многолетними слоями бумаги. Из прохудившихся швов между плитами выглядывали железные прутья арматуры, подобные рёбрам исполинского древнего зверя, могучего дракона, пожравшего в незапамятные времена своих пленников – да и окаменевшего в попытке их переварить. Никите вдруг показалось, что стены Гигахруща держатся только чудом, за счёт цемента и плакатов, которыми они облеплены с внутренних сторон, и ему стало жутко.

Никита сделал ещё несколько шагов вперёд, выходя на освещённый луною простор. Видимо, когда-то здесь была детская площадка. Ржавый, сделанный из металлических прутьев каркас ракеты стремился вверх; но мотки такой же ржавой колючей проволоки притягивали его к земле – они уходили вдаль, словно вегетативные побеги бобовых растений. Говоря по правде, ракета могла бы с лёгкостью разорвать давно сгнившие железные путы, но и точно так же сама рассыпаться в прах через секунду. Никита оглянулся. С гигантской стены последнего здания – этажей двадцать, не меньше – на него с широкой, доброй улыбкой смотрел сам Слава КПСС.

Не чувствуя своей руки, Никита неумело сделал крамольный жест, точно откидывал забрало шлема. Слава КПСС был точно таким же, что и на тех блеклых карандашных набросках, что ему доводилось видеть. Невероятной красоты гигантская мозаика, залитая лунным светом, чуть поблёскивала. Герой, одетый в космический скафандр, свободно летел среди звёзд; казалось, что

у мозаики нет краёв, и она переходит в ночное небо. Он улыбался Никите – улыбкой человека, который вышел из Гигахруща, открыв для себя весь мир, улыбкой человека, которому теперь не страшны ликвидаторы, контролёры и заведующие. Никита несмело попытался улыбнуться в ответ: мускулы лица, точно одревеневшие, с трудом приподняли уголки рта. Что-то подобное мог бы испытать человек, который впервые учится ходить. Вслед за этим Никита осторожно распрямил спину, отводя лопатки назад. Только сейчас вместе с неуклюжим движениями мышц он ощутил и странное, доселе не знакомое ему чувство безопасности – вдруг исчез бесконечный, сопровождавший Никиту всю жизнь страх перед тем, что его схватят и потащат, избивая ногами.

Никита ещё раз взгляделся в Его облик. Здесь, на гигантской мозаике были видны детали, которые обычно упускали художники Гигахруща: так, позади Славы КПСС летела ракета, оставляя за собой белый след. Точно такая же светящаяся полоса протянулась через звёздное небо над головой Никиты, будто кто-то проложил в бесконечной дали гигантскую светодиодную ленту. С борта мозаичной ракеты осыпались кусочки смальты, но Никита смог разглядеть буквы ВСТК – вероятно, ещё один могущественный тетраграмматон. В самом низу дерева закрывали надпись «Юрий ...», и Никита в глубине души даже удивился. В Гигахруще ничего не называют настоящими именами – даже Слава КПСС на самом деле Юрий ВСТК.

Что-то едва слышно завывало вдалеке – возможно, в одном из блоков Гигахруща сработали сирены, предупреждая о несуществующем Самосборе. Никита бросил взгляд на бетонного монстра, который всю жизнь был для него целым миром. Там, позади, в узком проходе между двумя гигантскими домами горело розовым светом окно навсегда покинутой диспетчерской. Никита с лёгкой, едва ощутимой грустью посмотрел на него, зачем-то подняв руку на прощание – точно так же была воздета рука у Юрия ВСТК. Затем, подняв глаза к небу, он сумел разглядеть ещё две маленькие надписи над Его портретом:

ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО КОСМОСА

и

105 ЛЕТ СССР

Наверное, эти древние письмена тоже что-то значили. Жаль, что Лёня, который мог бы объяснить их тайный смысл, вряд ли когда-либо сможет их увидеть – если, конечно, не попытается сорвать слой агитационных плакатов в комнате своего коммблока. Он был прав: только богочеловек может вернуться в Гигахрущ, оказавшись за его пределами. Хотя бы потому, что пожарная лестница не доходит до земли.

Ещё раз оглянувшись напоследок, Никита снова улыбнулся Юрию ВСТК: на этот раз улыбка получилась почти как у Него. Затем он перешагнул колючую проволоку и, осторожно ступая по сырой от росы траве, направился вперёд – туда, где на горизонте уже начинало светлеть предрасветное летнее небо.

Александр СКИДАН

на разъезжей ноженьки разъедутся
на ямской копытце заскользит
что-то душенька тебе неможется
мачта гнется и скрипит

перышко еще вчера очиненное
в рот набравшее чернил
я ль водил тебя под белы рученьки
да всю пропись зачернил

не шатайся по пожарным противням
не смотри в межреберный пролет
твои юбочки хитиновые
добрый дядя подберет

11.08.19

Памяти Владимира Эрля

на линии какой какого острова
скажу тебе прощай
как хороши как свежи были астры

и хризантемы и конечно лилии
и гроб столь основательно завинченный
что никакой стране не разомкнута

Александр Скидан родился в Ленинграде в 1965 году. Автор более десятка книг, в том числе сборника стихов «Контаминация» (2020) и книги «Лит.ра: избранные фб-записи (2013–2020)». Переводил современную американскую поэзию и прозу, теоретические работы по литературе и искусству. Лауреат Премии Андрея Белого (2006), стипендиат Фонда Иосифа Бродского (2018). Стихи переводились на множество языков и включены в различные антологии. В 2008 году в США в издательстве Ugly Duckling Presse вышла двуязычная книга «Red Shifting». Участник рабочей группы «Что делать». Редактор отдела «Практика» журнала «Новое литературное обозрение». Живет в Санкт-Петербурге.

теперь ты сам свой одинокий рай
где точки не соединяют линии
лежишь как бы кремнистый путь

и до любви еще
три ночи отстоять

3.10.20

Филонов

лег примерить прямизну
руки на груди сложил
тризну цезарей обглоданных
барагозил-обмывал

свой паек им отгрузил
юноша богатый гол
сокровенный коммунист
распотрошенной карповкой взошел

прощай ледащий лещ зимы
ума престолы ввинченные в зум
расширенного зрения
ступнями в мировой затакт

3.12.20

ем с ковидлой бутерброд
и еще один намажу
слетайтесь кодлюю своей
ваш зуб меня неймет

чу слышу дольний зуд
под лопатками и ниже
то легкие как монгольфьера шар
меня на пристань волокут

туда где речка волокуша
кладбище волково поит
напишут прозвище редактор критик перевозчик
чирик-чик-чик

9.01.21

надо бы вернуть лиричиско субъекта
этого того
субчика вернуть с улицы disjecta новоевропейской
в пункт досмотра кто кого

там и паспорт выдам и прописку
не кручинься и не хмурь чело
ты же человек и ешь таких же
под подписку о фило

27.03.2021

как сладко умереть в семнадцать лет
у будки телефонной
когда и штопор и консервный нож
пальто тщедушно расстегнут
и станут номер набирать в нежнейших кнопочках запутавшись
в том переулке где котельная
и газировка брызжет
пока ты оседаешь в стаканчик пластиковый
пин-код что ли совсем не помнишь квелый что ли
и кажется выходишь из шинели весь
на колокольную

29.07.2021

я по съезжинской пошел
дом введенского нашел
рядом улица введенская
съезжает в где когда
и одна коляска детская
без дна

24.II.2021

Памяти Софии Камилл

девушку отпевали с церковным хором
на мокром месте были глаза
и каждый думал какого хера
она ушла в темную ночь

и всем казалось чья-то невеста
вся в белом ждет жениха
тоже в белом одинокий несется
несется на всех парусах

и тогда смоленка не сморгнув посмотрела
в живые неживые снега
а могли бы быть совсем ножевые
почти что быть

24.12.2021

РАССКАЗЫ

Бутылка «Смирновской»

У меня было два брата. Антон – сводный по матери и Семен – двоюродный по отцу. Антон плавал. Так говорили о представителях самой привилегированной в нашем городе профессии – моряках заграничавания. Хотя сами моряки говорили, что де плавают только г...о, а они *ходят*. Сухопутный народ пользовался обоими глаголами. Говорили: он ушел в рейс, но на вопрос, чем он занимается, в смысле – какая профессия, отвечали: он плавает.

Люди, которые ходили в заграничку, выглядели нарядно, как иностранцы. Антон носил белые джинсы Lee, белую водолазку, черный кожаный пиджак и черные мокасины, о которых мама говорила – «как масло». Антон курил головокружительно ароматные Marlboro, всегда держа руку немного на отлете, чтобы были видны часы Seiko 5, золотой перстень и сама сигарета с вьющимся над ней дымком.

Когда мы говорим «моряк», мы представляем себе капитана в фуражке и белом кителе с золотыми пуговицами и его помощников, стоящих на капитанском мостике, оглядывающих в бинокль сверкающую на солнце морскую даль, или людей в промасленных спецовках, работающих в гудящем и вибрирующем от напряжения машинном отделении. На худой конец простых матросов в тельняшках – «майнай помалу!» – направляющих опускающиеся в трюм сетки с грузом. Антон был барменом.

Каждый раз, когда он возвращался из рейса, дом наполнялся яркими коробками и пакетами. Из хрустящей бумаги извлекались наборы шариковых авторучек каких-то космических цветов, плащи долонья, белые нейлоновые рубахи, пестрые отрезки кримплена с неопикуемым рисунком, календари с фигуристыми женщинами в купальниках. Все это предназначалось, как говорил мой брат, «на школу». В смысле на продажу. Причем здесь была школа? Не знаю.

Наблюдая за выгрузкой всего этого барахла, я тайно мечтал получить джинсы. Настоящие джинсы цвета индиго, перестроченные толстой желтой ниткой, с выстроченной буквой «W» и заклепками на задних карманах. Wrangler. Пацаны называли их Врангелями. Однажды я не выдержал и рассказал Антону о своей мечте. Не специально, просто разговор за столом зашел о джинсах, мама сказала, что на толкучке сейчас хорошо идут клешеные Super Rifle, а он сказал, что это г...но-штаны, а настоящие джинсы это 501-й Levi's, и все американцы носят именно их. И вот тут я не сдержался и сказал, какие мои любимые. Я ничего не просил, просто сказал. А он сказал: «Эти – дорогие», что как бы подтвердило верность моего выбора. И дало понять, что рассчитывать на такой подарок я не должен. Но каждый раз, когда он приезжал, я ждал, что случится чудо.

Антон вспоминал о моем существовании только при встречах. А-а, это ты?! Задавал какой-то никчемный вопрос типа того, какие у меня оценки в школе, я отвечал, что нормальные. На том наши разговоры и заканчивались. Всем своим видом он показывал, что занят очень важными, просто жизненно важными мыслями и ему не до меня. Мысль у него была одна – он хотел купить *собственное жилье*.

Вадим Ярмолинец родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета, работал в газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации в журналах «Октябрь», «Новая Юность», «Новый журнал», «Вопросы литературы», «Новый мир» и др. Автор пяти книг прозы. Постоянный автор журнала «Волга».

Мы вчетвером жили в небольшой двухкомнатной квартире, а он хотел свою, в которую, как говорила мама, он мог бы привести приличную девушку.

Для этого он сначала должен был приобрести развалюху на Мельницах или на Молдаванке. Затем следовало найти какого-то алкаша с комнатой в городской коммуналке, за которую тот не вносил квартплату годами, и которого соседи грозили выселить. Антон должен был произвести с ним обмен развалюхи на его комнату, рассчитавшись с его долгами и еще «дав пару копеек на лапу», чтобы он продолжал пить и не возвращался по привычке по старому адресу. Такие случаи бывали. И тогда уже комнату в коммуналке он должен был выменять, снова с приплатой, на отдельную квартиру, в которую он уже мог привести приличную девушку.

На следующий день после возвращения Антона из рейса в доме начиналась деловая суета, появлялись незнакомые люди. Они говорили: «мы от Люды», или «мы от Феликса», после чего их вели в родительскую спальню, где стояло зеркало-трельяж, перед которым они примеряли то, за чем их послали Люда, Феликс или еще кто-то. Некоторые женщины, купив что-то, или только порывшись в вещах, потом еще подолгу сидели с мамой, пили кофе или курили, обсуждая привезенные тряпки. Эти женщины были морячками, в смысле женами моряков, или спикюльшами, которые перепродавали купленное у морячек на толкучке.

Вырученные деньги мама клала в специальный пакет из желтой бумаги и делала запись в блокнот для учета проданного. После того как очередной покупатель покидал нашу квартиру, Антон, если он был дома, нервно закуривал и спрашивал маму: «Ну, что там у нас на кассе?» И она, взяв свой блокнот, отчитывалась. Им нравилось считать. Каждый пересчет приближал их к заветной цели.

Отец в этой торговой атмосфере чувствовал себя неловко. Когда Антон был дома, он обычно задерживался в своем радиоателье. Иногда и я приходил к нему после школы, мы обедали в пельменной, потом я устраивался за тем же столом, где он ремонтировал приемники или телевизоры, и делал домашние задания или читал. Запах моего отрочества – запах канифоли, плавящейся под горячим жалом паяльника.

Если погода была хорошая, отец предлагал мне подышать свежим воздухом, и тогда мы шли на бульвар. Здесь, устроившись на скамейке, он закуривал. Внизу за каменным бордюром и темными кронами деревьев находился порт. Нам были хорошо слышны его звуки: движение железнодорожных составов, лязг сцеплений между вагонами, вздохи выпускающего пар паровоза, свистки, скрежет кранов, крики грузчиков. В темноте видны былидвигающиеся огоньки портовых буксиров, и время от времени перекрывал все продолжительный звук паровозного гудка. Иногда я просил отца рассказать о войне, но его рассказы не казались мне героическими. На фронте он был старшиной взвода гвардейских минометов – «катюш». В атаку из окопов не ходил, не забрасывал гранатами вражеские дзоты, не бил немцев из снайперской.

– На приборной доске была такая рукоятка и под ней кнопки, – рассказывал он о своей машине. – Если хотели помотать фрицам нервы, то рукоятку вращали медленно, чтобы она нажимала по одной кнопке. Нажмешь, снаряд улетел к ним. Подождал, пока он там у них рванет, следующую кнопку нажимаешь. А перед наступлением, конечно, крыли их залпами. Мало им там уже не было. Отстреляемся, едем на новое место. Фронт двигается, мы за ним. Осенью тяжело было, весной. Дождь, грязь, машина буксует, пока вытащишь ее из этого болота, глотку сорвешь.

Он воевал на «студебекере», и в этом слове было такое же очарование, как и в словах Super Rifle или Wrangler.

У отца был друг-фронтовик – дядя Виталий Тихоплав. Тот воевал в пехоте. И по его отношению к отцу я понимал, что отец что-то недоговаривает о себе. Один раз они вспоминали какую-то операцию, и дядя Виталий сказал многозначительно: артиллерия – бог войны. И добавил уже для меня: А твой батя воевал не в простой артиллерии, а в ре-а-ктивной. Ты понял?

– Нет, – признался я.

Дядя Виталий засмеялся.

– Реактивная артиллерия – это страшная вещь. Не знаешь, и лучше не знать.

Мать, кажется, была благодарна нам за наше отсутствие. Когда мы приходили домой, Антон обычно был у друзей, а когда возвращался он, мы уже спали. Когда он, стараясь не шуметь, раздевался и укладывался, я слышал его сладковатое от выпитого дыхание.

Но один раз мир изумительно ярких вещей, который окружал моего брата Антона, отступил и поблек. Это произошло, когда к нам в гости приехал мой кузен Семен. Он был сыном родного брата отца – дяди Гриши. Тот умер от рака легких вскоре после войны, и я знал о его существовании лишь по фотографиям.

Семен был высок, красив, у него были замечательно умные карие глаза, бархатный голос и заразительный смех. Он слыл дон жуаном. По окончании Шукинского училища он приехал из Москвы в Одессу и работал в Русском театре. Из негромких разговоров родителей, не предназначенных для моих ушей, я знал, что у него бурный роман с известной актрисой, и об этом романе говорил весь город. В театр ходили посмотреть на них. Зрителей волновала их запретная близость – актриса была старше Семена, и она была замужем за большим начальником, поэтому Семену, в конце концов, пришлось перебраться в другой город.

Его приезд к нам совпал с очередным возвращением из рейса Антона. Снова папа ходил по городу в поисках зеленого горошка и майонеза для салата оливье. Варившиеся в большой кастрюле копыта для холодца наполняли квартиру тяжелым – не продохнуть – запахом. Мама молола мясо, которым она начинала сладкие красные перцы, раскатывала коржи для торта, взбивала крем. Стол накрывали белоснежной скатертью, из серванта доставали сверкающие гранями хрустальные бокалы и пузатые рюмки для водки. Перед приходом гостей отец перелил купленную им «Московскую» с зелено-белой этикеткой в пустую бутылку от «Смирновской» – когда-то принесенную Николаем. Яркая – красная с золотом – американская этикетка не просто украшала стол, она делала все застолье рангом выше. Антон, конечно, знал об этом трюке.

Стол был прямоугольным. Отец с матерью устроились на одном конце, братьев посадили на другом. Они были дорогими и почетными гостями, все остальные должны были ими любоваться. При этом они были не просто родственниками, они олицетворяли всем своим видом достижения нашей семьи – один бороздил мировой океан, другой – выходил на высокую столичную сцену. Один был во всем нарядном, заграничном, его постоянно окружало облако дивного благоухания, в котором аромат одеколона мешался с ароматом настоящих американских сигарет. Второй был сам по себе красавец, и самый простой черный костюм, белая рубашка и черный галстук смотрелись на нем так же стильно, как они смотрелись на Марчелло Матростяни. Общая приподнятость настроения даже не допускала мысли о том, что костюм его отечественного производства, а рубашка «Дружба» – китайского, а не итальянского.

Когда гости расселись, папа взял свою праздничную бутылку, налил Семену первому, потом остальным и, подняв свою стопку, сказал:

– Ну, что Сеня, оцени американский продукт!

Семен поднес стопку к носу, потянул легко ноздрями, потом показал бровями, что мол, да, тут есть над чем подумать, и затем очень ловко опрокинул ее в себя. Взгляды всех сидевших за столом замерли на нем. А Семен деловито понюхал ломтик черного хлеба, потом подцепил из хрустального блюда бронзово-черную шпротинку, аккуратно разделил ее вилкой пополам, закусил и, шморгнув выразительно, заключил коротко, но с чувством:

– Это – водка!

И я клянусь, что в этот момент и мой папа, и моя мама, и Антон, прекрасно знавшие, что именно только что выпил Семен, всем своим существом уверовали в то, что просто черт его знает каким фантастическим образом в его стопке оказалась самая что ни на есть «Смирновская», а не наша отечественная горилочка за три шестьдесят две.

– Постой, это вот, – очнулся от гипноза Антон. – Так это же это... это вот...

Но его уже никто не слушал, звенела посуда, со всех сторон слышны были реплики: «Да-а, хорошая водочка!», «Америка!».

– Молодец, Антон, – сказал, хитро подмигивая ему, дядя Виталий. – Если бы не ты, когда бы мы еще «Смирновскую» попробовали!

Похвала не просто заставила замолчать Антона, он сжался, увял. То ли ему стало неловко за то, что он был участником этого розыгрыша, то ли действительно смутился от того, что мог бы принести домой бутылку «Смирновской», да не принес. Ну, что ему стоило? Ведь он был моряком заграничавания! Мариманом! Богачом!

После застолья Семен устроился с настоящей американской сигаретой у открытого окна и подозвал меня. Понизив голос и бросив быстрый взгляд в сторону моих родителей, он поинтересовался, не начал ли я уже курить. Меня бросило в краску. Он засмеялся, потрепал меня по волосам. Он смотрел на меня, и взгляд его был светлым и радостным, как взгляд человека, который вкусно поел, в меру выпил и находится в теплой компании родных людей. Потом он стал рассказывать, что сам начал курить «бычки», которые бросали под ноги возвращавшиеся с войны офицеры. Он с приятелями ходил на железнодорожный вокзал смотреть на них. Они приезжали из Германии, Польши, Румынии – веселые, уверенные в себе, в новеньких кителях, сверкающих хромовых сапогах, с медалями, с красивыми чмодами. Какими сказочными героями они им казались! Покорителями Европы! Потом он рассказывал, как в студенческие годы подрабатывал на папиросной фабрике. Как надевал на смену спортивные шаровары, чтобы набить их пачками «Сальве» – для себя и друзей. Он смеялся и подмигивал мне, как сообщнику:

– А что делать, курить хочется, а денег – ни копей!

Как я хотел в эти минуты, чтобы именно Семен был моим родным братом, чтобы он жил рядом со мной, рассказывал свои озорные истории, сверкал глазами и смеялся. Но он уехал в тот же день во Львов, где получил место режиссера. Мы с отцом пошли проводить его «до угла». На прощание он обнял меня и чмокнул в макушку, оставив облачко сладкого хмельного дыхания и острое чувство потери, пустоты, которую невозможно было заполнить никакими красивыми этикетками и обертками.

Да, так-то вот, а яркая этикетка «Смирновской» в конечном итоге поблекла и стерлась от мытья, без нее бутылка потеряла всякое очарование и только благодаря завинчивающейся крышечке осталась в доме. Мать долго еще использовала ее для подсолнечного масла.

Еврейский адвокат

Тема этого рассказа – смерть. Хотя жизнь в нем тоже присутствует. Она как бы предшествует смерти. Поэтому я начинаю с жизни. Ее главным представителем тут является некто Леонид Александрович Кац. При советской власти он был известен в Одессе как Еврейский адвокат. О другом просто сказали бы «айдыше коф», постучали указательным пальцем по лбу и многозначительно закатили глаза, но не в его случае.

Чтобы вы поняли, каким он был специалистом, расскажу историю его племянника и моего приятеля Игорулика. В те годы Игорулик был молодым художником. Талантливым он был, нет – пускай через сто лет решат критики, но от начинающих коллег его выгодно отличало то, что у него была своя мастерская. Она находилась в Треугольном переулке. Как это бывает с творческими личностями, вокруг него постоянно вились любительницы изобразительного искусства. Со всеми вытекающими последствиями, если вы понимаете, о чем я говорю.

В том же дворе, где располагалась мастерская, жил инвалид войны Виктор Фомич Пепперман по прозвищу Старый Перец. Причем прозвище не было переводом его фамилии. Он был страшно едим человеком. Страшно! Ему было просто физически плохо, когда другим было хорошо, и он делал все, чтобы его здоровье не страдало по чужой вине. Такое случается, когда изъяны характера усугублены увечьем. Пепперман лишился ноги на фронте и ходил на деревянном протезе с ящичком для шкалика «Московской».

И вот в один майский день Старый Перец выбрался из своего подвала и первым делом осмотрелся. Кругом было тихо и солнечно. Никто не орал ни «рота, подъем!», ни «хэнде хох!». Его жизни ничто не угрожало. Он перевел дух и увидел, как несколько молодых женщин, весело болтая, прошли в мастерскую Игорулика. Это произвело на него нехорошее впечатление.

Тогда он спустился в свое логово и со словами «ничего, вы у меня еще повеселитесь» сел к подоконнику, вырвал лист из школьной тетрадки, в которую его жена Муся записывала расходы на жизнь, и нацарапал письмо в ЖЭК. В нем он уведомлял вышестоящие органы, что в его дворе совершенно открыто действует подпольный бордель и его пора прикрыть, а помещение передать артели инвалидов для изготовления протезов с ящичками для различных полезных в быту вещей. Располагая опытом производства таких протезов, он был готов возглавить этот трудовой коллектив.

Не прошло и нескольких дней, как к Игорулику постучали. В этот момент он, как юный Рубенс, стоял в одних трусах перед мольбертом и ни сном ни духом не догадывался о нависшей над ним туче. Потому что прямо перед ним на диване лежала одна симпатичная натурщица и позировала ему для его натюрморта во всей красоте своих 35 с небольшим лет. Это была Софья Борисовна ДОСААФ. Почему ее так называли – я уже раз объяснял, поэтому не стану тратить ваше время на повторение пройденного. Короче. Игорулик, ничего не подозревая, открывает дверь, за которой стоит начальник ЖЭКа с помощниками. И они все смотрят на Софью Борисовну и не могут вспомнить, зачем они сюда пришли. Но постепенно они все же собираются с мыслями и сообщают Игорулику, что заставило их нанести ему этот визит вежливости.

Игорулик, ясное дело, сначала переживает сильный испуг, а потом вспоминает о своем дяде Лене. Когда гости уходят, он идет к нему и делится новостью. Дядя Леня выслушивает племянника и говорит, чтобы тот возвращался к своим обычным занятиям, а он подумает, как решить проблему.

– А что делать с Софьей Борисовной? – спрашивает Игорулик, как настоящий джентльмен. – Они же видели ее в таком виде, что у них теперь возникнут вопросы непосредственно к ней.

– Пусть она зайдет ко мне, – отвечает дядя. – Я дам ей подробную инструкцию, как жить дальше.

Хорошо. Игорулик, передает дядину просьбу Софье Борисовне, а сам возвращается к своим обычным занятиям. Но сердце его беспокоит. Поэтому время от времени он звонит дяде и спрашивает, не нужно ли взять характеристику со старого места учебы или вообще сходить к психиатру за справкой, что у него не все дома. Но дядя Леня говорит, чтобы Игореша ни о чем таком не думал, а продолжал заниматься своей живописью.

Чего не знал Игорулик, так это того, что у его дяди Лени был один специальный паренек Феликс, который за сто рублей в месяц должен был знать все и про всех. При этом это «все» он держал в своей голове, потому что если бы он начал делать записи и их кто-то прочел, то его бы удушили еще в пионерском возрасте, когда у него проявился его талант. Короче говоря, Феликс получил новое задание по выяснению обстоятельств жизни одного отдельно взятого инвалида и ушел на его выполнение.

Проходит несколько напряженных дней, и Игорулик снова слышит стук в дверь. Он тут же накидывает на плечи пиджак, поправляет комсомольский значок на лацкане и открывает дверь. Что же? На пороге стоит строгого, но немного распутного вида девица из ЖЭКа, которая просит его, когда у него будет время, зайти к ее начальнику. Он тут же идет в ЖЭК, тем более девице тоже туда, и там ему объясняют, что получено письмо из артели инвалидов в Дюковском саду, из которой Старого Перца когда-то выперли за скверный характер. В письме говорится, что он – горький пропойца, который избивает жену Мусю, когда та отказывается давать ему на водку, и вот теперь он вознамерился овладеть помещением художественной мастерской, чтобы обеспечить себя дополнительным источником нетрудовых доходов в ущерб краснознаменной артели коммунистического труда Дюковского сада. Но этот номер у него не пройдет, сигнал получен, и поэтому Игорулик может спокойно продолжать свою работу по облагораживанию нашей советской действительности.

А та девица, к слову сказать, присутствовала при этом разговоре и всем своим слегка распутным видом намекала Игорулику, что готова оказать ему посильную помощь в его благородном занятии.

Что до Софьи Борисовны, то она стала секретарем Еврейского адвоката, но ненадолго, потому что работа в принципе тяготила ее. К любому делу она относилась как к театру, где она играла главную роль. Так и тут. Она надела узкую черную юбку, черные чулки, черные туфли на шпильках, белую блузку и две недели исполняла роль секретарши знаменитого юриста. По истечении этого срока дядя Леня стал жаловаться, что не может сосредоточиться на работе, поэтому они стали видеться в свободное от нее время. Супруга юриста Ида Львовна, будучи настоящей еврейской женой, тут же обратила внимание на то, что муж не жалеет себя, задерживается и часто жалуется на усталость. Но это только заставило ее ценить супруга еще больше.

В результате перемен в жизни Софьи Борисовны Игорулику пришлось озаботиться поиском новой натурщицы, но, как вы понимаете, свято место на диване художника пусто не бывает. Кто его занял, вы уже наверное догадались.

Да, вот такой вот был этот Леонид Александрович Кац – Еврейский адвокат и умнейший человек, хотя со своими тараканами. Например, всем видам общественного транспорта он предпочитал такси. Что-то, а лишний рубчик у него всегда был. Но он не садился в первую же машину с зеленым огоньком. Одну пропустит, вторую, иногда по пять машин пропускал. Его спрашивают: «Леонид Александрович, в чем дело, в конце концов?!» Он отвечает: «Я не сажусь в машину с молодым водителем». – «Почему?!» – «Не хочу рисковать». Что-то внутри подсказывало ему, что с автотранспортом ему нужно быть поосторожней.

Как ни хорошо был устроен Леонид Александрович в Одессе, но в самом конце 80-х прошлого столетия весь город снялся с насиженного места и поехал. Сначала Леонид Александрович наблюдал за этим явлением совершенно отстраненно, но проводив на вокзал Софью Борисовну, он ощутил такую пустоту вовне и извне себя, что, вернувшись домой, тут же сообщил жене, чтобы она готовилась к отъезду. «Нашему мальчику, – сказал он об их сыне Вите, – там будет лучше». Это был совершенно неотразимый довод, и Ида Львовна тут же согласилась.

И вот все они в Нью-Йорке, где их встречает новая жизнь, неведомая, но непременно прекрасная. Первым делом Леонид Александрович решил проверить, что происходит в сфере, которая исправно кормила его много лет. Для этого он пошел в местное отделение Бруклинской публичной библиотеки и нашел справочник Нью-Йоркских адвокатов. Это была книга в четыре пальца толщиной, и одно это произвело на него нехорошее впечатление. Он открыл ее. Первым в списке шел Аарон Абрамович, эсквайр. Чтобы не терять времени он открыл справочник на последней странице. Список эсквайров завершал некто Звиад Зусман. После этого Леонид Александрович решил выснить, есть ли у него в Нью-Йорке однофамильцы. Оказалось, что эсквайры по фамилии Кац занимали 78 страниц. Даже 79. Еще 55 страниц занимали Кацманы и еще 25 – Каценеленбогены. На всякий случай он вернулся к обычным Кацам и насчитал 26 страниц Лео, Леонов, Леонидов и Леонидасов Кацев.

Он всегда знал, что в Америке всего в избытке, но от такого избытка он просто задохнулся. На секунду-другую ему даже представилось, что он находится в людском море Кацев, которые тянут к нему свои руки со скрюченными от ненависти пальцами, чтобы растерзать новоприбывшего конкурента, хотя у него еще даже не было лицензии на право юридической практики, чтобы соперничать с ними. Но что можно было объяснять этой обезумевшей толпе однофамильцев?

Леонид Александрович повздыхал, записался на пособие и стал подрабатывать на дому, заполняя анкеты безыязыким иммигрантам, нуждавшимся в какой-нибудь государственной помощи. Остаток времени он отдал заботам о Вите. Иногда он виделся с Софьей Борисовной, которая в основном жаловалась на то, что должна была приехать в эти сказочные края лет двадцать назад, но что теперь уже говорить, поезд ушел, и все в таком духе. Он отвечал, что для него она всегда будет молодой, прекрасно понимая, что если бы они приехали сюда на двадцать лет раньше, то сейчас рядом с ней, скорее всего, лежал бы другой человек.

Не вникая в другие подробности жизни Леонида Александровича, скажу только, что он сделал для своего мальчика все, что только мог сделать малообеспеченный американец с «аидыше кофп». В итоге его Витюша получил все возможные гранты, стипендии, бесплатные курсы для

особенно одаренных детей, поступил в суперпрестижный Массачусетский технологический институт и окончил его с титулом Summa Cum Laude – в числе лучших. После этого он получил работу в какой-то подземной лаборатории в Неваде. Там он с головой погрузился в научную деятельность, напрочь забыв о бедных родителях.

Как это обычно бывает, единственным поводом, чтобы вернуться к семейному очагу, стала смерть мамы – Иды Львовны. Она умерла от ковида, а Леонид Александрович, представьте себе, даже не заболел. Что тут можно добавить? Ничего. Все там будем. Не от ковида, так по какой-нибудь другой причине.

И вот Витя вернулся в отчий дом. К его приезду отец подготовил все необходимое для похорон. Только рабай наотрез отказался явиться на кладбище, сославшись на опасность работы в условиях пандемии. Тогда Витя, что значит научный сотрудник, договорился с ним, что тот будет петь у себя дома по телефону, а они поставят свой телефон на край могилы в стакан – чтобы было громче – и будут слушать. Так и сделали. Рабай пел, а они слушали, пока стакан, возможно от сильной вибрации, вызванной голосом рабая, не наклонился и не упал в могилу. Вместе с телефоном. Поэтому какое-то время рабай еще пел из-под земли, как если бы он решил сам проводить покойную в царство теней.

Когда рабай закончил, Леонид Александрович решил спуститься за телефоном. Терять его было недопустимо, потому что это была недешевая вещь. Стесняться ему тоже было некого, так как на кладбище были только его сын Витя, племянник Игорулик и Софья Борисовна, которая, во-первых, хотела поддержать близкого человека в тяжелую минуту, а во-вторых, проститься с женщиной, которая, сама того не подозревая, полжизни делилась с ней самым дорогим. Два стоявших на безопасном расстоянии гробовщика – не в счет.

Короче, когда Леонид Александрович спускался в могилу, он оскользнулся и упал на крышку гроба, проломив ее. Не сильно, но заметно. И телефон соскользнул внутрь. Как говорится: час от часу не легче! Витя тогда сказал, что наверное надо было не жалеть на гроб и взять что-то более качественное, что не сломалось бы так быстро. Папа возразил, что, во-первых, крышка гроба не матрас, на который можно прыгать безо всяких последствий, а во-вторых, он не миллионер, чтобы покупать за немыслимые деньги вещь, которую они будут видеть перед собой от силы час. Что до мамы, то она всегда поощряла экономное отношение к ведению хозяйства.

Когда папа закончил приводить свои доводы, Витя с Игоруликом помогли ему выбраться наружу, а на его место спустили гробокопателя, который достал телефон, все поправил и аккуратно положил первый слой земли. Потом каждый бросил свою горсть.

Молча они пошли домой. Моросил дождь, в воздухе висел туман, и настроение у всех было похоронное в прямом смысле этого слова. Машина, на которой они приехали, была запаркована на другой стороне улицы, прямо напротив входа на кладбище. Когда Леонид Александрович шел к ней, его сбило проезжавшее мимо такси.

Что случилось дальше – вы уже можете себе представить сами. Сын на коленях у тела отца, кровь на мостовой, слезы Софьи Борисовны, вскрики скорой и мигалки полиции, копы, надевающие наручники на растерянного водителя-албанца – паренька лет двадцати.

И глядя на эту картину, Игорулик вдруг вспомнил, как всю свою жизнь в Одессе его дядя остерегался молодых таксистов. «Да, – сказал он и вздохнул, – от судьбы не уйдешь». Слышавшая эти слова Софья Борисовна с удивлением посмотрела на Игорулика, но тот только махнул рукой и ничего не стал объяснять, потому что это было долго и не к месту – нужно было организовывать новые похороны.

Егор КУЛИКОВ

В-МЕСТЕ

Повесть

Не по Библии

Любое мало-мальски сложное дело Давид с детства представлял себе в образе Голиафа. Так было проще справляться.

Поначалу это была уборка комнаты или длинное стихотворение, что надо было выучить к утру. Ближе к окончанию школы Голиафом, как ни странно, была одноклассница Саша, с которой Давид жутко хотел пойти на свидание.

В один из не очень удачных дней Давид наградил статусом Голиафа собственное самочувствие.

Организм молодой, но вчерашний алкоголь все ещё бултыхается в теле, как остатки в бутылке. Но это ничего. Голова! Вот настоящая проблема.

С самого утра Давид ощущал подмену. Словно мозг вынули и заменили горстью гвоздей. Больших таких, не меньше сотки. И стоит шевельнуть резче нужного. Дернуться или, не дай бог, чихнуть, то гвозди не заставляли себя ждать. Они увеличивались. Втыкались в черепную коробку и даже проходили сквозь. Голова в эти моменты походила на ежа, который научился выпускать иглы, как кошки когти.

Видимо, оттого Давид и ехал в автобусе, не замечая, сколько в салоне пассажиров и какая будет остановка. Он пытался сконцентрироваться и побороть неумного Голиафа и одновременно желал окончательно отключиться от этого мира, чтобы вовсе не сражаться.

Водитель, как опытный хищник, сразу вычислил состояние Давида. Наверное, поэтому он не пропускал ни одного ухаба. И нарочно выбирал пожестче и поглубже. В эти моменты Давид плотно зажмуривал глаза. Помогало не всегда. Порой приходилось ладонями сжимать виски, чтоб не лопнули. И тонкие дужки очков исчезали в серой коже.

Невольно Давид вспомнил ещё одну проблему. Редакционное задание. Но тут же вычеркнул его, решив, что с двумя Голиафами такой величины ему не совладать. Всё надо решать по порядку.

Для начала собственное самочувствие. Остальное потом.

А пока что окна автобуса осыпал мелкий дождь. Капли короткими перебежками достигали края окна и сливались в ручеек. Нитка холодного воздуха тянулась сквозь высохший уплотнитель.

Давид склонился и почувствовал, с какой легкостью ветерок стачивает гвозди. Делает их округлее, мягче. Некоторые и вовсе исчезают.

Егор Куликов родился в 1990 году в пгт Первомайск Приднестровской Молдавской Республики. Учился в РУДН на филологическом факультете (направление – журналистика). Печатался в журналах «Урал», «Дальний Восток», «Чайка» и др. Живет в Подмоскowie.

Но это не могло продолжаться вечно.

Очередной ухаб вернул всё на свои места. Давид зажмурился. Сдавил голову и услышал хруст.

«Надеюсь, не череп», – с опаской подумал он.

– Лучше бы это был череп, – продолжил Давид шёпотом, разглядывая разваливавшиеся очки. Левая дужка лопнула у оправы.

Автобус сбавил ход. Вильнул на обочину. Гвозди шевельнулись и цапнули череп.

Давид встал и кое-как сумел покинуть автобус. Спланировал на бордюр и тут же зашёл под крышу остановки.

Пару секунд автобус пыхтел. Хлопнул дверьми и растворился жёлтым пятном в сером пейзаже осени.

Придерживая очки, Давид огляделся. Пустая двухполосная дорога. За остановкой вспаханное размокшее поле. И где-то вдалеке, там, где исчез автобус, виднеется табличка с названием села. Естественно, названия Давид не разобрал.

«Мог бы и подвезти», – вспомнил он водителя.

Состояние не улучшалось. И ждать каких-то продвижений в этой области глупо.

Решив, что стоять в промозглую погоду не лучший выбор, Давид побрёл вдоль дороги к табличке.

Каждый шаг отдавал болью. Неуёмные гвозди червями копошились в голове. Да ещё и очки надо нести в руках. Пейзаж и без этой проблемы плывёт. Размок весь от сырости и мелко сыплющегося дождя. А без очков и вовсе превратился в картину какого-то художника-минималиста, у которого не было других цветов, кроме белого и черного. Вот и получился этот замечательный пейзаж.

«Просто отвратительный пейзаж», – поправился Давид.

По пути порывлся в кожаном портфеле. Зонттик найти даже не пытался. Зря вчера не собрался. А вот бутылка воды была бы кстати. Но и её не оказалось.

Так и брел он вдоль дороги, пока не очутился рядом с табличкой, где красовалась надпись «Деудино».

– Почему они не сделали остановку на этом повороте? – зло выдавил он, непонятно к кому обращаясь.

Кусок асфальта закончился метрах в двадцати. Дальнейший путь проходил по раскисшей грунтовке.

Давид посмотрел на телефоне время и тут же спрятал его во внутренний карман.

Как бы не отжали в этой глуши. Сотовый в наше время роскошь.

«Скоро обед», – недовольно подумал он. Мысль о еде вызвала лёгкий приступ тошноты. Давид остановился. Отдышался. Поднял воротник пальто и нехотя побрёл дальше.

Время перестало существовать. Только лес по левую руку. Поле по правую. И бесконечно длинная тропа.

Пальто быстро напиталось влагой и уже ощутимо давило на плечи. Ноги вымокли.

«Не заболеть бы», – подумал он, перекидывая портфель из замерзшей руки. Зря я все-таки вчера решил отпраздновать. А что, собственно, праздновали? Ну вот, даже события не помню. Да и чёрт с ним, с этим событием.

Давид снова приладил очки, надеясь увидеть конец этого нудного и промозглого пути. Но нет... деревья лениво смотрели на него свысока. Поле проглатывало его своей чёрной бездной. А проклятая дорога так и таяла в тумане.

Далёкий собачий лай оповестил о том, что в деревне есть люди.

«Это хорошо, – подумал Давид и тут же поправил себя: – Тогда почему этот лай слышен сзади?»

Невольно ускоряя шаг и так же невольно просчитывая варианты, Давид не успел опомниться, как ноги уже галопом несли его по раскисшей почве.

Кислый пейзаж рванул навстречу и заплясал.

Лужи – не лужи. Трава – не трава. Плевать!

Деревья, небо, дорога, дорога, дорога...

Лай густел и приближался. Четыре собаки легко проглядывались, если обернуться. Давид, естественно, этого не делал. Он антилопыми шагами скакал по тропе.

Первые избы выпрыгнули из серости дождя и кадрами замелькали по сторонам. Дома, заборы, улица...

Давид не помнил, когда остановился. Точнее, сбавил ход.

По инерции двигался широким шагом, пытаясь понять, гонятся или уже отстали. Но слышал лишь собственное тяжелое дыхание.

Вместе с шагом вернулось время. Мир успокаивался и замедлялся. Адреналин выветривался из крови, прихватывая с собой обостренные чувства. Вот и зрение снова стало неважным.

Только что перед Давидом был погнутый забор с четкими штакетинами, а сейчас уже что-то смутное и темное склонилось карточным веером.

Жар после гонки начал покидать тело, уступая место холоду.

Давид почувствовал, что начал терять нить реальности и всё чаще уходить в какое-то забытье.

Появился редкий озноб. словно кто-то хватал за грудки и несколько раз хорошо так дергал, возвращая в реальность. Странно, но гвозди при этом не скребли. Головная боль сменилась головным туманом.

Смазанная реальность водянистой жижей текла и как бы проглатывала Давида. Прибирала своими липкими щупальцами ещё одно блуждающее тело.

Озноб уже не помогал. Не вытаскивал в этот мир. А Давид и не очень хотел возвращаться. В мире туманном было куда приятней. Ни болей, ни тошноты, ни этого мерзкого пейзажа. Ни даже холода. Там спокойно и тихо. Темно, уютно и самое главное – тепло!

Не помня себя, Давид подошёл к ближайшему забору. Бросил портфель, повесил руки. Светлое пятно носилось по двору. Подбежало и начало облизывать теплым языком ладони.

«Собака», – отстраненно подумал Давид, совершенно забыв, что нечем отбиваться.

Не обращая внимания на тёплый и мокрый язык, Давид посмотрел на избу. В окне померещилось движение.

Он оторвал тяжелую руку от забора. Начал махать и на мгновение показалось, что вместо руки у него кусок рельса. Такая она неповоротливая. Закоstenелая и невероятно тяжёлая. Несколько раз ему удавалось справиться с этой чужой конечностью, после чего рука перевесила. Давид повалился вдоль забора в мокрую траву.

Уже находясь в своём уютном мире забытья, Давид с сожалением подумал, что впервые в жизни Голиаф оказался сильнее.

Хворь

Сожаление о проигрыше жалкому филистимлянину протянулось с Давидом на протяжении всего времени его забытья. Он и очнулся с горьким чувством поражения.

После сожаления Давид ощутил, сколь сильно болит тело. словно, пока он был в отключке, на нём отплясывали всей деревней.

Несколько минут он смотрел в потолок, боясь и не имея возможности пошевелиться. Затем потихоньку начал тестировать собственное тело. Как можно двигаться, чтобы гвозди не вернулись.

Тело позволило повернуть голову.

Отлично!

Давид лежал на печи и, прищурившись, разглядывал избу. Увидел пустую кровать с пышными подушками. Крепкий стол, заставленный посудой. Длинную лавку. На лавке, привалившись к сте-

не, какой-то мешок. Бревенчатые стены обвешаны полками. А сами полки ломаются от кастрюль, банок и рабочего инструмента. Между полок какие-то светлые квадраты... скорее всего полотенца и фотографии, догадался Давид, натягивая уголки глаз.

– Проснулся-таки? – раздался девичий голос.

Давид вздрогнул. Машинально поднял тяжелое одеяло к подбородку и начал отчаянно шарить глазами по избе. Благо света хватало.

– Чего молчишь-то?

Голос молодой, отметил Давид, продолжая с прищуром разглядывать пространство.

– Проснулся, – сказал он, не прекращая поисков.

На лавке зашевелился мешок. Встал и подошёл к печи.

– Долго же тебя хворь била, – сказала девочка тонким голосом.

Давид отметил её странную одежду: длинная белая рубаха и вышитый красным узором передник. А также голова как запелёнанное в платок страусиное яйцо.

– Сколько я был в отключке? – спросил Давид.

– Третий день уж, – сказала девушка и, улыбнувшись, опустила голову: – Дров надобно бы подкинуть, – продолжила она, сдерживая смех.

Пока она «кормила» печку, Давид приподнял одеяло и обнаружил на себе белую рубаху и штаны.

«Хоть не голый», – обрадовано подумал он.

В это время девушка вернулась. Она положила руку на зеркало и с наслаждением закрыла глаза. Точно нарочно это сделала, чтобы Давид разглядел её. Чем он и воспользовался.

Но что там увидишь в этом платке? Только и успел отметить овал лица, которое вот-вот, на этот или следующий год, очертится. Кожа натянется на скулах, и станет настоящим лицом девушки. Сейчас ей лет пятнадцать, определил для себя Давид.

– Это ты меня спасла? – спросил он.

Девочка открыла глаза. Оттолкнулась от печи и, отвернувшись, ответила:

– Да где же тебя, такого бугая, на печь-то вытащишь? – насмешливо сказала она и с размаху села на лавку, снова превратившись в мешок. – Бабка моя спасла тебя. Говорит, ты как призрак появился за околицей, махнул рукой да тяп мордой прямо в траву. Бабка деда позвала. Они тебя и затащили сюда. А меня тогда не было дома. Скотину кормила я. Если бы я ещё дома была, то мы бы тебя репкой прозвали. – Тон её оставался игривым и сквозил легкой насмешкой и даже издевкой. Давид смог для себя объяснить это двумя причинами. Либо она заигрывает, что вероятнее всего. Либо что-то знает. – А представляешь, мы бы ещё Жучку позвали? – она звонко и глупо усмехнулась. – И потом ещё кошку. Кстати! – мешок подпрыгнул на лавке и замер. – Мы и мышку можем у нас в избе найти. Ты был бы полный репка из сказки.

Давид тяжело выслушал монолог и искренне признался себе, что совершенно не знает, как комментировать происходящее. И стоит ли вообще комментировать это?..

На мгновение показалось, что это сон. Ну, не может же быть это правдой. Не может!

Имба какая-то музейная. Девочка как из ансамбля народных танцев сбежала. В белой рубахе. В вышитом переднике. И говорит на старый лад: певуче растягивая гласные.

– А ты писать о деревне приехал ведь? – не выдержала девочка.

– Да. Откуда знаешь?

– Бабка говаривала, – сказала она, снова коротко хихикнув. – Говаривала, что дед встретил кого-то, а тот ему сказал, что о нас в газетах писать будут. Эх, хотела бы я посмотреть на себя в газете. Я читать умею. Да-а... А вы скажете, в какой газете и мы купим. Я прочитаю.

– Обязательно скажу. И даже экземпляр отправлю. А сейчас ответь, где мои вещи. Они хоть целы?

– А когда газета выйдет?

– Когда ты отдашь мне вещи. Сначала я пишу, потом уезжаю отсюда, и всё. Выпускают материал. Без меня газета не выйдет. Так ты скажешь, где мои вещи?

– Сначала это дам. Дед исправил.

Мешок взлетел с лавки – и к Давиду подбежала девочка.

– Немного некрасиво, но должно ладиться.

«Дедушка поработал как следует», – подумал Давид, разглядывая очки. На одну дужку как будто надели медную катушку. Но результат всё же был. Дужка примыкала к оправе, хотя очки и потеряли возможность складываться.

– Спасибо.

Давид с наслаждением нацепил очки и тут же заново начал оглядывать избу.

Показалось, что он только сейчас по-настоящему проснулся.

– Сколько, говоришь, я тут пролежал? – как-то слишком бодро спросил он.

Девочка на мгновение задумалась.

– Трое суток, – нерешительно ответила она, опустила взгляд и беззвучно улыбнулась.

– Значит, сегодня я должен уже возвращаться со статьей. Просто отлично, съездил! Просто отлично! А тебе что так смешно!?

Девочка помотала головой. Но улыбаться не перестала.

– А как ты писать собрался, коли на ногах не стоишь?

– На меня собаки напали, пока я к вам шел.

– Нет у нас собак. Волки есть.

– Значит, волки напали, – равнодушно сказал Давид. – Ты мне вещи дашь? Есть тут кто-то взрослый?

Давид заметил, что девочку смутил этот вопрос.

– А зачем тебе взрослые? – сказала она, убрав эту глупую улыбку.

– Чтобы поговорить. Надо как-то выбираться отсюда.

– Ну, дорогу обратно ты найдёшь. У нас тут одна тропа, – девочка встала, глубоко вздохнула и продолжила: – Ладно, там твои вещи, – ткнула она пальцем в ноги Давида. – Я больше не могу, – снова эта глупая улыбка засветилась на лице.

На удивление Давида, девочка начала спешно раздеваться. Одним движением стянула платок. Развязала передник и перекинула через голову. Отбросила. Ухватила рубашу на спине и, работая всем телом, выползала, как змея из старой кожи.

Давид не успел ничего спросить, а девочка уже стояла перед ним в обычных синих джинсах и черной водолазке.

– Жарко во всём этом. Я тут с самого утра наряженной сидела. Но оно того стоило. Ты бы видел себя со стороны! – сказала она совершенно другим голосом. – Не переживай так. Ты у нас только одну ночь валяешься. Вчера тебя подобрали, – она уселась на лавку, потрясла головой, и чёрные волосы каре легли как надо. – А то что тебя бабка с дедом на печь втаскивали, это я не соврала. Это правда.

– То есть...

– Да-да. Ты не оказался в девятнадцатом веке. Я просто хотела тебя немного разыграть. И ведь получилось! – залилась она хохотом. – И да... нет у нас волков. Это ты от собак убежал.

– А где я? – спросил Давид, до конца не определившись, злится он или ему так же весело, как этой...

– В избе дедовой. Я тоже тут сплю, когда приезжаю. Ты, кстати, на моём месте лежишь. Уступил тебе печку, как больному. Одевайся, если сможешь, я пойду, скажу, что ты очнулся.

Девушка – да, сейчас она показала Давиду именно девушкой, даже несмотря на подростковую припухлость лица и тонкий голос, – вышла.

Давид оделся. Спрыгнул с печи.

Он чувствовал легкую усталость и жидкий туман в голове. Но туман куда лучше вчерашних гвоздей.

Спустя пару минут пришла бабка. С её появлением ожила и изба. Ложки, чашки, горшки запрыгали в её руках. Двигалась она быстро. На Давида совершенно не обращала внимания. А всё причитала на деда:

– Опять все переставил по чужим местам... – это она ухват искала. – Куда он дел половник? Старый бес со своими порядками. Хоть не появляйся в его владениях. Сходи, кликни деда, а то опять всё остынет, – обратилась она к внучке.

Спустя ещё пару минут в дверях показался дед. С лёгким прищуром он оглядел избу. Чуть дольше задержал взгляд на Давиде. Несколько раз провёл рукой по бороде и, шаркая сапогами, прошёл к столу.

– Чем богаты! – сказала бабка, усаживая Давида. – Вы уже познакомились? – скосилась она на внучку.

– Ага, – ответила та.

– Молодцы. Шустрая она у нас. Невеста уже, – подмигнула бабка. – А это дед Фёдор Николаевич. Я Надежда Павловна.

Обедали молча всей «семьёй». Давид стеснительно уплетал борщ, удивляясь, с какой скоростью исчезает еда. Даже добавки захотелось. Бабка считала его желания и, не спрашивая, отняла тарелку и налила.

– Ешь. Тебе силы нужны. Ты вон какой бугай.

За дальнейшими разговорами Давид узнал, что в деревне с десяток жилых домов. Остальные брошены.

Дед и бабка живут в соседнем доме, а эту избу дед всегда придерживает для внучки. И содержит её в таком странном виде, словно время здесь замерло.

– Похоже на музей, – сказал Давид.

– Есть такое, – с нескрываемым наслаждением отметил дед. – Я тут всё в порядке держу. А внучка, когда приезжает, то я как натоплю печь. Как раскочегарю. Аж самому неохота отсюда уходить.

– И не уходил бы! – буркнула бабка.

– Сегодня вечером ещё баньку натоплю, – не обращая внимания, продолжал дед: – Чаю с мёдом заварю. Мёд тут у нас свой. Я пасеку держу. Сейчас пчёлы уже спят, а то я б тебе показал. Двадцать три семьи у меня! – с гордостью заключил дед; не выдержал и повторил: – Двадцать три!

Вечером дед, как и обещал, растопил баню. Выгнал из Давида всю хворь. Отпоил чаем с мёдом. А после закрепили самогонкой.

– Мягкая какая, – удивился Давид.

– Тоже мой продукт, – подчеркнул дед. – Но, как бы ни хотелось, а много нельзя. Тебе ещё писать, а мне ещё работать завтра. Свежая голова нужна.

Давида разместили в той же избе.

– Выселил ты меня? – сказала девушка перед сном. – Ладно, спокойной ночи.

– Стой! Как тебя зовут-то? – больше ради приличия спросил Давид.

Девушка опустила взгляд и тихонько произнесла:

– Евфросиния.

– Ага, а меня Евстафий, – улыбнулся Давид.

– Вообще-то это правда, – с неким вызовом сказала Евфросиния. – Меня так в честь прабабки назвали. Но... я сама не очень люблю это имя. Так что прошу называть меня Ксения.

– Ксения так Ксения.

– У тебя у самого имя странное.

– Царское, – уточнил Давид, чувствуя, что разговор злит Фросю.

– Спокойной ночи, ваше величество!

Дверь хлопнула. Чашки звякнули. И только и осталось из звуков, что треск дров да осенний ветер.

На следующий день дед Фёдор устроил экскурсию. Познакомил с соседями. Поводил среди брошенных домов. И к каждому дому у него находилось в памяти не менее десятка историй. Про тех людей, кто здесь жил. Кто чем славился. Кто с чьей женой водился. Кто уехал... кто спился... кто повесился.

– А сейчас-то вы чем живете? – спросил Давид.

– Прошлым, – философски ответил дед.

– Ну, прошлым... а зарабатываете где? Из прошлого деньги не вытащишь. Да и не ходят те купюры лет как пятнадцать.

– Я медком приторговываю. Пенсия есть. Ну и так... огород свой. Животина разная. Корову жалко – пришлось под нож пустить. Хорошая была стерва. По ведру молока за удой давала. Пойдём... дождь начинается.

Последний день выдался не по-осеннему светлым и тёплым. В таком ракурсе пустые дома приобрели странную нотку праздничного настроения. Словно они были счастливы здесь умирать.

Давиду даже представилось, как избы исчезают в вязкой почве. Врастают в землю. Тонут. И только печные трубы выглядывают из-под земли, прощаясь. Мол, всё хорошо. Мы вынуждены пожертвовать собой ради вас.

Давид удивился своему лирическому настроению и побрёл в ставшую родной избу.

Этим же вечером дед Фёдор созрел для того, на что Давид давно облизывался. На столе вместе с кастрюлей наваристого супа, ломтями сала и теплым домашним хлебом высилась вспотевшая бутылка.

– Теперь будем хворь из тебя иным способом выколачивать! – сказал дед и ухватил себя за бороду.

Весь вечер они колотили хворь. Топили её в бутылки. Гонялись за ней по избе. Искали в печи. Лазали в подпол. Улизнула она в погреб и затаилась в бочке. Тогда они окунали туда руку, хватали лохмотья капусты и совали себе в рот.

– Смотри, и у меня есть борода! – воскликнул Давид, приложив капусту к подбородку.

– Вот где борода! Вот! – кричал дед, зажав бороду в кулак, как свекольную ботву. Того и гляди сейчас выдернет челюсть.

После были праздные шатания по деревне. Песни скучающим домам.

Фрося ходила за ними. Звонко посмеивалась. Окликала их из темноты.

– Хворь-то в бане спряталась! – сказала она, и два мутных силуэта, не прервав песни, тут же припали на след хвори.

– Сейчас мы её выкурим! – бормотал дед, загребая дрова.

Баню затопить не удалось. Бабка не позволила.

– Иди спать! – рычала она. – Заиграла в нём молодость.

– Тама хворь! – огрызался дед, тыкая сухим пальцем в баню. – Тама!

– Завтра тебе будет весь день хворь.

Деда Фёдора увели. А какое без деда веселье?

Давид некоторое время пошатался по деревне. Безлюдно. Скучно.

Приметил на крыльце кого-то и, не раздумывая, привалился рядом.

– Ну что, изловили хворь? – спросила Фрося. По голосу было понятно, что она улыбается.

– Улизнула, гадина, – поддержал игривый тон Давид.

– Может быть, её и не было?

– Ну... скажешь тоже, не было. Если бы её не было, не гонялись бы мы за ней с твоим дедом.

А он... он хороший человек, – улыбнулся Давид.

Странно, но ему было приятно ощущать себя в этом месте. Пожалуй, впервые он почувствовал деревенскую романтику. Некую жилку. Некую нотку, которая зовёт всех, кто когда-то покинул деревню. И кто воспевает её в своих рассказах, текстах, песнях.

А может, это самогон кружит голову? Шумит в ушах. Переливается вместе с недавними песнями. Оттого и приятно сидеть тут на крыльце. Рядом с Фросей.

– Кстати, зря ты стесняешься своего имени. Оно очень красивое. Ев-фро-синия, – пропел Давид, размахивая рукой, как дирижер.

– Ага, просто превосходное. Особенно Фрося.

– И Фрося звучит.

– Разве что для поросёнка.

– Мне тоже моё имя не всегда нравилось. Вокруг Димы, Юры, Сани, Максы, и тут вдруг я со своим влезаю. Давид! А потом как-то притёрся. Привык. Может, и ты привыкнешь.

– За двадцать лет не привыкла, и вряд ли получится.

– Двадцать лет?.. – поперхнулся Давид. – Никогда бы не подумал. Пятнадцать максимум.

Фрося только улыбнулась. Изогнула брови, дескать, вот как у нас в деревне молодость сохраняется.

– Ты родилась здесь? – спросил Давид, после короткого молчания.

– И родилась, и жила. И в школе училась. Сначала в нашей, а потом ездить в соседнее село пришлось. Одиннадцатый уже в городе заканчивала. Родители настояли.

– Так ты коренная деревенская зазноба?

– Не разбрасывался бы ты словами, значения которых не знаешь. Тоже мне, рубаха-парень! – ткнула она острым кулаком Давида в плечо. – Лезь на свою печь. Мне тоже спать пора.

Фрося встала. Улыбнулась.

Давид отчаянно не желал расставаться. После беготни за хворью тело просило продолжения. На худой конец, хоть разговора по душам. Вот только пошло дело с Фросей, а она спать захотела. Окажись сейчас перед Давидом корова, он бы и с ней повел длинные беседы за жизнь. Но корову, как известно, пустили под нож.

Минут пять сидел на крыльце. Смотрел на звезды. Яркие они здесь! Нюхал влажную ночь. Дышал паром.

Встал. И сразу ощутил, что ноги не держат. Все-таки бабке надо было раньше гнать их. Ещё когда в подпол полезли.

Давид взобрался на печь. Укутался в ватное одеяло и растворился в тепле.

Утро выдалось муторным. Как бы дед ни нахваливал свой продукт, а голова всё же гудит. Особенно по глазам бьёт. Будто подняли веки и горсть песка под каждое засыпали.

– пей, – сказала Фрося и сунула стакан с мутной жижей.

– Это что?

– Это твоё спасение! пей.

Давид презрительно осмотрел «спасение». Оно напоминало застоялый огуречный рассол. Разве что серой плёнки не хватает.

В несколько глотков опрокинул стакан. Выдохнул и затрясся, как собака.

– Ну и гадость!

– Не хуже вчерашней, – забрала стакан Фрося. – Собирайся, а то на автобус опоздаешь. Бабка настояла, чтоб я тебя провела.

– Я сам дойду! – запротивился Давид.

– А если собаки?

– Собаки... – с опаской вспомнил он. – А ты мне чем поможешь? – спросил он и наткнулся на презрительный взгляд Фроси из-под чёлки.

– Я вообще-то тут всю жизнь прожила.

– Ну, если настаиваешь.

– Бабка настаивает, – строго поправила Фрося.

К середине пути Давид ощутил небывалую легкость.

– Ты что мне дала?

– Снадобье, – улыбнулась Фрося. – Не бойся, я в медицинском учусь. Знаю, что к чему.

– Оно заметно, – сказал повеселевший Давид.

Прощание получилось каким-то скомканным и сухим. Давид поблагодарил Фросю. Хотел обнять, но она отстранила его.

– Не надо этого.

– Понимаю... деревенские нравы.

– Называй это как хочешь.

– Телефон-то хоть дай. Статья выйдет, я сообщу.

– Нет у меня телефона. А если понадобится, дорогу в место ты знаешь.

Давид заметил, что и Фрося ведёт себя сдержанно и стеснительно. Хочет казаться настоящей деревенской барышней. Неприступной. Бойкой. Сильной. А всё же обычная девичья нежность рвётся из неё.

– Ладно, пойду я, – сказала она. – Пока, ваше величество.

– И тебе пока, Ев-фро-синия.

Зазноба

Статья пришлась главному редактору по вкусу. Он даже прилюдно на планерке смаковал некоторые отрывки.

– Обратите внимание, как Давид точно отобразил деревенский быт, – размахивал руками Борис Борисович. – А музей в вымирающей деревне – это вообще находка века. Кто его содержит? Зачем? А самое главное, для кого он, если там пять стариков живут. Вот где ценный материал. Вот где самоотверженность русской деревни. Её нрав и быт.

Позже Давид понял причины столь лестного отзыва.

– Ты отлично справился, – сказал Борис Борисович у себя в кабинете. – Нам надо ещё подобного материала.

Давид испуганно покачал головой.

– С меня хватит такой работёнки, Борис Борисыч. Я лучше на всякие расчленёнки вместе с ментами поеду, чем ещё раз окажусь в деревне.

– Это не моя прихоть. Приказ поступил оттуда, – и Борис Борисович украдкой посмотрел наверх, словно сам господь бог руководит этим проектом.

– Пусть вон Женька поедет. Или Серёга. Или ещё лучше... Юлия! Она умеет чувствовать село. И ей интересно будет. Она сама с деревни.

– А ты чего так противишься-то?

– Не моё это, – угрюмо ответил Давид. – Туалет на улице. Грязь повсюду. Навозом прёт, как в коровнике. Нет, не моё. Я даже уволиться готов.

– Ну, чего ты сразу с козырей ходишь. Подумаем. Решим.

Давид отстоял право работать в городе. Чем был вполне доволен. После того как он поделился с коллегами деревенскими похождениями, к нему тут же прилипло временное прозвище – Собачих.

– Что за Собачих? – недоумевал он.

– Глянь «Бумер» и всё поймешь, – улыбнулся Серёга и похлопал по плечу.

А кто-то сзади поддержал и на всю редакцию заорал:

– Димоон! Димоон!

После фильма Давиду стало понятно, почему на всех мобильниках стоит эта странная пищая мелодия. Понял, удивился, но себе всё же установил.

И в тот же день потерял телефон. Жалеть долго не пришлось. Благо подоспел Новый год, и родители преподнесли Давиду новый. Давид же ограничился устными поздравлениями.

Сразу после нового года друзья решили отпраздновать свадьбу. Погуляли хорошо. Разве что кто в здравом уме празднует свадьбы зимой? Если только по залёту. Но там ничего такого не было. Вроде бы...

Затем ещё одна свадьба. И ещё.

И так восемь свадеб за два года.

На пяти из них Давид поймал подвязку невесты. Точнее, как поймал? Она сама летела в руки.

Давид участвовал в этом конкурсе больше для массовки. Стоял в задних рядах. Скучал.

И каким-то магическим образом эти проклятые подвязки перелетали забор рук и падали точно Давиду в открытые ладони. А иногда казалось, что ими кто-то управляет. Ну не может же такое быть, честно слово. Эта подвязка петляла, как мяч старика Хоттабыча.

Давид не верил в глупые приметы. Больше того, он был рад развеять этот миф. Но, как бы там ни было, верные товарищи по вечеринкам исчезали из его жизни. Вот уже и в клуб сходить не с кем.

Если раньше, после очередной тусовки, он мог легко блуждать по своему району в приподнятом настроении и всегда знал, что может зайти по меньшей мере к четырём или пяти товарищам. Неважно, в какое время и в каком состоянии. Сейчас он с ужасом понимал, что таких людей не осталось. С этим осознанием к нему пришёл не страх. Нет! Скорее, лёгкое непонимание. Жизнь менялась слишком стремительно.

А дальше что?

«Они все семейные. По домам сидят. А я что... – размышлял Давид. – Мне что дальше делать? Куда идти? А вот сюда и зайду», – последовал он своей мысли и нырнул в магазин.

И снова была осень. Только на этот раз поздняя. Снег уже успел раз пятнадцать выпасть и раз четырнадцать растаять. По обочинам бордюров из-под грязи иногда проглядывает белый налёт зимы.

Оказалось, что он неверно рассчитал свои возможности, и всё спиртное тем же вечером закончилось. Вопрос плёвый. На соседней улице круглосуточный магазин. Там всегда торгуют, несмотря на запрет.

Давид подивился количеству людей на улице в такой час. Время было около полуночи.

Перевернутый город отражался в грязных лужах обилием фонарей и зажжённых окон. Свет прилипал к прохожим.

Давид чувствовал шум в голове, но в то же время уверял себя, что всё под контролем. Его не штормит... ладно, пошатывает слегка. Но в пределах разумного. Идти можно.

И он шёл.

Руки в карманах. На голове капюшон. Жаль плеер забыл. Под музыку оно всегда веселее.

Давид подмигнул знакомой продавщице. Хотелось сказать: «Мне как обычно». Но он и сам не определился с выбором.

Взял то, на что упал взгляд. И с этим чем-то в черном пакете пошёл обратно.

«Теперь-то руки в карманы не спрячешь», – с сожалением подумал Давид, перебрасывая пакет из одной руки в другую. Холодно, блин. Ещё и ветер этот...

Он перепрыгнул лужу и угодил ногой в тот самый, притаившийся снег. Подошва скользнула. Давид успел взмахнуть руками. И последнее, что ему довелось увидеть, это черный пакет, взлетающий в мутное небо. А следом и свои ноги, летящие туда же.

Очнулся он спустя час или даже два.

Несколько секунд он тяжело ворочал воспаленными глазами, совершенно не понимая, что происходит. Мутное небо с блёклыми пятнами огней. Странная тишина. И ужасный холод. Да, жуткий холод.

Давида знобило. Трясло, как двигатель старого «москвича».

Он приподнялся. Вся спина мокрая. Ну, конечно, валялся тут в луже. И голова... боль пульсацией разрезала мозг на две равные половинки.

Увидел пакет. Дотянулся.

– Наивный, – зло прошептал Давид.

Три бутылки всмятку. А ещё двух нет. Дернули уже.

Возвращаясь, Давид проклинал это место. Сколько здесь прошло людей? Не меньше сотни. И хоть бы одна гадина остановилась.

Выпил я слегка, и что с того? С кем не бывает. Вот, поскользнулся, упал, очнулся – гипс.

Из-за угла показалась собачья тень.

– Не до тебя сейчас, – оскалился Давид.

Только утром, окончательно отогревшись под двумя одеялами, он ощутил боль в плече. Да не просто боль. Туда словно спицу вгоняли.

Видимо, вчера холод сделал ему амнезию. Или эту работу выполнило спиртное?

Неважно. Важно лишь то, что он рукой двинуть не может.

Пришлось идти в поликлинику.

Поликлиника показалась Давиду местом страшным. Увечные и жалкие люди, сгорбившись, сидели вдоль стен. Они кашляли. Чихали. Двигались сонно, будто под гипнозом. Но стоило Давиду сделать что-то не так, то все эти полуживые существа мгновенно набрасывались с озверением и проворностью тигра.

– В очередь ставай?! Куда прешь? Сначала в регистратуру, а потом в кабинет. Мне тоже надо только спросить, но я тут уже часа три сижу.

И всё в таком духе.

Правда, надо отметить, что во всей этой толпе обезумевших иногда звучал здравый смысл одного-двух голосов.

– У него срочный! Разве не видите. Ему в травмпункт надо.

Рентген. Трещина плечевой кости. Гипс. И бандаж, чтоб рука лишний раз не ёрзала.

Старенькому доктору помогала медсестра в маске. Было заметно, как трепетно она относится к своей работе. С каким-то пафосом в движениях. С сомнениями. Правильно ли сделала? То ли дала?

Когда рука стала каменной и плотно прилегла к телу, медсестра склонилась к волосатому уху доктора и что-то шепнула. Старичок выслушал, посмотрел на Давида, ухмыльнулся и вышел.

– Доколе это будет продолжаться? – сказала медсестра.

– Что вы имеете в виду? – мгновенно спросил Давид и секунду спустя начал подозревать что-то неладное.

– Доколе хворь твою лечить буду? – она спустила маску на подбородок.

– Ты?! – воскликнул Давид и слегка подпрыгнул на стуле.

Боль тут же усадила его на место.

– Как ты здесь?

– Тебя опять хворь била?

– Ну, всё, хватит тут архаику включать. В этот раз у тебя не получится меня развести.

«А Фрося-то повзрослела», – отметил про себя Давид. Как и ожидалось. Подростковая припухлость лица исчезла. Взгляд стал разумнее, а фигура... фигура явно стала лучше. Неизменными остались лишь тонкий, почти детский голос и чёрные волосы каре.

Они разговаривали как два старых друга, потерявшие связь в глубоком детстве. Почему-то Давиду было до невозможности приятно встретить Фросю. Говорить с ней. Вспоминать деревню. Кстати, сейчас, когда память подтёрла лишнее, деревня не казалась ему отвратительным местом.

– Как там твои дед с бабкой?

– Живут, – отвечала Фрося.

У неё зазвонил телефон. Она подняла трубку, быстро поговорила.

– Ну, теперь-то ты дашь мне свой номер?

– Сразу после экземпляра газеты, – не мешкая ответила Фрося.

– Ах, экземпляр, – задумчиво сказал Давид. – Я же не отправил, да?

Фрося покачала головой.

– Надеюсь, в редакции сохранился. Я поищу. Обещаю.

– Обещаешь? – подозрительно спросила Фрося.

– Да!

– Ладно, тогда записывай.

Давид судорожно дёрнулся в карман, и снова боль дала понять, чтобы он не делал резких движений.

– Сейчас... сейчас... – ковырялся он левой рукой в правом кармане.

Фрося смотрела на его неуклюжие порывы и смеялась.

Возвращаясь из поликлиники, Давид боготворил это место. Он и сам не знал, отчего так весело на душе. Вчера он едва не околел. Едва не расшиб себе голову. Руку сломал. Да и весь предыдущий год провёл в какой-то вязкой тоске. А тут, вдруг, слякоть стала не такой противной. И квартирка не такой маленькой.

Отношения с Евфросинией начали выстраиваться сами по себе. Плавно и едва заметно.

Вот они вместе сходили в кафе. Вот они шлют друг другу смс. А чтобы лечь спать и не пожелать хороших снов, просто невозможно.

А вот уже Давид невольно задумывается о том, как бы подступиться к ней. Времени-то вон сколько прошло... на дворе уже весна горит. А Фрося всё ведет себя как святая.

Решил тогда для себя Давид, что пришло время возродить Голиафа. И в этот раз отдал ему самую сложную роль. Роль чести Евфросинии.

Один раз Давид всеми уговорами, предложениями и даже мольбой оставил Фросю ночевать.

– Ну, куда тебе идти? И зачем? Тут ты переночуешь и пойдёшь к своим увечным людям. Поликлиника в десяти минутах. А с общаги тебе сколько ехать?

– Час, – отвечала Фрося, собираясь.

– Хоть выспишься.

– А спать мне где?

– На кровати! Я на пол лягу. Мне после печи не привыкать.

Фрося замедлила движения. Уже не так быстро и не так плотно обматывалась шарфом. Давид рассчитал, что стоит ещё немного нажать, и она сдастся. Расчёты оказались верны.

«Можно сказать, что великан повержен. Лежит с размозжённой головой. И совсем скоро меч закончит своё дело», – с ухмылкой размышлял Давид.

Он приглушил свет. Включил музыку. Налил в бокалы вина. Зажёл пыльные свечи и включил «Титаник».

«Ну, не каменное же у неё сердце», – подумал он под романтическое завывание Селин Дион.

«Нет, у неё не каменное сердце, – заключил Давид, когда фильм закончился. – У неё чертова ледяная глыба меж ребер».

Он обнимал Фросю. Он целовал Фросю. Он лежал с Фросей. А спать всё равно отправился на пол.

К сожалению, когда он говорил про кровать и пол, совершенно не рассчитывал, что ему действительно предстоит спать на полу. Однако – пришлось. В ворохе каких-то пледов и зимних вещей.

Паршивая ночь.

Отвратительная ночь.

Но хуже того, что Давид, дабы не потерять свою честь, растрепал друзьям, что Фрося-то... свою честь уже потеряла.

– И что ты обижаешься? – спросила однажды Фрося. – Сам когда-то назвал меня деревенской зазнобой. Такая я и есть.

– Странная ты. На дворе двадцать первый век.

– А у нас в деревне время медленно течёт.

И вновь началось великое противостояние Давида и Голиафа.

В какой-то момент Давид решил, что такого Голиафа ему не одолеть. Точнее одолеть, но только через смирение.

Смирился...

Дождлся хорошей майской погоды. Вывез Фросю из Рязани в Москву и там, в столице, решил сделать предложение.

В его воображении всё было просчитано до мелочей.

Тёплый, почти летний вечер. Ночные огни города. Люди...

По сути, так оно и вышло, если бы не одно «но». И этим «но» оказалась авария в Чагино.

Половина города погрузилась во тьму. И увидели они Москву такой, какой её сами москвичи ни разу не наблюдали. Тёмной. Мрачной. И даже немного страшной.

Но отступать было некуда.

Посреди этой ночи Давид встал на колено и произнёс:

– Ты выйдешь за меня, зазноба?

Фрося согласилась.

Она тогда произнесла длинную речь. Как по бумажке читала. Что замужество для неё не просто штамп в паспорте. Для неё это выбор, с которым она решает продолжить свою жизнь. Выбор, ради которого она готова пожертвовать всем, что у неё есть. И с которым они будут идти вместе. Всегда.

В ответ Давид сказал что-то подобное. Но не так красиво и пафосно.

Свадьбу отыграли весело. Как нормальные люди – в начале осени.

После свадьбы Давид радовался. И непонятно, чему больше. То ли тому, что Фрося теперь его жена. То ли тому, что его личный враг Голиаф наконец-то вновь повержен, то ли что не придётся ловить эти проклятые подвязки.

Экземпляр

Мать Давида, Жанна Анатольевна, невзлюбила Фросю ещё на стадии знакомства. Она всячески отговаривала сына поступать так скоро и необдуманно.

– Это что такое? – сказала она Давиду сразу после знакомства.

– Это Фрося, – глупо улыбаясь, отвечал тот.

– Откуда она? Почему она такая? И почему вообще она? Вокруг тебя мало приличных девушек крутятся? Если так, то я тебе подберу.

– Не всё так плохо.

Спустя год совместной жизни Давид понял, что в какой-то мере ошибался. И в какой-то мере мать была права. Иллюзии счастливой супружеской жизни таяли с каждым новым днём.

– Они сторонятся меня, – жаловалась Фрося.

– Родители?

– Твои родители меня вообще не воспринимают. Я про твоих друзей. Когда мы с девочками остаёмся одни, то... меня словно выгалкивают из круга.

Позже Давид заметил несколько причин изгнания.

Сидели они большой компанией в ресторане и, когда официанты поспешно меняли блюда, Фрося возьми да смети со стола крошки себе в руку.

Да и ела Фрося как-то неправильно, что ли...

И как я раньше не замечал в ней такой некультурности. Невежественности. Такой простоты.

Давид пытался объяснить Фросе некоторые нюансы городской и светской жизни.

Фрося выслушивала упрёки молча и слегка обиженно.

– Что же мне, в грязи есть? – непонимающе спрашивала она.

– Нет! Ты можешь подозвать официантов, и они уберут.

– Я сама могу убрать.

– Фрося!

– Я поняла, – быстро соглашалась она, видя, как воспламеняется Давид.

Следующим открытием для Давида стал стиль Фроси... точнее, полное его отсутствие. Если жёны его друзей одевались так, что, взглянув однажды, тебе безумно их хотелось, то Фрося одевалась так, что взглянув на неё, не сразу становилось понятно, кто перед тобой стоит – девушка, женоподобный парень или вовсе школьница.

– Тебе бы образование высшее получить, а то колледж совсем несерьёзно, – как бы невзначай говорил Давид. – Работаешь со своими увечными.

– Мне нравится.

– В офис какой-то устроиться, – продолжал он, не слушая жену, – общаться с нормальными людьми начнёшь. А то весь твой круг – противные бабки и всякие странные личности. Нормальные люди в поликлинику не ходят. Они в частных клиниках лечатся.

Давид заметил, что Фрося что-то хотела ответить, но заставила себя замолчать.

– Говори, чего хотела.

– Ничего.

Давид начал копить эти придирки. Некоторые замечал сам. На некоторые указывала мать, и при этом не забывала напомнить:

– Эх, Давидушка, против воли родителей пошёл. Как оставим тебя без наследства, будешь знать, – шутила Жанна Анатольевна. Давид же за этой шуткой слышал правду.

Он и сам начал замечать, что Фрося раздражает его всё больше и больше.

Явный и самый сильный признак проявился, когда после рабочего дня Давид не хотел возвращаться домой. Его угнетала обстановка. Давили стены. Фрося своим молчаливым взглядом съедала.

Единственно, что нравилось Давиду, это покорность Фроси и её умение управляться с домашними делами. В этом деле, конечно же, не было никаких пререканий.

«Хотя... – думал Давид, – она и раздражает тем, что никак не перечит. Крикнула бы разочек, что ли. Или на дыбы встала. А то выслушает всё с этим виноватым видом и соглашается».

И сдался ему этот Голиаф. Он и на Фросю начал поглядывать как на настоящего Голиафа. Пусть она и хрупкая девушка, но внутренне она явно повыше да побольше того филистимлянина.

Давид с радостью задерживался на работе. С радостью отзывался на любые предложения и попойки. Несколько раз звал Фросю.

– Не хочу я к ним. Опять будут меня игнорировать и сторониться. Я лучше дома посижу.

Так она и сидела дома, пока Давид ходил по гостям. Возвращался он утром, а порой и вовсе не возвращался по несколько дней. Дальше запои стали чаще и дольше. Один раз за полгода исчезнуть на неделю-другую стало нормой для их семьи. Но не нормой для работы Давида. Карьера журналиста не пошла. Благо – отец пришёл на выручку. Привёл в свой бизнес. Дал руководящую должность. И на многое закрывал глаза.

Давид же, чувствуя безнаказанность, продолжал кататься в недельные «командировки».

Возвращался он домой всегда грустный и раздражённый. Брал с собой пол-литра. Ставил у кровати. Принимал душ. Выпивал почти залпом и ложился так, словно умирать собирался. Взгляд в потолок. Руки на груди крестиком.

И всегда после сна, с тяжёлой головой, Давид шарил рукой по полу, находил заветный стакан и жадно лакал это странное мутное варево с не менее странным вкусом рассола, чеснока и корицы.

Глотал через силу, потому как знал, что снадобье и похмелье не уживаются в одном теле.

Так и спасала его Фрося почти семь лет.

– Разводись, – уже не просто говорила, а раздраженно настаивала Жанна Анатольевна. – Разводись, Давидушка. Пропадёшь ты с ней. Свою жизнь не жалко, так нас пожалей. Она ведь и терпит тебя только потому, что за душой ничего нет. Разводись, пока детей не нажили. А ведь пора бы уже. Чего ты привязался к ней? Я же вижу, что это не жизнь. Ты ещё молод. Найди себе нормальную жену. После нас тебе достанется отцовский бизнес. Не хочется, чтобы ты его вот так спустил... как спускаешь свою жизнь.

Давид молча выслушивал и виновато кивал.

«С кем поведёшься, от того и наберёшься», – подметил он.

Да он и сам понимал, что жизнь катится в пропасть. И живёт он от «командировки» до «командировки». Оставшееся время – существует.

– Может, мы того, разведёмся? – буднично и просто спросил Давид.

Фрося испуганно посмотрела и снова затянула свою мантру верности.

– Если тебе тяжело, это не значит, что нам надо расставаться. Мы поклялись друг другу. Мы должны держаться вместе. Как сказано: и в радости, и в горе.

Давид только рукой махнул.

– Опять эта клятва, – разгорался он. – Для тебя она что-то значит. Для меня – нет. Сама же видишь, что это не жизнь. Мы как будто отдельно живём уже лет... сколько пять, десять?

– Достаточно, – коротко ответила Фрося.

– Вот тебе и ответ, – сказал Давид, чувствуя напряжение в груди. Хотел было остановиться, но не сдержался: – И правда, чего ты привязалась ко мне? Я тебе сотню упреков могу в день выдать, а ты всё молча слушаешь. Терпишь. Разве у тебя нет какого-то собственного достоинства, что ли? Я о тебя почти ноги вытираю, – вконец разошёлся Давид. – Разве что не бью. Или надо начать бить? Как у вас там заведено. А хотя... начну бить, ты будешь говорить, что бьёт – значит любит. Какая-то ты... какая-то... – Давид долго подбирал слово, наматывая рукой круги: – ненастоящая, неживая. Я тебя душить буду, ты даже пальцем не пошевелишь, чтоб спастись. Ну, чего молчишь? Опять нос повесила. С тобой даже поговорить нормально нельзя, – пошёл Давид на новый виток эмоций: – Я из-за тебя всё потерял! Всё! Друзья, родные. Даже родители против меня настроены. Да ответь ты хоть что-нибудь! – умоляюще, с надрывом завопил он.

Фрося помолчала. Выждала, когда пламя спадёт.

– Мы всё стерпим, Давид. Вместе.

– Ничего мы не стерпим! Стерпится – слюбится, так, что ли? Сколько лет уже терпится, да всё никак не полюбится. Достала! – Давид размахнулся и ударил.

В стену.

И эта ссора стерпелась.

Развода всё не было. Фрося отчаянно сопротивлялась. Цеплялась за любую возможность оттянуть время. Увиливать от разговора. Даже на прямые вопросы отвечала уклончиво.

Последней каплей для Давида стала смерть отца.

Теперь придётся в спешном порядке брать управление в свои руки. По крайней мере, так думал Давид.

– Не дам, – сказала Жанна Анатольевна. – Сама справлюсь. Облапошит тебя твоя... Вот увидишь, только возьмёшь всё в руки, она сразу на развод подаст. Сама! И половина состояния твоя. А это вся жизнь твоего отца.

Пришлось Давиду ставить вопрос ребром.

– Хочешь, оставайся в квартире. Даже себе её оставляй. Не знаю... делай, что хочешь. Взрослая уже.

– Справлюсь, – как всегда спокойно и покорно отвечала Фрося.

Смерть отца отрезвила Давида. Он завязал с длительными «командировками». Но «отгулами» пользоваться продолжил.

Жанна Анатольевна, сразу после развода, назначила его генеральным директором. В собственность передавать не торопилась.

Давид быстро влился в ведение бизнеса. Всё-таки генетически передались не только слабость к алкоголю, но и умение командовать людьми. Получалось неплохо. По крайней мере, прибыль росла. Бизнес ширился.

Жанна Анатольевна, глядя на сына, забывала о смерти супруга. А когда Давид познакомил её со своей новой возлюбленной, она едва не поставила заветную подпись на дарственной.

За пару лет жизнь перестала изгибаться спиралью и плавно вышла на прямую. Всё было хорошо. В делах. В любви. В общем...

Но по утрам, после редких и крайне насыщенных банкетов, Давид по старинке шарил рукой по полу, в надежде найти снадобье. А там вместо спасительного отвара стояла обычная минералка. Чаще всего вовсе ничего не было. Даже стакана сырой воды из-под крана.

И в тяжелые моменты работы. Когда нагрянули санкции. Когда доллар начал дикий танец на углях, подсказывая всё выше и выше, Давиду не хватало этого стеснительного, робкого, но всё-таки спасительного: «Мы справимся. Вместе».

Он начал замечать, что всё чаще думает о Фросе. Как она там? Одна или уже с кем-то? Да и где, собственно, она? Квартиру не приняла. Ну, это было очевидно. Позвонить, что ли? Хоть так, по-дружески. Поинтересоваться.

Позвонил.

Абонент не абонент.

Прошерстил соцсети. Пусто. Даже в поликлинику пришёл. Поцапался с несколькими увечными, но добился встречи с заведующей.

Уволилась.

А где теперь?

Неизвестно.

«Вот и канул человек в пропасть. Да какой человек!» – с восхищением думал Давид, стыдясь самого себя.

Долго он носил в себе эту мысль. Грел её где-то внутри. Вынашивал. И всё никак не решался.

В один из вечеров, когда он делал очередную ревизию вещей на выброс, наткнулся на очки. Те самые, с перемотанной дужкой. Осмотрел их. Покрутил.

«На мою ряху вряд ли найдут, – подумал он. – Да и линзы, должно быть, уже не те».

Однако надел. И увидел. Показалось, что он только сейчас по-настоящему проснулся.

Собрался, прыгнул в машину и поехал по давно забытой дороге. А после шёл по той самой тропе. Правда, в этот раз никаких гвоздей в голове не было. Они сместились ниже – в грудь. Покалывали и скребли.

И снова осень. Дождь сыплет. Всё почти как в тот раз. Разве что ночь на дворе. А может, оно и к лучшему.

«Определенно, к лучшему!» – воскликнул Давид, заметив одно горящее окно.

Долго Давид не признавался матери, что они снова вместе.

– Двадцать первый век на дворе, – шутила Фрося. – А ты материнского благословления ждешь.

– В её руках всё, что у нас есть, – оправдывался Давид. – И всё, что мы сможем заработать. Я там никто.

– Ты там всё, – спокойно говорила Фрося.

Признаться пришлось. Реакция Жанны Анатольевны не стала сюрпризом. Разводись, иначе уволю.

А тут и ковидные времена подоспели.

«Лучшего места для отсиживания не найти», – решил для себя Давид. Там тебе и природа. Воздух чистый, пусть и с некоторыми нотками деревенской жизни. Но главное – зараза туда точно не доберётся.

Собрался, прихватил свёрток и поехал.

– Ты тут сидишь в своей деревне, а мир почти умер, – шутливо сказал Давид. – Плескани мне дедовой, что ли. Осталась еще?

Фрося вопросительно посмотрела.

– Тогда давай чая, – легко считал он выражение. – Только чтоб с мёдом.

Он присел к печи. Тепло. Даже чуть жарко. «От воспоминаний, наверное, разморило», – подумал Давид. Сколько в жизни происходило всякого абсурда, но такого, как здесь, точно не было. Может быть, потому так приятно находиться в этом месте?

– А как же твоё всё? – спросила Фрося, ставя мёд. – Не боишься расстаться?

– С тем – нет! – резко ответил Давид. – С этим – да... – он обнял тонкое тело Фроси: – Она попросит моего возвращения, вот увидишь.

– Как знаешь.

– Я тут это... – скомкано начал Давид и развернул газету. – Экземпляр привёз. Давай прочитаем. Вместе.

Данил ФАЙЗОВ

что я слышу
это бардовская песня
каминаут на гиговой флэшке
из окна простой пятиэтажки
вырастает соловьиной трелью
растворённый в воздухе июля
спирт разбавленный в армейской
мятой фляжке
мы же три аккорда помянули

тут же вот её оплакали зарыли
стылым старым спальником прикрыли
мы её забыли
не забыли

вот она с открытыми глазами
залезает в душу есть душа ли
или это пьяными слезами
то что нам по памяти сказали

вот она с распахнутою грудью
вырывает листик из тетради
адресок черкает шариковой ручкой
щурится на память с фотографий

это значит только показалось
надо ж померещилось такое
как же так со старыми друзьями
вот бессмертие с протянутой рукою

костерок трещит комар щебечет
правду говорят что время лечит
почему-то верилось в другое

Данил Файзов родился в 1978 году в Игарке (Красноярский край). Жил в Вологде, в 1998 году переехал в Москву. Окончил Литературный институт им. Горького. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Интерпоэзия», «Новый Берег», «Новый мир», «ШО» и др. Автор нескольких поэтических книг. Предыдущая публикация в «Волге» – 2020, № 9-10.

завиральная идея вновь отвела глаза
шутка ли голос нервный шарахал слова об стенку
можно нельзя ранен убит позывной ферзя
злостью и нищетой разделяет поля на клетки

путаясь в показаниях не отыскать свой код
черви сомнения стали ценнее яблок
тянутся ручки пешки но сделать ход
не получается выхода нет произнести хотя бы

мир немного больше мухомора
самодержца пламенной грибницы
верного сына большого леса
главного владельца и прочая
он не презирает разговора
он запоминает наши лица
он пересчитает наших бесов
перелётных очных и заочных

как в него смотреть и не откинуть
не порезаться на ножик не наткнуться
не сойти с ума не заблудиться
не лишиться зрения и слуха
я ведь и не стоик и не киник
у меня ведь есть одна минута
чтобы подлететь довольно близко
к паутине этой перламутровой

пар

Гене Каневскому

совершенно не важно как опреснитель слезы превращает в пресную
одесную вместо скипетра старенькая моторола
именно в этом укромном месте
суффиксы превращаются в альвеолы

выдыхай и это возможно приведёт в движение
части речи
заточенные на уют
на запасном пути наше с тобой поражение
наше с тобой прощание девушки слезы льют

там наверху товарищи нам пора
к ним растревоженным музыкой австро-венгра
под троекратное ставшее облаком на всех парах
на тебя летит брошенная поклонницей бутоньерка

лучше могло быть выбери мы другой
верный источник энергии времени ресторанов
но опреснитель воздуха будто проёбан мной
так что плесни уголька в стаканы

верно ли то что бабочку уезжая
ты не забыл отпарить кантор наш громогласный
войковский капитан управляя своим дирижаблем
не забывай дышать не забывай про нас

полкан? мухтар? алый?

на родину героя прилетел
евоинный бюст зелёный
по радио сказали боже мой
и вот сидит себе под собственной кроной
такой серьёзный и такой смешной

когда бы он себя не угадал
в щенке дурашливом и лопоухом
то кто б его героем бы считал
а вот теперь есть уважение
и пухом
играет
как в щеночестве играл

в бадминтон играли криворучкин и сопелко
в сторону летел воланчик легкокрылый
говорила первому девица
он как дух где хочет там летает
у него ведь вон какие перья
у него ведь вон какая сила
он ведь сделан где-то за границей
где-то во вьетнаме и Китае

здесь на отдыхе мы выдохнемся скоро
раскрасневшиеся на траву присядем
повинуясь силе притяженья
отгоняя звонких насекомых
аплодируя их нудным разговорам

ничего он ей не отвечает
смотрит как воланчик исчезает
следуя за нравственным законом
где-то далеко за горизонтом

я буду ждать тебя у первого вагона
в сиреновом пальто и золотом шарфе
поскольку не судьба на краешек погона
оставить золотой как премию в кафе

ты знаешь что цвета здесь ничего не значат
не золотым шитьём так катаньем решать
да станция не та и многие из граждан
здесь никогда живьём не встретят корешка

я буду ждать тебя на выходе к солянке
с букетом новостей и золотых шаров
и дальше на арбат под музыку шарманки
в попытках отыскать приказ на торжество

товарищ капитан другое расписание
и почтальон с ума разыскивая счёт
нас в этот ресторан не знали и не звали
сурок всегда со мной метро ещё течёт

красиво жить никто не запрещал
особенно в плаще и полумаске
в антракте я растерянно сжимал
в кармане портмоне и паспорт

вдруг вор вдруг хулиган вдруг идиот
захочет обездолить театрала
последнее возьмёт и заберёт
пока зевая выхожу из зала

но морока упала пелена
но занавес упал и оказалось
под вешалкой лежала жизнь одна
а смерть в бинокль посмотрела на меня
и мне внезапно не до денег стало

вчера и сегодня я как-то не жив
таким же я буду во вторник
но всё как обычно питания режим
поход от стола до уборной

и завтра и после и дело не в том
что кто-то меня угандошил
а в том что не-жизнь казалась мне сном
о том что я в целом хороший

но стоило утром открыть и узнать
что сны не всегда интересны
и в общем и в целом не хватит меня
чтоб до воскресенья воскреснуть

совесть подсознательная штука
вроде бы всё правильно сказали
вроде не сияли наготой
можно ведь не издавая лишних звуков
и ни с кем не встретившись глазами
выбирать с какой ты стороны

зеркала а может водной глади
рыба или птица протяни
только руку чувствуешь тепло
или холод или всё равно
всё спокойно в вавилоне и багдаде
всё спокойно вот и ты сморгни

*По прямой извилистой дороге ехала машина без колёс
На поминки ехали уроды чистым полем, лесом под откос.
За рулём сидел один безрукий, а безногий жал на тормоза,
Им слепой указывал дорогу, а немой бибибал без конца.*

Фольклор

в целом достаточно
на этом можно было бы остановиться
если бы не
попытка

самостоятельно
осознанно
стать грегором замзой

потому что прыгать туда-сюда
из джекила в хайда
из хайда в джекила
как это теперь принято говорить
бесперспективняк

вечная безуспешная попытка
правильной трансформации

потому что никто
слышишь
никто
не хочет быть просто клерком
или рабочим на стройке
или да мало ли простых нужных профессий

все преисполнены души
и знают о себе самое важное
красота спасёт мир

именно наша красота
не чья-то чужая
наши рисунки коллажи
прибаутки стишки
и горе тому
кто этого не понимает

потому что мы знаем
что страшное и уродливое
получится только из прекрасного
через страдание и превозмогание
так что для начала надо стать
именно этим прекрасным
научить этому фокусу детей и внуков
и в один замечательный чудесный день

всё равно не стать чудовищем
просто старым человеком
переполненным бесконечным уважением
со стороны родных и сослуживцев
за редкое чувство юмора
умение поддерживать беседу
и не забывать поздравить со всеми праздниками
других героев этой
захватывающей повести

нравственность
как я её понимаю

или
какой она мне нравится

или сам себе
чёрный пояс
по нравственности

не прочитать
мейд ин неразборчиво
где сделано
вечно ломается

выбивается
изо всех сил

как хорошо нынче слышится
и читается

как хорошо
что кое-кто
не дожил

морской царь

забираю под воду речной вокзал
муравьиный дом назывную речь
две звезды лейтенанта любой из родин
всю вторичку до трёшек включительно
чтобы лечь
не с простой матрёшкой
с которой тогда не встал

с царской дочерью которой я соприроден

не искать пришёл привычный журчанью вод
а забрать своё золочёный слащавый сумрак
вязь словесную здесь ей давно не место
за неё даю изумруды янтарь малахит угрюмый
открывая беззвучно счастливый рот
будет жить в достатке моя невеста

стой на месте язуа сетунь вставай с колен
брызги моря сахарной ваты слаще
в новых званиях добры молодцы жаждут славы
я ещё возьму одно из твоих колец
станут семь твоих близнецов на страже
никогда тебя не оставят
и я не оставляю

надежды <...> оркестрик

нельзя не думать что хорошее случится
как только всё плохое выйдет вон

нет
не получится
опять не получилось

плохое выйдет

вот такой блэкаут

не думать

тот же случай

только всё

настоянный на пессимизме трезвый взгляд
настойчиво и беспощадно отсекает
надежды глупый морок
ставим точку

нет

нельзя не
думать что хорошее случится
пусть через силу
но хотя бы так
хотя бы так

Игорь МАСЛЕННИКОВ

ПЕРЕСЕЧКА

Рассказ

В забегаловке на выезде из черногорской деревни за одним столом сидела компания с двумя детьми, а за другим – старик в фирменном комбинезоне заправочной станции. Он отработал ночную смену и возвращался домой. Забегаловка только что открылась. Внутри не сидело никого, кроме компании, старика в комбинезоне и хозяина.

Старик был совершенно седой и с усами. Закинув ногу на ногу, он курил сигарету. Он был одним из тех людей, кому идет курить. Такие люди, как кажется, родились с сигаретой, прокурили всю жизнь, и табачный дым никогда не вредил им. Пока компания из четырех взрослых и двух детей ждала бутерброды и кофе, старик сделал три или четыре затяжки, не больше. Он потряхивал сигарету над пепельницей и смотрел то на кухню, то на компанию, то на проезжую часть.

Вы русские, спросил старик у компании. Его голос оказался глубоким и сильным, совсем не стариковским. Женщина посмеялась и сказала, что кто-то русский, а кто-то украинец. Дóбро, так и надо, сказал старик улыбаясь. Война отдельно, а простые люди отдельно. Мою семью прогнали из Боснии, когда там началась война, сказал старик. Потом мы пережили еще одну войну. Мы с женой давно живем здесь. Дети разъехались кто куда. Раньше это была глушь, а теперь здесь много туристов. Так и надо, политики занимаются своим делом, простые люди – своим. А война – ничего веселого, так старик закончил. Он говорил наполовину по-сербски, наполовину по-русски, просто и понятно. Он не был городским сумасшедшим, не стал надоедать компании, а просто затушил сигарету, сказал им «до виденья» и ушел.

Компания ехала делать пересечку – спустя месяц пересечь границу ближайшей страны, чтобы не нарушать миграционные правила, и сразу вернуться обратно. Всего в машине ехало шесть человек.

За рулем сидел мужчина из Одессы, сзади – его вторая жена и их приемная дочь. Мужчина еще до войны заключил в Одессе сделку, которую не смог закончить и по которой остался должен денег. Семья сбежала сначала в Испанию, потом сюда. Теперь они снимали этаж в доме у черногорских пенсионеров, мужчина за деньги возил людей через границу. В этот раз всей семье, кроме маленького ребенка, тоже надо было сделать пересечку. Ребенка они до вечера оставили на хозяев дома.

На заднем сиденье ехали молодая разведенная женщина из Краснодара с сыном. Она много лет жила за границей, в основном в южных странах. Она любила, когда в разговорах ее называют цифровой кочевницей, но после развода она толком ни с кем не встречалась и иногда думала, что так и будет до старости мотаться по белому свету, по красивым приморским городам.

Игорь Масленников родился и живет в Москве. Закончил Институт международных отношений. Рассказы публиковались в журналах «Волга», «Литеггатура», «Юность», «Дактиль» и др. Работа над этим рассказом велась в художественной резиденции Костомукши.

На переднем пассажирском сиденье ехал журналист из Петербурга. Он перед самой войной приехал вступить во владение квартирой, которая принадлежала его умершему отцу. Отец умер перед самой эпидемией ковида, и журналист только теперь смог заняться квартирой.

Компания доела свои бутерброды и расплатилась. Машина поехала на выезд из города, по узкой улице с пустующими магазинами. Их пыльные стекла были разрисованы детскими пальцами. Улицу пересекал мелкий забетонированный канал. Водитель остановился у последнего городского светофора. На пешеходном островке посередине дороги девочка с рюкзаком зевала и надувала пузырь из жвачки. Пузырь лопнул и облепил ее губы. Девочка всосала его в рот, продолжила лениво жевать. Она стояла и ждала светофора, как и компания в машине. Она, скорее всего, шла в школу.

Все в машине думали о словах старика в комбине зоне. Он говорил так, как будто война – это что-то самое обычное, и не надо из-за нее обижаться друг на друга. Война обязательно будет происходить, хочет он того или нет, так считал старик. Ничего никогда не изменится. Если сейчас в Черногории не идет резня, то только потому, что ее время еще не настало. Старик привык к войне, а они – нет. Война появилась в их жизни первый раз.

По правой обочине шагал пьяница. Он качнулся и сделал шаг на дорогу, и тогда водитель резко повернул руль, чтобы обогнуть его. Пьяница не оборачиваясь успел показать ладонью: все в порядке. Его шея была красной. Местные с утра ходят в кафе, пьют там кофе и ракию, сказал водитель. Кафе для местных имели названия наподобие «Интернациональ» или «Элит». Такие располагались не у набережных, как кафе для туристов, а на углах домов, рядом с обычными подъездами. Они были маленькими и походили на пивнухи. Местные с утра выпивали, курили и обсуждали войну. Она увлекала их, и постоянно звучало «русия», «украина», «нато», «атомска бомба». Потом мужчины шли работать, а старики шатаясь разбредались по улицам. Первые две недели не только в кафе, но и в забегаловках, парикмахерских и на рынке все только и говорили, что по войну, но позже она наскучила.

Не знаю, как вам, а мне кажется, что это все похоже на Крым, сказал водитель. А вам, спросил он журналиста. Тот не расслышал. Жена водителя переспросила его. Да, похоже, сказал журналист, сухие горы, и цвет моря, во многом похоже. По-моему, здесь море бирюзовей и прозрачней, чем в Крыму, сказала жена водителя, даже чем в Симеизе.

Машина проезжала насквозь прибрежные курортные деревни. Они располагались на узких полосах земли между горами и морем. Из-под днища машины раздался стук. Постукивало у переднего левого колеса, где-то в ногах у водителя. Водитель остановился на ближайшем кармане, пассажиры вышли размяться. На бойком месте на набережной, где уже гуляли люди, цыганский мальчик пел и барабанил по пластиковому ведру, а перед ним стояла картонная коробка роз на продажу. Водитель привык видеть мальчика на этом месте каждый раз, когда отвозил людей. Это поселок миллионеров, сказал водитель. Тут очень дорогая недвижимость, от миллиона и выше. Наверное, переплачивают за эксклюзивность, сказала путешественница из Краснодара. Как по мне, так ничего особенного, сказала жена водителя, поселок как поселок.

В тот день вышло солнце, а небо было без облачка. У всех было приподнятое настроение – такое, как будто можно все сделать, успеть и исправить.

До этого несколько дней шел дождь, и говорили, что он будет идти до конца недели. Тучи, напolzавшие с гор на деревню, закрывали крыши дальних домов и даже верхушку башенного крана. На окраинах деревни вдоль трассы и железной дороги стояли сухие заросли прошлогоднего бамбука. В пасмурных сумерках серые стебли, высотой в два или три человеческих роста, казались стенами призрачного замка. Из-за дождя цыгане перестали стоять в дверях супермаркета. Цыгане всегда ходили особняком. Их дети играли в волейбол у общественных зданий. Взрослые стояли полукругом под деревом и показывали друг другу какие-то вещи, сложенные на электрической тумбе, или по двое ездили на мопедах, или просто подолгу курили в стороне и куда-то смотрели. Старухи сидели на тротуаре и хриплым голосом просили милостыню.

Петербургский журналист прошлой ночью не мог заснуть и долго ходил по набережной. Он сидел на бетонной площадке на перевернутом пластмассовом ящике из-под кока-колы. Справа на берегу чернел силуэт большой сосны, наклонившейся над морем. По очертаниям дерева было видно, что это сосна. Левее от нее небо и море темнели и темнели. Еще левее небо застилала косячая черная завеса – это над морем шел дождь. Еще левее, над головой журналиста висела луна в сплошной облачности – как бледное пятно. На земле рядом с ним лежала опрокинутая смотровая вышка из серых бревен. Волны накатывали и накатывали. С тех пор, как началась война, я не могу ничему радоваться, думал журналист. Это как когда я болел ковидом и перестал чувствовать запахи. То же самое, но теперь я не могу чувствовать радость. Когда началась война, у журналиста до крови растрескались губы, а из груди появилось и не уходило тяжелое сжимающее чувство. Кроме того, журналист подозревал, что его хотят обмануть адвокаты, которые занимались насильственным делом. Он волновался из-за этого тоже.

Путешественница из Краснодара прошлой ночью проснулась от шума, глухих повторяющихся ударов. Она поднялась на кровати и увидела, что занавешенную стеклянную дверь заполняет желтый свет. Она открыла рот от страха. Это взрывы, ракетные удары, подумала женщина, и уже что-то горит? Или это военные корабли, которые я видела на пристани, что-то сбили, и оно упало и загорелось? Эта страна входит в НАТО – значит, война мировая, подумала она. Желтый свет мерцал сквозь занавеску. Через минуту она пришла в себя. Шумел оторвавшийся карниз у соседей сверху, а свет шел от уличных фонарей через дорогу. Сын женщины спал на диване со включенным ноутбуком.

Семья с Украины проснулась прошлой ночью, когда их приемная дочь заплакала во сне. Она лежала в детской комнате и не могла объяснить им, почему плачет. Они взяли ее из детдома до рождения собственного сына. Они смирились с тем, что у них не будет детей, но женщина смогла забеременеть после очередной попытки ЭКО. У приемной дочери было легкое умственное отставание, она плохо говорила, после детдома осталась замкнутой и раздражительной. Она не чувствовала себя дочерью этой пары. Скорее, они были ей старшими друзьями, не всегда ласковыми и справедливыми. Она чувствовала, что приемные родители охладели к ней после того, как у них родился собственный ребенок. Они планировали заработать денег и снова попробовать ЭКО. Женщина хотела еще одного ребенка.

Водитель обошел машину кругом, осмотрел колесо, пошатал его ногой, но не нашел ничего странного. Машина поехала дальше по серпантину. Девочка на заднем сиденье поджала ноги и уперлась коленями в переднее пассажирское кресло. Ее колени упирались через кресло в спину журналиста. Он посмотрел на девочку в боковое зеркало. Отсюда, плюс-минус, семьсот километров до Венеции, сказала жена водителя. Мы уже проехали больше сотни. Хорватия, Словения – и потом Италия. А как обстоит дело с выездом с Украины в другие страны, спросила путешественница. Жена водителя сказала, что невоеннообязанные могут выехать даже по фотографии любого документа. Скоро будет месяц, как война началась, добавила она. Пусть политики сами разбираются и заканчивают эту войну, сказал сын путешественницы с заднего сиденья. Политика – это когда люди пытаются договориться, сказала жена водителя, а у нас идет бомбежка мирных городов. Мы не политики и не военные стратеги, чтобы решать, сказал сын путешественницы. Еще неизвестно, кто прав, кто неправ. Все подумали, что мальчик пересказывает слова, которые услышал от своей мамы. Путешественница из Краснодара поняла это и покраснела. Если погибают мирные жители, это же не может быть правдой, сказала жена водителя. Это потому, что украинский президент прячет военные объекты среди мирных жителей. Поэтому бомбить будут по городам, продолжал мальчик. Школа искусств – это военный объект, спросил водитель. Ему и жене кровь ударила в голову, но они не подавали вида. Пока еще не изобрели идеальное навигационное оружие, и украинская армия тоже бомбит мирных жителей, сказал мальчик. Еще все это ужасно скажется на экономике – путешественница из Краснодара попыталась перевести тему разговора.

Снова послышался стук из-под днища автомобиля. Водитель съехал на обочину, и пассажиры вышли подышать воздухом. Журналист отошел в сторону и облокотился о защитные перила перед обрывом. На пустом пляже тлела большая куча сухих веток и мусора. На гальку накатывали волны, и пена тушила тлеющие угли. Куча дымила. Девочка встала рядом и тоже облокотилась о перила. Водитель достал телефон и позвонил в агентство, где арендовал машину. Он спросил, может ли машина быть неисправна. Машина недавно прошла ТО, сказали ему, все должно быть в порядке.

Дальше снова начался серпантин. По левую руку было море, а по правую – скалы. На вершинах нескольких гор виднелись снеговые шапки. Разговор о войне не испортил общего счастливого настроения. Всем казалось, что они едут по этой дороге уже целую вечность. Я хочу мира на Украине, задумался журналист, но еще я хочу жить в теплой стране наподобие этой, где-то поближе к природе, и не быть одиноким, и чтобы рядом была девушка, и чтобы работа была интересной.

Мальчику на заднем сиденье стало плохо, и он попросил открыть окно. Жена водителя предложила ему яблоко, но мальчик помотал головой. Ему открыли окно, и свежий ветер выгнал из салона кондиционированный воздух. Обычно это мне становится плохо, сказала путешественница из Краснодар, а тут вот сыну плохо. Для вестибулярного аппарата боковые колебания – хуже всего, сказал водитель. Мальчику надо развивать вестибулярный аппарат.

На одном холме стояла метеостанция с высокой антенной, а внизу, в долине виднелось идеальное хозяйство, разделенное забором на участки. Один участок с маслинами, другой овечьи пастбище, третий с амбаром, и так далее. На другом холме стояла недостроенная бетонная коробка в три этажа. По лестницам, как по скалам, ходили козы. Когда машина проехала, козы повернули головы вбок, чтобы разглядеть ее. За следующим холмом снова показалось море. Когда открылся вид на море, у всех в машине снова замерло дыхание, хотя они видели его пятнадцать минут назад. Водитель повернул влево на резком повороте. Все гайки, на которых держалось переднее левое колесо, разом срезало. Колесо покатилося в сторону. Машина завалилась влево, перескочила отбойник и полетела с обрыва. Она приземлилась на крышу, еще раз перекувырнулась на земле и остановилась.

Пассажиры мгновенно погибли, когда машина билась о скалы. Водитель отстегнулся, вылез через разбитое окно и прополз несколько метров по песку, волоча за собой ноги. Кровь из его ран смешивалась с песком и превращалась в кашицу. Водитель обернулся на перевернутую машину, упал без сознания и тоже умер.

Машина не загорелась и не была видна с дороги. По тем скалам ходили только козы, которые к вечеру без пастуха возвращались в загон. Людей из машины хватились только через несколько дней, а через неделю их нашли. Механик, который занимался машиной, не до конца закрутил гайки на одном колесе. Когда он закручивал их пневматическим ключом, в его кармане прозвенел смартфон. После разговора он забыл про наживленные гайки и занялся другим делом.

Дмитрий ВОЛКОВОЙ

ЭКФРАСИС

И небывалое речное судоходство
так гладко выведено на простор.

Какая свежая бесчувственность в акцентах на лицо.
И ветер пахнет маслом василька.

Я вижу – что? Плывущую тоску,
сопротивление обыденного оселка.
Приятного на ощупь. Цвета gainsboro¹.

Ни молотом ни наковальней не задето, небо безответственно
перед нестрогим тождеством светящегося окисления и уходящего материка.

Смотри со мной как паузой обколота
непробиваемая выправка простого диалога.

В безмерном кадре взгляду одиноко:
ни наковальни нет ни молота.

в городе с балконным акне,
кофейным даром, крохотными сказками, пустыми фонарями
чернольняное море солью никогда не пахнет –
аэропорт
между рядами с упаковками на неизвестных языках
сверкает междометий и рассеянности череда,
упитан иноверец шорохом дождей и засух в голосах –
магазин
и что-то встретилось в несветлых снах,

¹ <https://www.color-name.com/gainsboro.color>

Дмитрий Волковой родился в 1998 году, учился на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Публиковался на сайте «Полутона», в журнале «Воздух».

дымится, расплзается на перечеркнутых листах
в далекий ступор, антрацитовый туман на потолке.
который день не выцветет морковкиного заговения букет –
свадьба
мутный цвет каньона свысока и мраморного шва в углу
скамьи у странного фонтана еле отличим
от wedgwood blue¹ –
серпантин

Голос

Какое сложное и, в конце концов, славное
Слегка судорожное высказывание
Вне детей и отцов,
Кодификаций, воображенной
Личной истории.

Прими меня незадачливо и легко, застывающей карамелью,
Живое объемное одеяло мозаично сложенной памяти.
Пускай мы начнем так порывисто перемещаться,
Как скачки нашей влажной погоды,
Как скачки с черкесскими лошадьями.

Рублевский голубец²

Мне снился самый наполненный, красивый, медитативный, событийный сон,
но от него

Остались только пустые шаблоны,
Масштабная форма с опустевшим содержанием,
Я ничего не помню, невозможно пересказать, но осадок безошибочный.

Опыт одновременной игры утраты и изумления.

Это то, как форма возможна без содержания.
Наслаждение формой, от которой содержание только-только отсеклось.

Слияние отчуждения и приобретения
того, не знаю чего,
там, не знаю где.

Представь себе – эпос без содержания.
Он такой.

¹ <https://www.color-name.com/wedgwood-blue.color>

² https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Andrey_Rublev_-_%D0%A1%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_Google_Art_Project.jpg

Carta Azzurra

Перегоняет урбечовую густую массу родины и ночи ренессансный человек
и смотрит на свое лицо, перенося владение с конца
света на начало осязания.

Летают стаями молитвенные руки, сталкиваясь с головами Дюрера¹, Брессона²
и так далее.

Маджнун рисует на песке любимый цвет пророка, детских книг и канцтоваров,
а сумрачного гения остаточный фрагмент –
молочный клевер.

Почувствуй кожей, перемешивая ледяные огурцы, некрепкую кору
орфоэпического словаря и неустойчивый мольберт,
не человек, а время.

Любовь

Мне снился разлитый до состояния моря Амур.

Затмилась рябь, сощуренные брови.

Во сне Китай и старая Москва вместились в кобуру.

Дельфийская игра и тёплый дождь, они давно ли
привиделись? Где свадебные песни есть, а где их нет?

Цвет неба летом³, Филип Гласс поэт

глубинных натисков. Цвет пасмурности⁴, дальние дома.

Их только потому и вижу я,

что из-за цвета неба и его

необычайно повторяемых вариаций.

¹ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Albrecht_Dürer_-_Betende_Hände%2C_1508.jpg

² https://medias.unifrance.org/medias/95/201/51551/format_page/media.jpg

³ <https://www.color-name.com/hex/97D3ea>

⁴ <https://www.color-name.com/hex/bcc8c6>

ХОРОШИЙ СОН

Рассказ

Беда в том, что в последнее время меня никто не слушает. Раньше еще как-то выслушивали, а теперь нет. То есть перебивают, не дают договорить. Либо на что-то отвлекаются, отворачиваются, отходят бочком. Либо начинают говорить между собой. И моя речь зависает в воздухе мыльным пузырьком, который через пару секунд лопается, как ему и надлежит. Потому что я не могу говорить, когда мне не смотрят в лицо и не выказывают знаков заинтересованности, типа «ну, да» или кивка головы. Говоря всё это, я имею в виду домашних. С прочими я не общаюсь совсем.

Впрочем, есть один член семьи, который слушает внимательно, глядя в глаза. И даже иногда пытается что-то ответить. Это собачка Лиза породы джек-рассел.

Вот последний пример. Что если бы я захотел в подробностях пересказать следующий сон, приснившийся мне под утро?

Действие в нем происходит на Новоизмайловском проспекте в Ленинграде. Там стоит дом, в котором когда-то в 60-х годах купил кооперативную квартиру мой отец. И сейчас там живет. Хотя я знаю, что он давно умер, но как бы он жив и продолжает там жить.

Я же в данный момент нахожусь за две-три остановки от него, в другом доме, где находится контора какого-то не крупного строительного начальника, отвечающего (перед кем?) за ремонт квартир. И я почему-то имею право получить от него бесплатно кафельную плитку, необходимую для ремонта ванной комнаты на квартире отца.

Ситуация, на первый взгляд, проста. Но внезапно я обнаруживаю, что не знаю ни количества необходимой мне плитки, ни ее цвета. И горизонт заволакивает мраком...

Если я назову неправильные данные, занижу потребность или напугаю цвет, мне придется либо выклянчивать у начальника дополнительную плитку, либо тащить кафель обратно для обмена. Строитель может поругать меня за бестолковость и в лучшем случае удовлетворить мою просьбу, а в худшем не удовлетворить. И тогда, приехав домой на проспект Энергетиков, который на противоположном конце огромного города, я увижу упрекающий взгляд мамы – мол, не сделал дела как следует, не довел до конца. Я знаю, что она умерла, но этот взгляд увижу. А потому надо что-то предпринимать...

Михаил Окунь родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина). Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор десяти сборников стихов и трех книг прозы. Публикации в журналах «Звезда», «Урал», «Нева», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Зинзивер», а также в альманахах, антологиях в России и за рубежом. Золотая медаль 2-го Международного конкурса современной литературы «Лучшая книга – 2010» (Берлин, 2011) в номинации «Малая проза». Лауреат премии журналов «Звезда» (2019), «Зинзивер» (2014, 2016), «Урал» (2006). С 2002 года живет в Германии. В «Волге» публиковались стихи и рассказы.

Тут хотелось бы обрисовать офис, как теперь выражаются, этого строительного начальника в том виде, в каком он присутствовал в моем сне.

Начальник сидел за небольшим шатким столиком на лестничной площадке. Столик стоял у самых ступенек, у верхнего края лестничного марша. Таким образом, проситель автоматически оказывался на ступеньку, а то и на две, ниже уровня начальника. Кроме того, поверх ступеней были проложены узкие хлипкие мостки, защита их от шаркающих подошв посетителей. И отойти от стола можно было только с трудом разминувшись со следующим просителем.

Сам столик был завален какими-то мятыми бумагами типа накладных. Тут же стояли упаковки с кафелем. Он был всего двух цветов – белого и голубого.

Внешность начальника не вызвала у меня никаких опасений. Широкое ясное лицо пожилого человека. Хотя и не без хитринки, конечно. А как иначе? Было несколько актеров кино такого типа внешности в советском кинематографе. Председателей играли, директоров заводов, полковников милиции. На лацкане моего начальника красовался нагрудный знак установленного образца – «Заслуженный строитель РСФСР» (такие подробности лишний раз свидетельствуют о необычности сна). Опасения же вызывала внешность его помощника или секретаря.

Этот молчел был коротко стриженным брюнетом с крепкой круглой головой. Глаза его были без зрачков и смотрели как два пистолетных дула. Они источали холодную ненависть. В первый момент они привели меня в такое паническое состояние, что я чуть было не смалодушничал и не проснулся досрочно, проблемы не решив.

В общем, чтобы разрешить все вопросы, я решил позвонить отцу. Он был после инсульта, и говорить с ним было трудно. Никаких мобильных в моем сне, разумеется, не было.

На столике начальника кроме прочего стоял телефонный аппарат, заслуживающий отдельного описания. Он был без корпуса, внутренностями наружу. Без диска, а вместо него торчали какие-то кривые обрубки негнущейся проволоки, снабжённые на конце кнопками с цифрами. Чтобы набрать номер, надо было на них давить и осторожно углублять.

Я попросил разрешения позвонить. Секретарь вдруг вскричал:

– Да что ж вы, бл...ь, тормозитесь здесь без всякого побудительного повода?!

И поверг меня этой фразой в полное изумление. Если бы не одно лишнее слово, она сделала бы честь любому русскому классику девятнадцатого века.

Тем не менее добрый начальник благосклонно кивнул, и я начал по памяти, с осторожностью набирать номер отца. Чувствуя спиной жгучую волну недовольства следующего просителя. «Возьми трубку! – мысленно твердил я. – Возьми!..»

Отец взял. Я начал с более простого вопроса о цвете кафеля. На другом конце провода, однако, стояло глубокое молчание.

– Ну же, папа, это просто! – сказал я. – Докатись до ванной, загляни. Здесь есть всего два цвета – голубой и белый (спохватился – зачем же я грузу его лишней информацией?).

Замечу, что отец передвигался по квартире на самодельном кресле, сделанном бывшими коллегами по работе на базе тележки от большого промышленного лампового осциллографа.

Внезапно он ответил:

– Пусть профессура решает!..

Какая профессура, о чем он?! Просто загляни и скажи. Но он стоял на своём – нет, пусть профессура...

Начальник с секретарем выжидательно и, как мне показалось, не без любопытства, смотрели на меня. Даже уровень ненависти в дулах секретаря поуменился.

И тогда я уже безнадежно задал вопрос о необходимом количестве плитки – мол, сколько там осыпалось. И внезапно получил конкретный чёткий ответ: «24 целых и 19 сотых квадратных дециметров!»

– Сколько? – пересохшим ртом выдавил я.

– Ну что «сколько»? – раздражённо ответил отец. – Площадь осыпания я тебе назвал, плитка 15 на 15 сантиметров, перемножь, подели, получишь десять плиток с довеском!

И резко повесил трубку. А я почувствовал, что по-прежнему нахожусь в четвертом классе начальной школы, а он, как всегда раздражаясь моей недостаточно быстрой сообразительностью, вдалбливает мне про эти квадратные дециметры...

Я получил одиннадцать кафельных плиток белого цвета (по поводу цвета решил волевым образом), сердечно поблагодарил заслуженного строителя и его грозного помощника, протиснулся мимо напивавшего сзади следующего и поехал к отцу. Но, не доехав, проснулся...

Таким образом сон, учитывая его окончание, был хорошим. За исключением одной детали, которую предстояло выяснить.

Вот и посудите сами – мог ли я в своём положении, когда меня не хотят слушать, в деталях пересказывать такой сон? А суть тут именно в деталях. Да я не добрался бы и до второй фразы!..

И когда она спросила меня: «Что так рано встал?», я ответил односложно: «Сны...»

«А-а... – сказала она. – С нею удалось поговорить?»

«Нет». – Снова односложно ответил я, и на этом вопрос был исчерпан.

(Тут надо пояснить, что когда мне снится покойная мать, я пытаюсь с нею заговорить, но она молчит и только смотрит. Но в сегодняшнем сне ее не было.)

Не без трепета включил я компьютер и открыл папку под названием «Новоизмайловский». В ней хранятся фотографии квартиры отца накануне сдачи, после его смерти. Один снимок, второй, вот, наконец, ванная... Кафель белый! Не промахнулся! Правда, поверху идет окантовка шириной в одну желтоватую плитку, но это пустяки. Проживем, на худой конец, и без окантовки!

– Лиза, Лиза! Иди сюда. Я расскажу тебе один хороший сон...

РУСАЛКА

Рассказ

Рыбачить в Алуште я подрядился с Андреем Петровичем. Шел вдоль пустого январского побережья и заметил мужика на пирсе санатория «Киев». Одному же скучно, но и сел рядом. Море яркое, как небосвод, пенка белесая и кажется, сейчас кто-нибудь клюнет, но ничего не клюет, потому что не сезон, даже на вареную куриную грудку не клюет, ни ставрида, ни барабулька, ни кефаль.

Если долго сидеть и просто смотреть на море, то начинает казаться, что там, в глубине, кроме рыб, морских ежей, дельфинов, черепах еще кто-то есть. Этот кто-то ведет свою простую и незаметную жизнь и никогда не попадает на глаза человеку, потому что нет ничего более противоположного природному естеству, чем человек.

С Петровичем мы обычно молчим, но это такое многозначительное молчание. Так молчат друг с другом давно прожившие вместе супруги. Они знают каждую мысль, каждое движение друг друга, и от этого любой звук становится ненужным.

И тут в тот день коренастый Петрович, одетый в камуфляжные штаны и в камуфляжную же куртку, вдруг заговорил со мной.

– Я, – сказал Петрович, – тут в 1979 году русалку поймал, мне было лет четырнадцать.

Я сидел и молчал, сосал «Донской табак» и молчал, мало ли у человека в шестьдесят лет придури. В шестьдесят лет можно не только поймать русалку, но в лучах закатного солнца увидеть Деву Марию, да так, что твоя встреча с ней войдет в учебники богословия как откровение.

А Петрович продолжал свой рассказ, и лицо его светилось, и в глазах горели огонечки, что-то в нем играло и пело:

– Я пришел в шторм купаться, а знаешь, какая Алушта обманчивая, здесь какие течения, ну я так прыгнул, вышел, обтерся и сижу пиво пью, и сигарету курю, сижу курю сигарету, шторм бушует.

Мне представился шторм. В шторм волны налетают на пирсы и с грохотом дробят их бетонную плоскость, словно мстя человеку за его странное желание создать что-то рукотворное, хотя и так есть много прекрасного в природе, зачем эта бетонная твердь нужна.

– И вот сидел я пил пиво, и тут девка подходит.

– Красивая, – перебил я Петровича.

У Петровича заходил кадык, он перевел взгляд от спиннинга на меня и, сбиваясь, с придыханием произнес:

Вячеслав Харченко родился в 1971 году в Краснодарском крае. Выпускник МГУ им. Ломоносова, учился в Литературном институте им. Горького. Стихи и проза печатались в журналах «Новая юность», «Арион», «Знамя», «Октябрь», «Крещатик», «Новый берег», Ното Legens и др. Автор книг прозы «Чай со слониками» (2018), «Пылинки» (2021). В «Волге» публикуется с 2014 года.

– В тот момент я не понял, красивая она или нет, может она мне вообще показалась, много приезжих в Алуште, я точно ее не знал, не местная она.

– Но внимание-то обратили.

– А как не обратишь внимание, если халат она скинула и бултых голая с пирса.

– Прямо голая.

– Да голая. И вот поплыла, поплыла куда-то вроде к горизонту, в шторм, а тут смотрю, смотрю, нет ее, волны кругом, я аж привстал, пиво отставил и сигарету выкинул, чего мне сигарета, если человек пропал в шторм, пусть и голый, пусть и красивый.

– Полезли спасать, что ли.

– Ну да, опять полез в море, в шторм. И вот плыву, плыву, место вроде приметил, где видел ее последний раз, один раз нырнул, второй раз нырнул. Уже и жаль ее, и глаза слезятся, и резь в глазах, а все ныряю и ныряю, и только на пятый раз нащупал что-то, взял ее и потащил на берег, а волна же бьется и оттаскивает нас, я встаю, а девка тяжелая, нас и сносит, волна штормовая сносит.

– За волосы тащили.

– Это только в кино за волосы таскают, нет, обхватил руками и так толкал к берегу.

Я посмотрел на наши спиннинги. Колокольчики не шевелились. Никто не клевал. Это был пустой и гиблый день.

– И вот вытащил ее и положил на песок, а что делать, не знаю. Мне же четырнадцать лет. И вот смотрю, смотрю на нее и вдруг вижу у нее хвост рыбий, вижу, что русалка она. Серебристая лежит на солнце, и чешуя ее искрится, и такой приятный рыбий запах, и кажется, что никого более прекрасного я не видел на свете. Вот русалка эта – и больше никого, и не дышит. И шторм гудит, волны бьются о мол, взлетают стеной, и брызги, я склонился над ней, а на нас брызги и чайки курлы-курлы. Стал в лицо ее всматриваться. На всю жизнь запомнил это лицо, и хвост рыбий запомнил. Смотрю и думаю, если она умерла, то теперь и поцеловать можно, что ей будет теперь, если я поцелую мертвую русалку. Вот в сказках принцы целуют спящих царевен, а я поцелую мертвую русалку. И музыку такую услышал, будто хор поет.

– Ну и что, поцеловали, сколько ей лет-то было, вам четырнадцать, а ей сколько.

– Ей лет двадцать на вид.

– Вам четырнадцать, а ей двадцать. Так для вас она виделась просто старухой.

– Сам ты старуха. Красивая же, говорю. И вот услышал я хор и поцеловал ее.

За разговором с Петровичем я вдруг заметил, как стал усиливаться ветер. Откуда-то из глубины моря сначала пришла легкая прохлада, а потом что-то задуло, как вентилятор, и мне показалось, что появился отдаленный звук: настойчивое подспудное гудение.

– И вот я наклонился и бережно ее поцеловал, а губы у нее потрескавшиеся немного.

– Как точно вы все помните.

– И вот когда я ее поцеловал, она вдруг открыла глаза, вздрогнула, нащупала рукой мою пустую бутылку из-под пива и со всего размаха меня по голове и ударила. Осколки, искры, кровь хлещет из макушки, а она встала надо мной и орет: «Дебил, дурак, дебил, я хотела раз и навсегда, чтобы раз и навсегда, чтобы все закончилось, зачем ты это сделал», – а я сижу, мне больно, и смотрю на нее в гневе, а это не девушка, а ангел русалочий вокруг меня скачет и орет что-то. Я подскочил, хотел ее обнять, а она меня отталкивает, будто я чужой ей, будто это не я спас ее от смерти, а она орет, и я думаю: «Вот и нужна ли ей такая жизнь». Потом успокоилась.

– Дай сигарету, – говорит.

Я полез в карман рубашки, нащупал пачку сигарет и достал ей одну, зажигалкой чиркнул. Она прикурила и закашлялась, будто курит в первый раз в жизни. Сидит голая курит, а я все этот хвост русалочий вижу. Покурила, подобрала халат и как была голая пошла в сторону пляжа санатория «Днепр».

Я сижу, ничего не понимаю. Долго сидел на берегу, все смотрел в сторону, в которую она ушла. А потом шторм немного стих, и я вдруг мучительно захотел узнать, кто она, зачем пришла сюда, отчего кричала и грозилась, что с ней случилась. Встал и пошел ее искать. Вот так шел и заходил на каждый пляж и спрашивал, а что спрашивать, имени ее не знаю. Надо мной только смеялись. Девушка голая, русалка, русалка, хвост серебристый.

«Иди проспись», – говорили мне. «Отстань, отстань», – говорили мне, а Танюха, продавщица вареной кукурузы, вообще хотела психиатричку вызвать или милицию, говорит не пушу тебя такого, ты посмотри на себя, какая русалка, пойдем лучше со мной, я тебя накормлю и обогрею, но в тот раз я с Танюхой не пошел. Так и брел по берегу и заходил на каждый пляж. Но нет, ее не было. Видимо и правда приезжая, хотя голую русалку должны были видеть. Может она в море ушла, ушла в море и поплыла куда-нибудь в Турцию, тут до Турции рукой подать.

– Так и не нашли?

– Так и не нашел. А потом каждый год ходил на этот пляж, лет семь ходил, думал встречу ее, но не встретил, помню только губы сухие и глаза русалочки, видимо приезжая, залетная, московская.

– А дальше что?

– Что-то, я потом всю жизнь в каждой женщине искал русалку эту. Вот, бывало, лежишь в постели с кем-нибудь, она склонится над тобой, волосы поправит, челку смахнет, а ты смотришь в темноте в ее лицо – не то, не то, не та, не та.

– Вы хоть женились-то потом, дети есть?

– Женился, на Танюхе и женился, сына назвал Руслан, Танюха жаловалась, что за имя нечеловечье, а я Руслан-Русалка хоть какая-то память на всю жизнь, он у меня огромный вырос и две внучки, уже одной три года, а второй десять.

– Не клюет сегодня, Андрей Петрович.

– Шторм будет, не купайся в Алуште, Славик, в шторм знаешь сколько утопленников здесь, сматывай удочки.

– Зачем, – удивленно спрашиваю я, рассматривая свой спиннинг, – можно еще посидеть.

– Море не так шумит, – грустно улыбается Петрович.

Я прислушиваюсь к морю. Море как море.

– Ты здесь сколько? – спрашивает Петрович.

– Три года.

– А я всю жизнь.

Я опять стараюсь слушать море.

Пшпшпш, пшапшапша, шаша.

– Слышишь это еле заметное уиуиуи?

Прислушиваюсь. И точно где-то в отдалении, пока ещё еле заметно, но уже настырно и как-то властно я слышу уиуиуи и даже где-то ррр и даже где-то вывывы и что-то еще ухающее и хрюкающее.

– Шторм идёт, сматывай снасти, – говорит мне Петрович.

Послушно сматываю спиннинг, вздыхаю, я ещё не умею слушать море.

Александра ШАЛАШОВА

говорю сердцу:
что ж ты снова
что же ты начинаешься
что же ты начинаешь
пожалуйста прекрати
а оно мне ну кто ты такая
посмотри на себя
посчитай про себя
сколько тебе
что на тебе
глупая немодная юбка
шерстяные колготки
старенькие ботинки
вспомни
что и раньше не нравилась мальчикам
в школе ходила опустив глаза
ногами ватными нелепо шаркая
жалкая жалкая жалкая
всё так отвечаю
я и не чаяла ни на что не рассчитывала
это ты первым зашло защеколало
пронзило до кончиков пальцев
заставило залиться румянцем
лепетать глупое
волосы
белые точно у старой куклы
неровно рассыпались по плечам
стою ни холодна ни горяча
навек исторгнутая из уст
и боюсь
вымолвить слово
набрякшее на кончике языка

Александра Шалашова родилась в Череповце, живёт в Самаре, работает частным преподавателем русского языка и литературы. Выпускница Литературного института им. Горького. Печаталась в журналах «Знамя», «Юность», «Флаги», «Артикуляция», «TextOnly», вестнике современного искусства «Цирк "Олимп" + TV» и др. Лауреат премии «Лицей» (2019, 2020). Автор поэтического сборника «Предприятие связи» (М.: Стеклограф, 2020) и романа «Выключить моё видео» (АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021).

* * *

в поезде на одной полке маленькие худые
веснушки перетекают с одной спины
на другую если обняться
крепче глаза закрой на огни
ярославского нефтеперерабатывающего завода

к нам никто не войдёт
нас никто не найдёт
не догонит

колюще-режущий уголок одеяла
у самого рта твоего
моего

не начинать нам
не зачинать детей
мальчиков русских
с веснушками
светлыми прядями
мальчиков
что отнимут у нас
через семнадцать лет
что сойдут на нет
упадут на землю
взойдут травами высокими горькими

что, сестрёнка твоя?
говорит мужчина пахнувший пивом
я говорю – сестра

однажды подкараулили парни
следом шли до подъезда
выкрикивая угрозы
я твердила одними губами:
сестра сестра
будто отсрочит и ответит

и пойдёт проводник
перед Шексной
скажет сдавать бельё
и боже мой нам по двадцать лет
и цветёт и цветёт и цветёт
золотая купальница
вдоль речных долин города моего
на лугах и полянах города моего

если отправиться в ту половину города куда не ездят
туда где кончается волга
можно увидеть
больших смуглых мужчин
маленьких женщин
платки в золотых нитях
их дети пинают мяч на языке которого я не знаю

на заводском шоссе невысокие дома
цвета моих любимых бакинских помидоров
а больше не знаю ничего-ничегошеньки
на заводском шоссе высокие одуванчики
железные турники

держитесь прямо никуда не сворачивайте
а там и ракетно-космический центр прогресс
сквозь щели в заборе мы можем видеть
современный летательный аппарат
разработанный для колонизации Венеры

вечером за просмотром прямого включения из Киева
за монологами жителей подумала
что и в нашем краю прорастут одуванчики и железные турники
и смуглый золотоглазый венерианец
будет внимательно разбирать
мою шелестящую речь

дерево черёмуха рожало мучилось
несладкие ягоды
остались лежать с ноября
но я брь брр трогаю воду
где птичьи пёрышки
трупик пёночек
пена прилипает к рукам
бурлит в волге несъедобный бульон
закипают куски мёртвой говядины
тру ладонь о другую стираю кожи тонкие линии
чтоб не осталось ни малейшего имени
селезенки гортани с глоткой багрового языка
вымени охристо-бурых коровьих губ
выбираю из ила ягоды черёмухи-дерева
они лопаются как пузырьки
растекаются чернильно-праздничным
складываются в цвета государства

которое не найду замерев перед картой
– садись, милая, два –

а ну пойдём петь и плясать
на старую набережную
под баян едва стоящего на ногах старика
пока дети наряженные в военную форму
перебегают дорогу в положенном месте
пока из глаз фотографа капает кровь
заливает прицел
не даёт выправить линию горизонта
разглядеть кто же там у него
кто перед ним
маленькое животное лапки крысиные лисий мех
или большой человек
мы все целые целиком
всё достаём по ягодке
пока пою
нашу длинную песню полную жалости
ко всему обеззвученному
отзвучавшему словно птица в воде
дерево дерева вымокло насквозь проржавело
достаёшь порывшее ржевский мемориал советскому солдату
– не трогай то о чём не имеешь понятия
да наши деды
а ты что –

я ничего
я черёмуха-дерево
я будто
но я брь
брр
выстуживает глубокие вены
бледные синячки
что почти сошли
пляши пляши под трехрядку
колени сгибай
вот так
лучше старайся
так приуготовишься к долгой битве
теперь падай
убита

триптих

i
почему воздух холодный и тёплый
почему я так его чувствую

где моё дыхание
где наше дыхание
помявшее ветер над чёрным морем
в воздухе сплетены разноцветные нити
ожерелье
вентиляционной системы легко на грудь
на примеряй
или кто-то дверь открыл
в оперблок
привёл вторую голую и дрожащую
под голубой простыней

ii

в выключенном свете никто не живет
ничей тёплый живот
мягкий безболезненный во всех отделах
кто сегодня надел
вместо белой сорочки с широким воротом обнажающим грудь
чтобы кормить лелеять
простую привезённую из дома футболку
тому радость

iii

сухое печенье «Мария»
сладковатое на языке
думала что уже не придётся
вспоминать вкус
но вот он
проявляется всё острее и ярче
а помнишь как в девяносто восьмом на развес покупали
триста или четыреста граммов
недолго лежало в доме
а сейчас всё время на блюдечках
но никто не доедает
от дурноты вдруг подкатившей к незвучащему горлу

Андрей ЛОМОВЦЕВ

А ТЫ НЕ ЛЕТЧИК...

Рассказ

Утром ушёл отец. Тихо снял с вешалки затёртое шерстяное пальто, замотал шею шарфом и вышел в предрассветную мглу. Выпал первый снег, мороз озорно прихватил его за мясистые щёки, накидал за ворот снежинок. Мужчина смахнул снег раздражённо, зло. В голове словно развёрнутый транспарант колыхалась красным фраза, от которой заливало горечью грудь и першило в горле. Её слова. Дурацкие, обидные, сколько уже говорили не трогать тему. А ты не летчик, да откуда тебе знать, блин... Захотелось вдруг вернуться, выдать наконец жене в лицо – резкое, матерное, живое. Сколько можно держать в себе.

А дети, Соня... Илья, в конце концов. Тогда броситься на колени, умолять и просить, плакать и целовать руки. Повиниться, раскаяться и простить. Её. Самого себя.

Чёрт. А эти фото?

Всё-таки лучше коньяка. Ещё граммов двести. И забыться. Затереть обидные слова словно пыль, выбросить из головы. И жить, словно ничего и не было. Хотя уже не получится. Или получится... Тогда, все же простить и повиниться.

Он выскочил на белёсую от снега дорогу, вскинул вверх руку, увидев зелёный огонёк такси. Машина подрулила к тротуару. Мордатый таксист опустил со скрипом стекло:

– Куда?

– Внуково, аэропорт.

Попутру всполошённая жена с заплаканными глазами, в застёгнутом вкривь халатике металась по узкой кухне, тыкая кнопки телефона.

– Абонент не отвечает или временно недоступен, – вещал механический голос.

Вера, всхлипывая, отложила мобильник и судорожно собрала рассыпанные по столу фотографии. Солёные капли запрыгали по бумаге, она вытерла припухшие глаза. Осмотрелась. Серый кот дремал равнодушно на стуле, щёлкали механические часы, отбивая минуты и напоминая о скоротечности времени. Кухня пропиталась сигаретным дымом, резким запахом нашта tyre и валокордина. Гора немытой посуды в раковине – напомнила ей о вчерашних гостях. Но больше тревожила ополовиненная бутылка коньяка, гранёная стопка в подтёках, пепельница, полная вонючих окурков, которые будто торопились рассказать о тяжести ночных размышлений мужа.

Вера вздохнула, обычно супруг курил редко. Вчера перенервничал.

Соня слышала из детской эти осторожные шорохи, стуки кухонной мебели и материнские вздохи. Уловила до того покашливания отца в коридоре, скрип ключа, шуршанье замков. Она

Андрей Ломовцев родился в 1968 году в подмосковных Мытищах. Закончил Московский гуманитарный институт, кафедра психологии. Впоследствии занимался предпринимательством. Закончил школу трейдеров в Москве и школу йоги в Индии (инструктор). Рассказы публиковались в «Волге», «Дружбе народов» и др.

разглядывала полоску света на потолке, силясь понять – куда торопился папа в такую рань. В воскресенье. Никаких причин на то не было. Вспомнила про бабушку с дедушкой, что говорили про ранний вылет, про такси, и папа, наверно, помчался их провожать.

Почему так вздыхает мама?

Соня повернула голову. Илья мирно сопел на кровати у противоположной стены. Закутавшись в тёплое одеяло, он поджал маленький кулачок ко рту. На полу красными крыльями упёрся в ножку кровати самолёт с винтом спереди. Дед привёз, вспомнила Соня, а братец скривился, нахмурил лоб и буркнул, что такие уже не летают, старьё.

Интересно, – подумала Сонечка и перевернулась на бок, внимательно разглядывая лицо брата, будто впервые видела эти тонкие губы, насупившиеся бровки, пшеничные волосы, разметавшиеся по подушке – да кто же ты такой, братец, на самом деле, чокнутый или притворяешься. И не опасно ли это для меня...

Сонечка считала себе достаточно взрослой. Училась в шестом классе, вела дневник и пост в инстаграме, посвящённый кулинарии. Обожала царство грибов. Мечтала работать поваром, как мама, в красивом московском ресторане.

Тикали часы, на кухне вздыхали, сморкались. Сонечка вспоминала вчерашний вечер. Задумалась, накручивая на палец прядь тёмных волос, – отчего же после рассказа Покемона (так она звала брата) маме сделалось дурно, а бабушка схватилась за сердце. И ей даже вызвали скорую.

Гости, помнится, разошлись затемно. Долго кряхтел в прихожей дедушка. Он молчал весь вечер, мало ел и смотрел как-то странно на братца. Всполошился, когда бабуля, закатив глаза, откинулась на подушки дивана. В это момент – братец Ил (так Соня звала брата на людях) всё ещё бубнил свою историю, отчаянно жестикулировал и заикался. Где-то на этом моменте мамочка потеряла весёлость, и в глазах её заблестели слёзы.

Братец Ил в тот момент качался на стуле из стороны в сторону, прикрыв глаза и вытянув вперёд руки. Будто держал что-то. Наверно, воображал себя за штурвалом самолёта.

– Ууу, птух-птух. Шессть девятый – Матильде. Пликрой сплава. Птух – птух- птух. Отказ гидлосистемы. Задымление. Ключил наддув, – братец махал руками перед глазами, будто мух гонял.

Ну не дурачок? Как же надоел со своими игрушками, лучше бы буквы научился выговаривать.

Сейчас Соня пожалела, что не слышала, чем закончилась фантазия Покемона. Хотя его вымыслы не отличались многообразием. Правда, в этот раз он не бегал по комнате и не выл, что заходит на посадку. Не растягивался по пятнистому паркету на животе. И всё же она прослушала. Жаль. Что-то случилось, что-то важное, такое, что папа уронил со стола вилку.

– Ууу, птух-птух-птух. Шессть девятый – Джокелу. Катапульта сломана. Птух, ууу. Салазки заклинило. Отказ двигателей. Падаю, блат. Голую. Ууу.

Бабушка тяжело задышала. Соня видела, как вскочил папа, ища глазами сотовый, вызвать неотложку, а когда нашёл, с трубкой в руках бросился искать сердечные капли. Даже Кот Мурло спрятался за тяжёлой портьерой. У Покемона придуманный брат куда-то падал.

Запахло остро, это когда папа открыл вонючий пузырёк. Мамина подруга по работе, неуклюжая, широкая словно тумба тётя Аня пролила воду, второпях наполняя стакан для бабули. А муж её, дядя Саша, с узкими усиками, воспользовался суматохой, плеснул в фужер водки и выпил залпом. Неприятный дядька, Сонечке он не нравился. До вчерашнего вечера. Потом дядя Саша заку-

сил маринованными грибами, сделанными Соней по маминому рецепту. И причмокнул. И сказал – какая прелесть эти грибочки. Значит, ему понравилось, а Сонечке так вдвойне, потому как её стряпню в доме невзлюбили. Особенно Покемон.

Вот пока Соня улыбалась дядя Саше, братец Ил закончил рассказ и тарашился растерянно голубыми глазками, не понимая, чем вызвал переполох. И Соня не поняла. Прослушала.

А ведь мама запретила братцу выговаривать странные словечки. И просила выкинуть из голы – придуманных друзей, самолётики и прочую «лётную» ерунду, а смотреть вон мультики «Маша и медведь», как всё дети. Но Покемон «Машу» не любил, фыркал, что для девчонок, просил включить «Белку и Стелку», где про космос.

Братец перевернулся, вздёрнул носик и совершенно отчётливо произнёс:

– Шестьсот девятый, иду под облаками, слоечка. Эшелон тли сто.

Покемон часто выкидывал странные словечки. Соня не понимала белиберды и всерьёз предполагала, что братец ударился о кровать, и, видимо, головой. И терзал её беготнёй по квартире, когда взрослых нет дома...

– Ууу. Шестьсот девятый – Джокелу. Лаботу закончил. Ухожу на тоцку. Ууу. – кричал Покемон, раскинув тонкие спички рук, и носился вприпрыжку по коридору.

По утрам перед походом в садик братец любил забираться на высокий барный табурет на кухне и смотреть в окно, которое называл странным словом – дылка. Молчал, пока не приходил папа готовить завтрак.

– Четыле девятки на улице, – говорил братец, когда солнце выскальзывало из-за высоты напротив, – миллион на миллион сегодня. Класота.

Если небо накрывало тяжёлыми тучами и моросил дождь, братец тёр пальчиками по стеклу, играя с каплями и бормотал, поджимая губки: – Камни с молоком. Тоска.

Услышав странный прогноз в первый раз – папа чуть не подавился сосиской, от которой откусил здоровенный кусок. Соня разлила кофе и накапала на юбку. Покемону тогда исполнилось три. Говорить он начал поздно, и вот как-то сразу научился выдавать такую ерунду.

Родители вечером того дня, долго обсуждали что-то при закрытых дверях. И утром возили братца к врачу. Приехав, повздыхали и договорились с Соней не обращать впредь внимания на странные словечки братца.

– А зачем ты плишёл? Почему ты в моей голове? Доктол говорит, это плохая болезнь.

– Доктор сам плохой дядя. Не думай про него. Считай меня старшим братом. Я ненадолго. Научу тебя летать и уйду.

– И я буду лётиком?

– Конечно! Даже не сомневайся. Лучшим лётчиком на планете, поверь мне.

Порой братец выдавал совсем уж странное. Однажды он восседал на обзорном пункте, рассматривая облака в детский бинокль. Игрушку подарила бабушка. Узнала по телефону, что внучок обожает паяться в небо, и прислала посылку.

Соня в тот вечер листала посты в инстаграме, папа ковырял яичницу и читал, наверно, фейсбук, уткнулся в экран смартфона, никого не замечая. Сопел.

Тут братец возьми и брякни, звучно, громко и строго, будто громкоговоритель включили.

– Кулсант Синицин, вилаж заплесяю. Велнуться на контлольную точку. Исполнять.

Соня аж вздрогнула, Синицины – это их фамилия. И кому это братец сказал?

Папа же подскочил, стул опрокинул. Покраснел лицом, затрясся, зарычал охрипшим голосом.
– Прекрати немедленно!

Хотел что-то добавить, но сморщился, сжал кулаки и ушёл в ванную. Яичницу Соня в ведро выкинула. Вот и поужинали.

И снова Покемона к врачу возили. Вернулись родители расстроенные, а братцу стали давать по две розовые таблетки перед садиком и голубую перед сном. И отобрали бинокль.

Соне, кстати, жутко интересно было узнать, в чём там дело, что врач родителям нашептал. Но ей не рассказали. Она вот уверена – родители знают секрет про братца, но с ней не делятся. А может, он инопланетянин? Тогда это всё объясняет.

В любом случае – странный, так говорили про братца малыши во дворе. Воспитательница детского сада, что через дорогу, две пятиэтажки и пустырь, долго привыкала к братцу. Сонечка иногда отводила Покемона в садик по дороге в школу, и ей была симпатична молодая брюнетка с пышной косой. Они даже зафрендзились в инстаграме.

Ксения Андреевна жаловалась на братца, мол, смущает деток, рассказывает небылицы про самолёты, много бегает и кричит непонятное. Вроде он лётчик, но ищет какого-то шкипера, который куда-то кинул кости. Может, это игра такая, про пиратов? В общем, просила зайти маму или отца.

О шкипере Соня слыхала, у братца – это тоже лётчик, сосед по самолёту, который, наверно, билет не купил, и его высадили. Но она промолчала. Не рассказала воспитательнице ни про врача, ни про таблетки. Зачем тревожить лишним, пусть не знает.

Соня вот тоже много не знает, отчего, например, мама, когда с папой ссорится, поёт в полный голос: – А ты не лётчик, а я была так рада любить героя из лётного отряда.

И папочка потом мрачнее тучи ходит, хмурится, злится и курит на балконе. Хотя странно, ведь он молодым – на лётчика учился, мама рассказывала, это сейчас на скорой по городу катается. Может, не про него песня?

Эх, взрослые секреты. Соня поджала губы, подложила ладонь под правую щеку, подтянула колени к животу – хотелось в туалет, но вставать было лень. Глаза слипались, но желание додумать, какую роль сыграл во вчерашней истории братец, оказалось слабее сна, и она решила додумать попозже. Пришёл Мурло, свернулся колечком под животом, заурчал. Пригрелся.

Вчера Илье – исполнилось четыре. Ждали бабушку и деда из далёкого Новосибирска. С момента рождения внука они не прилетали в Москву, а тут вот надумали.

- А как тебя зовут?
- Зови меня лётчик или друг, как тебе удобно.
- А ты настоящий?
- Конечно. Но меня нельзя потрогать, позже я покажу тебе, как я выгляжу, договорились?
- Холошо. Тогда давай играть в лётчиков, на каком самолёте полетим?
- На бомбардировщике. Это быстрая машина, кабина у него наклонена к земле, и он похож на утёнка, его так и зовут – «утёнок».
- Здолово.
- У тебя будет имя в воздухе – Шестьсот девятый.
- Шестьсот девятый – это номел самолёта?
- Нет, это позывной, будто прозвище, его дают лётчику вместо имени. На время.

Вера разобрала тарелки и включила посудомойку. Встрепенулся, прыгнул на пол и замер у двери Мурло. Она выпустила кота, нажала кнопку электрочайника, присела за стол. Девятый час. Володя ушёл в семь, на восемь у неё сработал будильник, и мужа уже не было. Ничего не взял.

Она вздохнула. Может, накручиваю, – полилось в голове, – с чего решила, что мужья уходят вот так, под утро, без разборок, шума, гневных высказываний и вещей. Может, обойдётся.

Родители Володи улетели восьмичасовым, утренним, она лично бронировала билеты на Новосибирск. А значит, он не поехал их провожать. Тогда куда?

Лицо её сморщилось, губы поджалась, невольно накатилась слеза. Вывод напрашивался один – ушёл. Тем более после вчерашнего.

– А ты не лётчик, – сорвалось так некстати накануне. Вера закусила губу. Хватит. Довела мужика своей дурью, пора уже утомониться, успокоиться.

Она пододвинула коробку с фотографиями. Старые фотки, времён её юности, тогда мало у кого были цифровые камеры. Снимки печатали в маленьких ларьках «Kodak Express», вставляли в рамки, клеили в фотоальбомы.

Сверху лежала та самая, которую берегла. И как Володя нашёл, ведь старалась запрятать поглубже. Вера подняла чуть пожелтевшую фотографию.

Худой, курносый юноша с россыпью пшеничных волос, улыбаясь, держал велосипед и обнимал Веру. Она совсем молоденькая, лёгкое светлое платье, чёрные коса на плече, солнцезащитные очки, она помнит – ей привезла тогда мама из Москвы. Модная штука.

За их спинами, на пыльной взлётной полосе громоздится красно-белая тушка самолёта. Як-52. Серебро пропеллера блестит в лучах солнца. Пепельная россыпь облаков в небе. Запах керосина от ангаров, тарыхтенье двигателей. В тот день у Кости был выпуск в аэроклубе. Он светился, едва не прыгал от счастья – подал документы в Краснодарское лётное, к брату. Володя уже два года как служил.

– А ты не лётчик, а я была так рада любить героя из лётного отряда, – гремела на веранде песня. За длинным столом шумели и гоготали курсанты-выпускники, что-то весёлое рассказывали раскрасневшиеся от вина инструктора, хихикали девочки, улыбался в густые усы начальник клуба, добродушный Полицарпыч.

Ветер принёс с поля аромат мяты и ночной свежести. Они с Костей пили шампанское на террасе клуба, танцевали и целовались до боли в губах.

Вера словно почувствовала вкус поцелуя, мягкость его губ, привкус вина, винограда и дешёвого сыра. Встрепенулась. Шестнадцать лет пролетело, а будто вчера.

Ночь тогда выдалась звёздная. Они брели по пыльной дороге, в густом июньском воздухе трещали без умолку цикады. Костя вёл велосипед и рассказывал о планетах и звёздах. Водил по небу рукой, словно указкой.

Мимо созвездия Девы,
Созвездий Льва и Весов,
Несётся по тёмному небу
Созвездие Гончих Псов.

Вера запомнила те строки, знала, что не его. В то лето ей исполнилось пятнадцать. Она придумала историю про краеведческие изыскания и отпросилась на месяц к бабке. В Чингис, тихое село на берегу Оби. Бревенчатый домик у широкой воды, храм Петра и Павла в строительных лесах голубым куполом выглядывал с острова.

Костя жил у родственников, на дальнем краю деревни. Это был месяц безумства и счастья. Они загадали подать заявление, как только она окончит школу. И разлетелись словно птицы. Он в Краснодар. Она, после десятилетки, в Новосибирск.

Клубится, шурша по следу
Космическая пурга.
Комету ль псы преследуют?
Иль гонят во тьме врага?

Веру гнало время. Ей казалось, ещё немного, и счастье забьётся переливами в груди – я добьюсь, сумею, ухвачу, преодолею и стану. Когда поступила в универ, интерес к биологии перерос в жгучую страсть. Ей казалось, впереди ждут неизведанные формы жизни, и тратить время можно и нужно – исключительно на науку.

После очередного зачёта она вспоминала русого мальчишку с глазами цвета утреннего неба. Возгоралась тлевшая любовная искорка, и она строчила «В контакте» радостно-возвышенные сообщения. Он отвечал, и она задышалась от позабытого счастья.

Но едва подступали очередные зачёты и сессии, густой туман науки окутывал разум, забирал без остатка свободное время.

Кто же знал, что в душе она повар.

Перед Новым годом совершенно неожиданно появился Володя. Заскочил с приветом от брата. В руке тортик, из шинели выглядывает шампанское. Крепко сбитый, с шеей борца и короткой стрижкой. Мощный, решительный. Словно фокусник выудил из-за спины букет нежно-кремовых роз. Тягучий медовый аромат. Она и забыла, что такое получить цветы. Вернее, никогда и не знала.

Володю выперли из училища. Какое-то несоблюдение регламента полёта. Теперь гражданский. Пахнущий табаком и морозной свежестью. Вера и глазом не успела моргнуть, как закрутил, закружил и затянул водоворот нервно пульсирующего желания. И напор Володи оказался столь стремителен, что через полгода они поженились.

Летят по вселенной псы...
Горят причудливо краски,
И, как ни мудра голова,
Вы всё-таки верьте сказке.

Вера не верила в сказки, жизнь рисовала для неё сюжеты если не хоррора, то серьёзной семейной драмы.

Со дня свадьбы перестали общаться братья. Костя наговорил жениху грубостей по телефону, тот изорвал в ответ совместные фотографии, заявил, что отныне – брата у него нет. Запретил о нём вспоминать. Вера стала немой свидетельницей вражды. Родители Володи и Кости, старики, заслуженные учителя, математик и русичка, мужественно, словно оборону, держали нейтралитет – в гости не ездили, к себе не звали. Уговорились лишь раз, на пятилетие Сонечки. И вот ещё вчера...

Вера посмотрела на белобрысое, улыбающееся лицо с фотографии. Потекли противные слёзы. Заныло предательски сердце. Четыре года как не стало Кости. Растворился навсегда в безоблачном небе Сирии.

Сука – жизнь, но чудо – любовь, сказал он на последней их встрече. Проездом был в Москве. Вера была уверена, он прилетел специально. Будто чувствовал что.

– Я вот не могу тебя из головы выбросить, хоть режь меня, дурака, – смеялся Костя. Она тонула в синеве его глаз.

– Ты в каждом восходе солнца передо мной встаёшь. Знаешь почему?

Она коснулась его спины. Узкие плечи юноши, ключицы холмиком, он совсем не изменился, ни фигурой, ни лицом. Лишь морщинки вдоль скул. Жёстче взгляд.

– Нет. Расскажи.

– Глупая. Фотка твоя на приборке, в кабине. Ты вот знаешь, например, что перед вылетом лётчику нельзя бриться, примета плохая.

– Не слышала ...

– Есть такой парадокс. Так я каждое утро бреюсь, потому что не могу перед тобой в щетине предстать. А Ванька, второй пилот, злится, говорит, я – дурак я, и крестится. А у самого иконка в комбезе.

Прости, шептала Вера, прости, прости, прости... Боже, какая я счастливая... Как он любил меня...

Вчера Илюше исполнилось четыре.

Отец вернулся поздно. Сонечка так и не уснула, всё ждала. Это вот братец залёг на удивление рано, не приземлился ни разу с разбега в приготовленную для сна кровать, как раньше, со своими причитаниями, а взобрался тихо и уснул. Ну и хорошо. Пусть сопит себе на здоровье.

Стукнули дверки шкафа в коридоре, и Соня прислушалась. Родители сместились на кухню. Папа говорил негромко, сквозь прикрытую дверь доносились отголоски слов. Соня откинула одеяло, опустила ноги на прохладный пол. На цыпочках подкралась к двери, потянула чуть на себя.

– Ты же неверующий, Володь...

– Не знаю, Верунь, не знаю теперь. Как шарахнуло током с этим – шестьсот девятый горю, это ж его позывной, Кости. Не верил до того. Сука я последняя, Верунь, гад и подлец. Батя до сих пор нос от меня воротит. И поделом. Не знаю, будто в груди прожгло. Две службы отстоял в Покровской церкви. На коленях, Вер. Прощения не заслуживаю... но может, он всё-таки простит. И ты прости, Верунь, прости...

– Дурачок. Это ты меня прости... прости за всё.

Сонечка не поняла, почему папа стоит на коленях и целует маме руки, а та гладит его по голове. И почему родители плачут словно малые дети, а может, с дедом или бабой что случилось, или братец всё же – инопланетянин?

Соня уловила вздохи, шуршанье, чмоканье. Ох, уж эти взрослые секреты. Она закрыла тихонько дверь и вернулась в кровать. Братец улыбнулся во сне и что-то пробормотал, и Соне показалось – пожелал ей спокойной ночи.

Уильям Эрнст ХЕНЛИ

ЧТО ВСПОМНИТСЯ – ВЕРНЕТСЯ

Предисловие, составление и переводы Андрея Корчевского

Уильям Эрнст Хенли принадлежит к плеяде литераторов, чья судьба и творчество в значительной мере поросли той самой травой забвенья. Русскому читателю, по крайней мере, это имя практически неизвестно. Тем не менее случай Хенли показывает, как история способна, уподобясь лучу прожектора, выхватить лица, судьбы, тексты из второго или даже третьего ряда авторов, демонстрируя относительность иерархии имен, которая замещается неким всеобщим литературным голосом эпохи.

Хенли родился 23 августа 1849 года в Глостере; его отец был не слишком успешным книготорговцем и издателем, а мать происходила из рода Джозефа Уортона, поэта и критика, друга Самуэля Джонсона. Юный Уильям обучался в местной школе, наставником в которой был поэт Томас Браун, экстравагантно сочинявший на так называемом манкском языке, редком англо-гельском диалекте, бытовавшем на острове Мэн. С раннего детства Уильям страдал костным туберкулезом, приведшим к хромоте; мальчик чудом не лишился ног. Болезнь наложила отпечаток на образ, поведение, судьбу Хенли. Кстати, молодой человек получил литературную известность, опубликовав цикл «больничных» стихов, в которых с документальной скупулесностью описывается обстановка госпиталя и процесс лечения. Хенли между тем был вынужден справляться с жизненными обстоятельствами: он хром, его единственная профессия – литература, и ему необходимо заботиться не только о молодой жене, но и об овдовевшей матери и братьях. Уильяму удается многое: он получает известность как журналист, его стихи встречены с одобрением и интересом (хотя и не производят революции), а со временем Хенли берется за более масштабные предприятия – он создает и редактирует несколько популярных британских литературно-художественных журналов.

Оксфордский биографический словарь так описывает поэта: «Хенли был высоким, хорошо сложенным человеком с крупной головой и шапкой желтовато-рыжих волос, часто взъерошенных и стоящих дыбом над его лбом, и с короткой рыжеватой бородкой (в которую позднее закралась седина); его ярко-голубые глаза были сильно близоруки. Именно сильная личность Хенли, его блестящие речевые способности – вот что впечатлило его современников и позволило ему достичь влияния, которое к моменту его смерти сравнивали с влиянием Самуэля Джонсона».

Уильям Хенли долгое время находился в самой гуще литературной жизни острова и всей Европы. К примеру, он сохранял близкие дружественные отношения с Робертом Луисом Стивенсоном. Именно Хенли явился прообразом одного из культовых героев – хромого капитана Джона Сильвера из «Острова сокровищ». Между тем дружба Стивенсона и Хенли закончилась разладом – безжалостный критик Хенли публично обвинил в плагиате жену Роберта, американку Фанни, которая якобы опубликовала под своим именем чужой рассказ; друзья так и не примирились.

Личная жизнь Уильяма Хенли между тем продолжала быть источником трагедий. В сентябре 1888 года родилась его дочь Маргарита Эмма Хенли, с которой у поэта были связаны многие надежды на будущее. Девочка умерла 11 февраля 1894 года в возрасте шести лет от менингита, что стало глубокой трагедией для Хенли, отразившись на всем его творчестве. Интересно, что Маргарита Эмма за свою короткую жизнь тоже успела послужить литературному вдохновению – она появляется как Редди в романе Джеймса Барри «Сентиментальный Томми» (1986), и затем как Венди в знаменитом «Питере Пэне» того же автора (1904).

Стихи Уильяма Хенли – его главное художественное наследие. Он, безусловно, владел формой стиха, оставив нам многочисленные баллады и опыты в такой сложной строфике, как триолет и вилланель. Его образная система выглядит несколько архаичной для своего времени, но у него были и очевидные прорывы – как в уже упомянутом больничном цикле, и в его последней работе, «Песнь скорости» (1903), которая в какой-то мере вызывает в памяти «Поэму воздуха» Марины Цветаевой. В поэзии Хенли романтическая приподнятость тематики противостоит определенной холодности, рассудочности автора, словно отстраненного от собственных строк.

Самое известное стихотворение Хенли было написано в 1875 году, когда Уильям еще вел свои больничные сражения. Название стихотворения – *Invictus* («Непобедимый») – было привнесено посмертными редакторами. Этот текст – формула противостояния мировой тьме, провозглашение силы человеческого сердца – воспринимается несколько декларативно, обобщенно, надличностно. Однако *Invictus* стало одним из самых известных английских стихотворений, вошло в бесчисленные учебники и хрестоматии. Именно «Непобедимого» заучил наизусть и читал вслух в своей камере Нельсон Мандела. Именно это стихотворение продекламировал Барак Обама над могилой Манделы в ходе церемонии его похорон.

Предлагая читателям «Волги» несколько избранных переводов Уильяма Эрнста Хенли, я надеюсь, что интерес к его наследию будет возрастать. «Настанет свой черед» и другим произведениям этого автора. Стихи Хенли, интересные в контексте его биографии, предлагают всем нам важные уроки взаимопроникновения поэзии и судьбы, которые не менее важно усвоить сегодня, как это было более чем на столетие раньше.

Сорви же розу, розу мне,
В последний раз, быть может,
Ведь их цветенье по весне
Зимы предвестья множит.

Когда мечты солгут, солгут,
И мир надежд разрушен –
Червь сожаленья тут как тут,
Он точит наши души.

Но нам в любви, любовь моя,
Попрать не довелось ли
Обыденность небытия,
Тьму прежде нас и после?

А розам – свой черед, черед,
Свой срок для птиц и солнца.
Что ждет – Бог весть, что есть – пройдет,
Что вспомнится – вернется.

O, gather me the rose, the rose,
While yet in flower we find it,
For summer smiles, but summer goes,
And winter waits behind it!

For with the dream foregone, foregone,
The deed forborne for ever,
The worm, regret, will canker on,
And time will turn him never.

So well it were to love, my love,
And cheat of any laughter
The death beneath us and above,
The dark before and after.

The myrtle and the rose, the rose,
The sunshine and the swallow,
The dream that comes, the wish that goes,
The memories that follow!

Явление пациента
(из цикла «В Госпитале»)

Рассветный дым клубится там и тут,
Сквозит озноб по летним мостовым;
Вот Госпиталь – стар, сер и недвижим,
Здесь Жизнь и Смерть по-свойски торг ведут.
Сквозь гулкий вестибюль, где скуден свет,
В приемный зал проходит предо мной
С подвязанной, подвешенной рукой
Дитя, взрослее бед и старше лет.
За ней хромаю, оглушен вполне;
Седой солдат-служитель машет мне,
И я вхожу, как робкий грешник в храм –
О, что за тягостный, суровый норов
У голых лестниц, зябких коридоров:
Работный дом с тюрьмой напополам.

Enter Patient

The morning mists still haunt the stony street;
The northern summer air is shrill and cold;
And lo, the Hospital, grey, quiet, old,
Where Life and Death like friendly chafferers meet.
Thro' the loud spaciousness and draughty gloom
A small, strange child – o aged yet so young! –
Her little arm besplinted and beslung,
Precedes me gravely to the waiting-room.
I limp behind, my confidence all gone.
The grey-haired soldier-porter waves me on,
And on I crawl, and still my spirits fail:
tragic meanness seems so to environ
These corridors and stairs of stone and iron,
Cold, naked, clean – half-workhouse and half jail.

Я женщине отдал сердце,
Взамен не взяв ничего.
Она над ним посмеялась всласть
И бросила наземь его.

Бросила сердце к своим стопам,
Втоптала в мертвую пыль,
И оно разбилось – и целый ад
В каждом осколке был.

Лежали осколки – их солнцепек
Палил, и ливень хлестал.
Но каждый – когда обернулась она –
Песней ожившей стал.

I gave my heart to a woman –
I gave it her, branch and root.
She bruised, she wrung, she tortured,
She cast it under foot.

Under her feet she cast it,
She trampled it where it fell,
She broke it all to pieces,
And each was a clot of hell.

There in the rain and the sunshine
They lay and smouldered long;
And each, when again she viewed them,
Had turned to a living song.

Invictus

Из мрака ночи, что опять
Царит над сферой земной –
Каким богам мне дань воздать
За дух непобеждённый мой?

Стечением обстоятельств взят
В тиски, на тропах бытия –
Был неудачей бит стократ,
Но ей не поклонился я.

Хоть этот мир – лишь гнев и гнет,
А тот – лишь ужаса стезя,

Но тем, как быстро жизнь течет,
Мне в сердце страх вселить нельзя.

Пусть с каждым днем врата тесней,
И свиток суд вершит в тиши:
Я – суверен судьбы своей,
Я – капитан своей души.

Invictus

Out of the night that covers me,
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud,
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find me, unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

Посвящение У.Б.¹

Чуть стемнеет, Соловей
Розу славит, сердце ед,
Хоть известно: все бледней
Лик ее, что им воспет, –
И сиять осталось ей
Так недолго, не секрет.
Петь, мой свет,
Смысла нет:
Где те двое – Соловей
С Розой прежних лет?

¹Примечание переводчика. Я не смог найти расшифровки этих инициалов, но догадываюсь, что У.Б. был Уилфридом Блантом (1840-1922), английским поэтом и другом Хенли.

Но не молкнет Соловей,
Роза льнет к нему в ответ:
Ведь Любовь и Жизнь сильнее
Тишины, разверстой пред
Теми, кто в потоке дней
Безыскусный ткал сюжет –
Верь, мой свет:
Смерти нет –
Жизнь с Любовью – Соловей
С Розой прежних лет.

To W. B.

From the brake the Nightingale
Sings exulting to the Rose;
Though he sees her waxing pale
In her passionate repose,
While she triumphs waxing frail,
Fading even while she glows;
Though he knows
How it goes –
Knows of last year's Nightingale
Dead with last year's Rose.

Wise the enamoured Nightingale,
Wise the well-belovèd Rose!
Love and life shall still prevail,
Nor the silence at the close
Break the magic of the tale
In the telling, though it shows –
Who but knows
How it goes! –
Life a last year's Nightingale,
Love a last year's Rose.

Златая лира – у соловья,
У жаворонка – кларнет.
Но тростниковой дудки дрозда,
По мне, прекраснее нет.

Ведь чистым счастьем нас с тобой
Он сбрызнул из полной чаши
И спел, как будто нитью сшил
Сердца и губы наши.

The nightingale has a lyre of gold,
The lark's is a clarion-call,
And the blackbird plays but a boxwood flute,
But I love him best of all.

For his song is all of the joy of life,
And we in the mad, spring weather,
We two have listened till he sang
Our hearts and lips together.

Баллада об умерших актерах
(памяти Эдварда Джона Хенли, 1861–1898)

Где страсти, что пылали в них?
Где реки слез, что зритель лил?
Где боль, забытая на миг,
И хохот, из последних сил?
Отелло гнев, Джульетты пыл,
Брак Тизла и Тимона крах,
Ромео тень среди могил –
Все, как один, ушли во мрак.

Под маскою – злодейский лик,
А под кольчугой пара крыл,
И враг в одеждах дорогих,
И друг (он и в лохмотьях мил),
Кровавых схваток фронт и тыл,
Война, парад, и трон, и прах,
И честь – мерило из мерил –
Все, как один, ушли во мрак.

Пал занавес, и гвалт затих:
Бедняк близ Цезаря почил;
Спит Ложь средь Истин прописных,
И Рок средь проклятых Сивилл.
Где досок стон и пенье пил?
Где ножен блеск и ножек взмах?
Кто помнил нас и кто забыл –
Все, как один, ушли во мрак.

Посылка

Мой принц, средь подставных светил,
Картонных стен, мишурных драк -
Увы, Героев след простыл:
Все, как один, ушли во мрак.

Ballade Of Dead Actors
I. M. Edward John Henley (1861–1898)

Where are the passions they essayed,
And where the tears they made to flow?
Where the wild humours they portrayed
For laughing worlds to see and know?
Othello's wrath and Juliet's woe?
Sir Peter's whims and Timon's gall?
And Millamant and Romeo?
Into the night go one and all.

Where are the braveries, fresh or frayed?
The plumes, the armours-friend and foe?
The cloth of gold, the rare brocade,
The mantles glittering to and fro?
The pomp, the pride, the royal show?
The cries of war and festival?
The youth, the grace, the charm, the glow?
Into the night go one and all.

The curtain falls, the play is played:
The Beggar packs beside the Beau;
The Monarch troops, and troops the Maid;
The Thunder huddles with the Snow.
Where are the revellers high and low?
The clashing swords? The lover's call?
The dancers gleaming row on row?
Into the night go one and all.

Envoy

Prince, in one common overthrow
The Hero tumbles with the Thrall:
As dust that drives, as straws that blow,
Into the night go one and all.

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ-17

(В русском жанре-77)

”

В той книге я, читать ещё не умея, полюбил картинки художника Николая Кузьмина. Та книга – «Железная воля» Николая Лескова издания 1945 года. В войну, после републикации в 1942 году в «Звезде», эту, лишь однажды (1876) напечатанную в еженедельнике «Кругозор» и забытую еще при жизни автора повесть многократно переиздали.

Не помню уже когда, но помню, с какого именно места «Железная воля» сделалась мне необходима, наверное я уже был студентом. В самом-самом начале рассказчик говорит: *«Извините меня, вы все стали такая не свободная направленная узость, что с вами живому человеку даже очень трудно говорить. Я вам простое дело рассказываю, а вы сейчас уже искать общий вывод и направление. Пора бы вам начать отвыкать от этой гадости, а учиться брать дело просто; я не хвалю моих земляков и не порицаю их, а только говорю вам, что они себя отстоят, – и умом ли, глупостью ли, в обиду не дадутся; а если вам непонятно и интересно, как подобные вещи случаются, то я, пожалуй, вам что-нибудь и расскажу про железную волю»*.

Не преувеличивая, скажу, что эти слова старика Федора Афанасьевича Вочнева стали моим жизненным кредо, другое дело, сумел ли я его всегда отстоять.

А перечитывая неоконченную повесть Пушкина «История села Горюхина», я остановился там, где Белкин вспоминает: *«Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые незамеченные красоты»*. И тут же вспомнил, что у меня есть «Новейший письмовник»¹, купленный именно из-за иллюстраций Кузьмина.

«Конечно, знаменитый и никому не известный Курганов должен был заинтересовать Пушкина. Николай Гаврилович Курганов (1725–1796) – талантливый самородок, солдатский сын, пробиравшийся благодаря своим способностям и трудолюбию в науку и в двадцать лет получивший звание “ученого подмастерья”, а в тридцать девять – профессора математики и навигации, – не был профессиональным литератором. Он оставил много книг учебного содержания; его “Универсальная арифметика” сменила знаменитую “Арифметику” Магницкого, по которой постигал науку Ломоносов. “Письмовник” – это его отдохновение от профессорских трудов, любимое дело, в которое он вложил, кроме знаний, много душевной теплоты и не переставал от издания к изданию дополнять и совершенствовать».

¹ Точнее, в 1976 году Худлит издал лишь один раздел из огромного тома Курганова, бывшего в библиотеке самого художника, который в предисловии (случай нечастый), рассказывает о феномене Курганова.

Николай Кузьмин был не только, по словам Корнея Чуковского, «самый литературный из всех наших графиков», но и незаурядный писатель. Вот как дивно начинается его книга о детстве «Круг царя Соломона»:

«– Бабушка, подлей молочка.

Бабушка подольет, но непременно скажет:

– А ты, Колюшка, зачерпывай молочка поменьше, а каши побольше: молочко-то нынче шильцем хлеблют».

Да и весь рассказ о первой поре жизни уездного мальчика это увлекательная история личности в городке Сердобск.

А в 1909 году он послал свои рисунки в журнал московских символистов «Весы»¹. Рисунки понравились В.Я. Брюсову, и их напечатали.

И вся его дальнейшая жизнь это череда... нет, не успехов, хотя были в ней и Гран-при и Большая Золотая медаль Всемирной выставки в Париже (1937) за иллюстрации к «Евгению Онегину», и звания, но дело не в этом. Меня поразило, что в его жизни как бы не было провалов, да и просто неудач, а была такая ровная и красивая дорога, что и прожил-то он 96 лет и ровно столько же его жена, создававшая дивно-праздничный мир в своих работах художница Татьяна Маврина. И повоевать успел: четыре ордена за храбрость в Первую мировую. И у красных послужил. И с братьями-художниками дружил, создал успешнейшую группу «13», чью первую выставку в 1929 году официальная критика заклеила как буржуазно-индивидуалистическую, потому что художники боролись с утомительно обязательным академизмом в искусстве, а впереди уже маячили образцы соцреализма. В этой группе были и тесно связанные с Саратовом Даниил Даран, Владимир Милашевский, Валентин Юстицкий. Большинство были графики, обладавшие неповторимым художественным почерком, который вырабатывался не в расхожей болтовне, которой бывают наполнены мастерские, а в следовании самим выработанным профессиональным принципам. Вот что написал Кузьмин о Милашевском, узнав от Дарана, что тот *«теперь спичкой рисует»*. – Какой спичкой? – Ну, спичкой, простой спичкой из спичечной коробки. Макает во флакончик туши – и всё. <...> Я вспоминаю в классах рисования мучеников системы, работавших, поминутно проверяя себя ответом...<...> Я вспоминаю замечания профессоров: «фигура не стоит», «валится», «а пропорции?», «колено не нарисовано», «ракурс передать не сумел», «анатомия подгуляла» – испытанные приёмы школьной дрессировки...<...> Но вот чего я никогда не слышал на уроках рисунка ни в Школе поощрения, ни даже в весьма передовой школе Званцевой, где преподавали Добужинский и Петров-Водкин, – это понятия о темпе рисунка (термин, который ввёл в обращение в наших разговорах В.А. Милашевский). <...> «направление и состав первой выставки «13» определялись всё тем же принципом темпа»».

Приведённая цитата из книги: В. Милашевский, «Вчера, позавчера...» (1989), в которую я давно не заглядывал, а сейчас там обнаружил три письма самого художника², когда-то выловленные мной в куче мусора.

Письма адресованы Ольге Гладышевой, редактору отдела публицистики и очерка журнала «Волга». Почерк обычный, лишь обращение написано с завитушками.

«Посылаю Вам на просмотр редакции «Волга» одиннадцать своих новелл. <...> ...перемеживать их последовательность, это для меня нежелательно. <...> Очень возможно, что всё присланное мною редакции не понравится. В таком случае я очень прошу их переправить в Радищевский музей для некоего архива моего как художника-саратовца».

¹ По какой прихоти судьбы в 1964 году десятиклассником на зимних каникулах в Питере я купил журнал «Весы» именно за 1909 год?

² Вообще-то я в прошлом году отдал свой архив Алексею Голицыну. В моём почтенном возрасте спокойнее, когда такие документы, как письма, находятся в надёжном месте.

Ни в какой музей Гладышева, конечно, не обращалась, а по своему обыкновению молчала, о чём следующие два письма, где отчаявшийся старик просит *«написать мне два слова... В середине дела... Так мол, и так. Ваши новеллы из далёкого детства читают или не читают, или так как большинству членов редакционной коллегии Ваши записки активно – не понравились, то... “Не суйся с суконным рылом в калачный ряд”. Я понимаю эту старо-московскую поговорку. Ей богу, не из-за калачей я это писал! Калачи хоть и не очень обильные в другом месте получаю! Очень прошу в случае неудачи позвонить в Радищевский музей Эмилию Никол. Арбитману, чтобы он прислал за рукописями для Архива Рад. Музея. Уверен, что в 2000 году напечатают...»* И наконец в письме, датированном 14 декабря 1971 г., вновь просьба передать рукопись в музей.

Почему тогда Милашевского не напечатали, не знаю, а в моё же редакторство, и, к сожалению уже после смерти художника, «Волга» опубликовала обнаруженную его вдовой крайне неожиданную литературную мистификацию «Нэлли», якобы сочиненную Юрием Юркуном, известным не столько тем, что тоже входил в группу «13», сколько многолетним сожительством с Михаилом Кузминым.

Милашевский тоже владел пером, но совершенно в другом роде: его проза написана художником, что видно в каждой строке.

А вот о художественных работах ни Милашевского, ни Кузьмина не берусь сказать, не умею писать об изобразительном искусстве и уж не стану пытаться: что толку описывать изображение, сообщать о том, что там нарисовано. Скажу лишь, что нет для меня ничего насладительней настоящей книжной графики.

”

А теперь к Курганову. Писать о словесности не в пример проще, не приходится описывать нарисованное, можно просто процитировать.

Приведу несколько из «кратких замысловатых повестей».

«Подъячий сказал одному челобитчику: “Твой соперник дело своё перенёс в другой приказ”. А тот отвечал: “Пусть переносит хоть в ад; мой поверенный за деньги и туда за ним пойдёт”».

«Стряпчий, видя себя презираемого от президента ради его младости, сказал: “Правда, сударь, я молод, однако читал старые книги”».

«Во время обеда некто, захотя посмеяться над шутком, стоящим по другую сторону стола, спросил его: “Какая есть разность между тобою и дураком?” Шут отвечал: “Только стол”».

«Некоторый худой живописец, не могущий кормиться своею работою, уехал в чужие края и сделался лекарем. Но там, об сей перемене будучи вопрошён его земляком, сказал: “Мне захотелось промышлять искусством таким, в котором все погрешности покрываются землею”».

”

Мой младший сын, с которым я вместе живу, очень не любит цитирования, и я, едва зачешется на языке подходящая ссылка, сразу его, язык, и прикусываю. Но в своих текстах не избегаю.

Если есть у меня читатель, то он вероятно заметил, что я нередко обращаюсь памятью к многолетнему другу, давно ушедшему Илье Петрусенко, у которого я многому научился. И тот же внимательный читатель, для которого я собственно и пишу, мог обратить внимание на мою склонность, даже пристрастие, а может и просто привычку, к уподоблению книжного житейскому и наоборот. Во многом это проявляется в частом цитировании, которым вообще помечено моё поколение. Жонглирование цитатами, ну, из Ильфа и Петрова, превращалось прямо-таки в разгул, когда один-два самых задорных могли превратить уютное застолье в ожесточённую схватку.

Мой друг не больше других был привержен цитациям, но любил к месту припомнить какие-то строки. Как-то в письме с военных сборов, рассказывая, как занемог после бега в противоборстве, писал мне: «Только теперь я понял строки Блока: “Ты отходишь в сумрак алый, в бесконечные круги...”»

Может показаться, что у меня с Илюшей литературные оценки были близки до одинаковости, но это не так.

Вот пример из рассказа О. Генри «Маятник», где он видел тонкий юмор, а я только фальшь. Судите, кому что.

«Кэти встретит его у дверей поцелует, пахнущим кольдкремом и тянучками. Он снимет пальто, сядет на жесткую, как асфальт, кушетку и прочтет в вечерней газете о русских и японцах, убитых смертоносным линотипом. На обед будет тушеное мясо, салат, приправленный сапожным лаком, от которого (гарантия!) кожа не трескается и не портится, пареный ремень и клубничное желе, покрасневшее, когда к нему прилепили этикетку: “Химически чистое”».

Это разногласия еще юношеские, я еще не знал справедливой оценки О.Генри М.Горьким: «писатель, утешающий продавщиц и клерков надеждами на счастье; замужество или женитьбу на богатых».

А много позже мы разошлись в отношении Ивлиева. Дополнительную краску здесь добавляет то, что большой том англичанина Илья купил, а мне его подарил составитель и автор предисловия Гога Анджапаридзе. Но если о простейшем американском юморе О.Генри несложно судить, в отношении Ивлиева признаюсь, что видимо мне просто недоступна вся тонкость его британского юмора.

Возвращаясь же к ИЗО, могу лишь повторить сказанное о наших с ним литературных вкусах: общность, изредка нарушаемая частностями.

...

В прошлой, 16-й «Запяттой» я обратил внимание, что вольно или невольно соединяю в пары тех, о ком пишу. Там речь шла о писателях, а сейчас вышла пара: Кузьмин – Миласевский. Почти ровесники, коллеги, дружны в жизни, связаны с Саратовом.

Но ведь и у Курганова намечается напарник: в описаниях Кузьминым сердобского детства возникает фигура бриллиантового князя¹, описание Надеждино на берегу реки Сердоба в окрестностях села Куракино Сердобского района.

Говорливый старичок «загвоздил мне голову своим “бриллиантовым князем”»: “И всё придумывал, чем бы ему форснуть, чем ещё спесь свою потешить, очень любил шик, любил фасон, любил выхвалку. Целый флот завёл на Хопре, для потехи. Сам за адмирала в морском мундире, в руках подозрительная труба, на каждой шлюпке по капитану, все матросы в форменной одежде, <...> Ну, и по бабьей части, само собой. Чревобесие – матери блуду. Метресс этих содержал не одну, не две, не дюжину, а целую команду. И своих – крепостных, и нанятых. <...> император всем его бастрюкам дворянское звание пожаловал – а он их со скуки да от нечего делать семьдесят штук наплодил! – Что-то уж больно много – семьдесят человек потомства! – Да ты сам разочти: в молодых-то годах, да при вольных бабах! Дурацкое дело нехитрое”».

Однако, он и в самом деле был неправдоподобно и безнаказанно богат.

Князь Александр Борисович Куракин (1752–1818) русский дипломат из рода Куракиных, вице-канцлер (1796), член Государственного совета (1810), сенатор, канцлер российских орденов (1802),

¹ Удивительно, но это определение я узнал, едва научившись грамоте – дома была книга «Бриллиантовый князь». Удивителен год издания в Саратове этого романа Бориса Неводова – 1941! Между прочим саратовские писатели знали, что в гражданскую войну Неводов был у белых.

действительный тайный советник 1-го класса (1807). Создатель усадьбы Надеждино и владелец Куракиной дачи к востоку от Петербурга. За «искусную представительность» и пристрастие к драгоценностям прозван «бриллиантовым князем».

Когда-то ко мне попали¹ два тома, изданных его правнуком, бумаг семейного архива (Саратов, 1893), заглядывал в них неоднократно, но где уж прочитать...

И Курганов жил в ту же эпоху, и насколько же разны их жизни, и как мне по сердцу, что оба сошлись под моим пером...

”

Мой старший сын, подполковник МВД в отставке, работает судебным экспертом, в его специализацию входит и почерковедение. Приводимая цитата его озадачила.

«Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою. Сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого рода писем, челобитьев, партикулярных папшпортов и т.п. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучался писать правою ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны» (А.С. Пушкин. История села Горюхина).

Впрочем, сказал сын профессионально, если некий жулик сумел обеими руками писать, отчего бы и ногой не научиться.

А от себя скажу, что вновь убедился, что у Пушкина и в самом деле есть ВСЁ.

2022

¹ Не подумайте плохого, меня в перестроечные времена пригласили на разборку фондов Саратовской областной библиотеки, где два тома из балашовской библиотеки саратовских коллег не заинтересовали.

Алексей ПАРЫГИН

БОГЕМА
(записки художника)

Моя богемная жизнь началась примерно через год после возвращения из славной Советской армии в Ленинград. 27 марта 1986 года я въехал, точнее, просто вошёл в свою первую мастерскую – мансарду поставленного на капитальный ремонт дома № 9 по Литейному проспекту. Классическая по внешнему виду, со скошенными у окон стенами, мансарда – бывшая коммуналка, находилась на шестом этаже наполовину расселённого флигеля во внутреннем (самом дальнем) дворе дома. Аккуратно вскрыв монтировкой двери покинутой хозяевами квартиры и врезав свой замок, я потихоньку обжился, соорудив из фанеры и разных палок простенький стол, и кровать из принесенных ящиков, досок и вещей из ближайших брошенных комнат.

Идею вселения в пустующую квартиру я перенял от своего институтского однокурсника Лёни Кипарисова, оккупировавшего соседнюю мансарду. Он, в свою очередь, освоил подобный способ решения квартирного вопроса через художника-нонконформиста Евгения Тыкоцкого, будучи короткое время его учеником. Тыкоцкий, как и ещё несколько художников-неформалов, занимал мастерскую в этом же доме, но в первом дворе, ближе к проспекту.

Насколько помню, свершившееся событие мы с Мариной отметили бутылкой болгарского красного вина «Бычья кровь», купленного в ближайшем к дому гастрономе. Густое было вино.

Узкая лестница, шумный, ещё работающий лифт. Тяжелая дверь. Коридор, комнаты, в моём распоряжении их оказалось четыре. Электричества нет, точнее нет света, а электричества слишком много, так что каждая вновь вкрученная лампочка моментально перегорает. Все окна выходят во двор, смотришь – скользишь взглядом по облупившейся стене напротив. Оконные стёкла – блёкло отражающие небо. В комнате витает ленивое облако табачного дыма. Я курю сигареты. По пачке в день. Отопление уже отключили, поэтому воздух, как и все предметы вокруг, слегка отдаёт промозглой сыростью. Особый воздух. Совсем рядом, если перейти через Литейный проспект, возвышается мрачная громада «Большого дома». Плацдарм ленинградского КГБ и по совместительству памятник конструктивизма 1930-х годов. Художники часто шутят про такую близость. Некоторые из них, впрочем, одержимы подозрительностью и почти шепотом, но неопределённо, говорят про стукачей, которые везде есть, и что всё неслучайно. Зато поблизости была отличная пельменная.

Из мансардных достопримечательностей – отсутствующий унитаз. Кто-то его свинтил, ещё до моего появления в доме. На месте гипотетического фаянса зияет уходящая в бездну дыра, а из кранов рукоятника течёт исключительно горячая вода. Холодной нет вовсе, чтобы не обжечься, мыться приходится на скорость. С лестницы есть выход на чердак и выше, где ветер и много неба. Покатая, рыжая от ржавчины крыша, сидя на которой я делаю зарисовки уходящих за Неву, до Петропавловской крепости, окрестных ландшафтов.

Я немного меломан. Помню, что в новую мастерскую привёз компактный магнитофон «Sony», бобинный, на котором кроме The Who, The Beatles и Led Zeppelin был записан ранний «Аквариум». С точки зрения композиционной структуры и впечатлений от звукового строя, англоязычная музыка привлекала меня больше отечественной, особенно Pink Floyd: *The Dark Side of the Moon* (1973); *Wish You Were Here* (1975); *Animals* (1977) и более ранние их диски. Пожалуй, Pink Floyd повлиял на направленность моих интересов в искусстве и творческого почерка не меньше, чем живопись Рембрандта, Сезанна или Ван Гога, Моранди или Раушенберга. Скорее, гораздо больше.

В мастерской на Литейном проспекте я рисовал с натуры и сочинял свободные вариации на разные темы. Освоил горячий батик. В формальных сконструированных композициях много экс-

периментировал с различными красителями и рисующими материалами (от жировых и прочих мелков и акварели в тубах до анилиновых порошков). С большим интересом придумывал и опробовал неклассические приёмы и техники создания изображения. От граттажа до автоматического письма и набрызга.

В сторону опытов и пластических языковых экспериментов меня подталкивали и мои литературные пристрастия. Тогда я читал «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера. Используемая автором романа грубая и нелитературная, внешне простая стилистика потока сознания увлекала, приём представлялся крайне современным и точным. Впрочем, такая работа носила несистемный, часто разовый характер проб и опытов. Но в итоге свежего материала набралось на небольшую квартирную выставку, которую я вскоре и устроил на своём новом месте, пригласив на импровизированное открытие друзей-приятелей.

Одним из культурно-значимых мест Ленинграда середины 1980-х годов по праву числился кинотеатр «Спартак», находившейся поблизости на улице Кирочной, 8 – в здании бывшей лютеранской церкви Святой Анны (впоследствии сгоревшей). Сюда мы любили ходить вдвоём с Мариной или компанией по вечерам, смотреть кино из фильмофонда: «Орфей» (1950) и «Завещание Орфея» (1960) Жана Кокто; фильмы Андрея Тарковского – «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974), «Сталкер» (1979). Здесь я впервые посмотрел немые архивные фильмы – «Кино-глаз» (1924), «Человек с киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова; сюрреалистический «Андалузский пёс» (1929) Луиса Бунюэля. Прав был классик марксизма, кино, действительно, важнейшее из искусств.

Тем временем, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв, предвещающий наступление нового финального для СССР исторического отрезка. Впрочем, об этом тогда мало кто догадывался. Но «ветер перемен», так или иначе, чувствовали все. Насколько я помню, ставшая знаменитой песня Виктора Цоя «Перемен!» первый раз прозвучала в мае 1986 года на концерте очередного фестиваля Ленинградского рок-клуба на Рубинштейна. По иронии судьбы, в мае того же года генсеком Михаилом Горбачёвым во время визита в Ленинград, на встрече с местным партактивом КПСС был впервые озвучен термин «перестройка». События любопытны контрастными сопоставлениями. Верхи не могут, низы не хотят.

В начале мае мы ещё успели шумно, бездумно и весело – прогулками по крыше и карнизам с шампанским, отметить день рождения Марины. Но всему свой срок. Магнитофон вместе с другими хорошими вещами вскоре украли бомжи, взломав двери этой самой мансарды. Дом умирал. Пришлось пуститься на поиски лучшего места (впоследствии, при реконструкции, мансардный этаж был полностью снесён).

Первый опыт жития в расселёнке оказался крайне коротким, но важным, хоть и продлился немногим более двух месяцев. С тех пор моя биография, в том числе личная история, неразрывно связана с мастерскими – пространством личной свободы под хмурым питерским небом.

В пятнадцати минутах ходьбы от мастерской, на Литейном, на углу Невского и Владимирского проспектов находилось кафе «Сайгон», ставшее своего рода центром тусовочного мира Ленинграда. Как-то раз, в конце 1986 года, встретившись в нём за очередной маленькой чашкой двойного крепкого чёрного кофе с моим приятелем Толей Ясинским, мы решили организовать арт-группу, получившую условное название (по первой выставке) «Союз № 0». Не обретшая громкой славы (просуществовавшая до 1989 года), она объединяла носителей различных эстетических устремлений и не имела чёткой структуры. Главная идея: полная свобода выражения своего мировосприятия, стирание догматов и идеологических границ в искусстве. В неё входили молодые художники, фотографы и поэты, увлечённые русским и европейским авангардом и любовью к формально-пластическому эксперименту в искусстве. Кроме меня и Ясинского основными участниками проекта числились: Андрей Вермишев, Саша Борков, Костя Кубланов, Саша Федоров. В ряде спонтанных выступлений-перформансов делалась попытка соединения визуального и вербального (поэтического) материала. Было интересно.

Иногда мы путешествовали. С 27 февраля по 2 марта 1987 года небольшой институтской компанией побывали в Вильнюсе, на празднике Казюкас и многолюдной двухдневной ярмарке. Там

я продал несколько своих совсем небольших графических работ. Прибалты оценили. Окупил расходы. Ездили поездом, в дешёвом плацкартном вагоне.

В 1987 году образовался сквот «Невский-25». Технически таким же образом, как и мастерская на Литейном проспекте – самозахватом с локальным применением физической силы при посредничестве монтировки. Сохранилась конкретная дата – 13 марта 1987 года, пятница. Никаких коммерческих или иных отношений с местными властями или ЖЭКом у меня принципиально не было. В ежедневнике на странице за этот день зафиксирован занятый перечень предметов первой необходимости, составленный при заселении: спички, мыло, свечи, полотенце, занавески, пробки, лампы, патрон...

Известный многим петербуржцам дом №25 по Невскому проспекту, находящийся на углу с Казанской улицей (в то время ул. Плеханова, 1) неоднократно перестраивался. Только в 1840 году корпус Воронихина (он первый архитектор здания) был надстроен и объединён стилистически единым фасадом с корпусом на Невском проспекте архитектором П.С. Плавовым. Наконец, в 1933 году дом Казанского собора был надстроен четвёртым этажом, сооруженным по проекту архитекторов И.Г. Капцюга и Д.П. Бурышкина. Именно на этом этаже находилась захваченная мной мансарда, начинавшаяся длинным коридором, от которого в разные стороны отходило девять комнат и кухня. В недалёком прошлом коммунальная квартира № 20 поставленного к тому времени на капремонт, но ещё не полностью расселённого дома. Примерно через месяц к нам с Мариной присоединился Лёня Кипарисов.

Часть окон занятой квартиры выходило в небольшой внутренний двор, часть на Казанский собор, а часть на перспективу Невского проспекта и лютеранскую церковь святых Петра и Павла. В кирхе в то время функционировал бассейн, где я впоследствии регулярно плавал кролем и брассом.

Обустроились мы достаточно быстро. Неброские обои. Дощатый пол. Потолки около четырех метров. В своей комнате, с видом на Дом книги и сквер Казанского собора с густыми кустами сирени, я сконструировал широкую и жёсткую кровать, расположив её посередине комнаты у стены. Напротив неё, закрепленная на деревянных кронштейнах, находилась плоскость небольшого обеденного стола, укрытая полосатой клеёнкой. Чай заваривали кипятильником в литровой банке. Торжество бытового аскетизма.

Слева у окна находился письменный стол, за которым я работал с печатной графикой, как правило, вечерами и ночами. Тогда ночь выступала моим союзником в художнических делах. На стене на булавках висела репродукция с картины «Портрет доктора Феликса Рея» Винсента ван Гога. Широкий подоконник заполняли разномастные ёмкости с краской, шелкографские рамки и, чуть в стороне, жестяная банка-пепельница из-под растворимого кофе Нескафе. Рядом скромно стояло простенькое кресло на тонких металлических ножках. По стенам висели мои холсты с окрестными мотивами.

Сразу за дверью находилась небольшая прихожая, плотно заполненная банками и бутылками. Резервная валюта. Когда вынуждали финансовые обстоятельства, вся стеклотара сдавалась в ближайший пункт приёма посуды, находившийся на другой стороне Невского проспекта. Как-то общий приятель принёс нам на permanent residency капюшонную крысу, которая обжила, задорно носилась по всем комнатам и очень неплохо развлекала своими нетривиальными поступками, вроде прогулок по фронтонам и навязчивого желания вступать в тактильный контакт с девушками. Общительное существо.

Светлая, с тремя окнами на Казанский собор соседняя комната, которая по габаритам была значительно больше занятой мной, использовалась как общее рабочее пространство. В ней же я смонтировал перекладину для турника и по утрам делал зарядку. Жизненные ритмы с Лёней у нас не совпадали. Он, как правило, работал в мастерской рано утром, я же во второй половине дня.

В наиболее бурные времена в сквоте одновременно собиралось до двадцати человек и более. Происходило это не часто, в дни, когда неожиданно приезжала большая компания. Объединение не только не имело официального статуса, но являло собой в прямом смысле андеграунд: вход-

ные двухстворчатые двери были искусно замаскированы, забиты метровыми листами старой частично проржавленной жести с приколоченными поперёк них дюймовыми досками. Из дерева и железа торчали толстые кривые гвозди (посаженные с обратной стороны на эпоксидную смолу). Все было хорошо продумано, и декорации выглядели убедительно. Справа от дверного косяка свисал непривлекательный провод с двумя оголенными контактами. Надо было замкнуть их, тогда в глубине квартиры раздавался звонок. На случай, если мастерскую покидали все, существовал способ надежно закрывать вход. Для этого использовался прочный и тяжёлый междверный крюк и система рычагов. Дверь открывалась и закрывалась посредством выведенных наружу двух концов троса, привязанных к запору. Показ новому человеку этого механизма в действии всегда производил неизгладимое впечатление.

Попасть внутрь можно было только по рекомендации «своих». Подобные меры являлись неизбежной реакцией художников на неоднократные попытки выселения со стороны местных властей и милиции. Наиболее запоминающейся стала история зимы 1988-1989 годов, когда в течение примерно недели местная милиция совершала регулярные, по пять раз в сутки, проверки помещения и паспортный контроль. Хорошо, впрочем, что сразу не депортировали на Колыму (шутка). Потом нас неожиданно оставили в покое.

Во второй половине 1980-х годов я плотно увлёкся шелкографией. Погрузился в технику. Придумывал небольшие предметные композиции и самостоятельно печатал их маленькими тиражами по разработанной технологии гуашевыми красками. Засиживаясь за рабочим столом часто до глубокой ночи, а то и до рассвета. Такого эмоционального увлечения и азарта к деланию искусства я, пожалуй, потом уже не испытывал. Со временем процесс стал более рациональным, последовательным и осознанным, более цельным и взаимосвязанным.

Параллельно я занимался масляной живописью, сам натягивал и грунтовал холсты, писал городские пленэрные этюды, композиции. Однажды в июне 1989-го провёл у станка в мастерской на Невском проспекте с небольшими перерывами двое суток. Вовсе не спал, стараясь схватить рассветное движение солнца, момент, когда исчезает тишина. Меня занимала передача непостоянства, подвижности среды, воздушная перспектива, влекли идеи французских импрессионистов: Клода Моне, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея.

Я тогда многое впитывал, открывал и примерял на себя. Старался не пропускать сколько-нибудь значительных выставок. В марте 1988 года побывал в Эрмитаже на экспозиции «От Делакруа до Матисса. Шедевры французской живописи из музея Метрополитен в Нью-Йорке и художественного института в Чикаго». Как ни странно, обошлось без потрясений. В отличие от июньского похода на «Шедевры живописи XX века из собрания Тиссен-Борнемиса», организованной в Русском музее. Осталось много полезных и интересных впечатлений и наблюдений. В оригинале с работами многих авторов встретился впервые (если перечислять имена – почти все залы). Коллекция субъективно-мотивированная, разноплановая, поэтому оказалась интересна возможность непосредственного сопоставления европейской, русской и американской живописи XX века за значительный временной диапазон, дающий наглядное представление о динамике художественных процессов. От ранних 1900-х годов в Европе (Василий Кандинский, Пабло Пикассо) до 1960-х годов в США (Ричард Линдер, Роберто Матта, Ричард Эстес). Здесь я впервые «живьем» увидел живопись Сальвадора Дали, о котором как о живом классике сюрреализма (надо заметить, что сам Дали ещё был жив) в СССР тогда много писали и обсуждали в курилках. Небольшой холст «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» 1944 года не оставил сколько-нибудь заметных шрамов в моём сознании, любопытно, мастеровито, интересно. Гораздо более питательным представлялось мне тогда европейское искусство 1900–1930-х годов.

Заглядывал я и на проходившие тогда выставки ленинградских авторов, неофициальные и официальные. Часто заходил в Лавку художника на Невском проспекте, 8, через которую с октября 1987 года стал продавать свою малоформатную графику, для чего каждый раз приходилось проходить тесные очереди лосховских выставкомов. В те годы Лавка была одним из редких в

городе мест, в котором одновременно представлялся практически весь спектр ленинградского искусства. Немаловажно, что купленные через эту галерею работы могли беспрепятственно вывозиться за рубеж. Основными покупателями Лавки художника были иностранцы.

В процессе общения неизбежно сложился умозрительный список художников старшего поколения, которые были мне интересны. Сразу обратила на себя внимание монохромная печатная графика Гаги Ковенчука (с которым мы потом дружили и делали совместные проекты), выделявшаяся своей образной условностью и простотой приёма с использованием разнообразных текстур. В числе прочих графических листов, которые создавались тогда в городе, мне импонировали цветные литографии Валерия Мишина (с которым дружим до сих пор), отсылавшие одновременно и к лучшим образцам ленинградской школы, и к переосмысленному опыту западноевропейского метафизического реализма. У живописцев меня привлекали фактурные работы Вячеслава Михайлова, Валерия Луки, Глеба Богомолова, некоторых других.

Летом мы с Мариной, как правило, примерно на месяц старались уехать на море. Вторую половину июля – начало августа 1987 года провели в Крыму. В те дни я погрузился в чтение двухтомника Владимира Набокова, недавно разрешенного к публикации в России: «Дар», «Машенька», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Лолита». Меня увлекли стилистические конструкции писателя, его безупречное владение языком, нюансированность смысловых интонаций при кажущейся простоте сюжетной линии.

Относительно беззаботное, бесшабашное время. Сначала остановились в Феодосии. На следующий день на теплоходе доехали до Судака, в котором, после обхода Генуэзской крепости и прочих достопримечательностей, пришлось заночевать, поскольку мы опоздали на последний обратный рейс. Ночевали на стульях, в холле местной гостиницы. Свободных номеров не было. Ранним утром отправились купаться и отсыпаться под тентом на пляже. Ближе к вечеру пошли пешком вдоль береговой линии в сторону Феодосии, с рюкзаком и подводным ружьем за спиной. Почему пешком? Не помню. Возможно, теплоходы в тот день не ходили. Заход солнца застал нас у горы Хамелеон на мысе Французенка, где я и планировал устроиться спать прямо на берегу, благо тепло. Не случилось, к себе в гости – в палатку – пригласили работавшие неподалёку ученые москвичи, проводившие в море некие полусекретные эксперименты с электричеством, о чём просили никому не сообщать. Утром, несмотря на приглашение погостить несколько дней, отправились дальше.

Шли (кажется, без карты) в основном вдоль берега моря, реже – по дороге. Как обошли Карадагский заповедник – не помню. Но в итоге во второй половине дня добрались до Орджоникидзе, сели на автобус. Дальнейший путь вдоль побережья был невозможен из-за располагавшихся вплотную к морю военных баз. Доехали до Феодосии, пришли на съемную квартиру, с которой нас тут же выставили. Ночевали на автобусном вокзале. Утром на теплоходе отправились в район Коктебеля – мне там понравилось. Снять жилье у моря не удалось. В итоге поселились в поселке Щебетовка, примерно в четырёх километрах от воды, почти в сарае, крыша которого в дождь нещадно протекала, а на стене висел плакат Софии Ротару. Каждый день «спускались с гор» на пляж. Тогда, в одно из погружений с подводным ружьем, я упустил такого экзотического зверя, как морской петух.

В июле 1988 ездили на Азовское море. В июле – августе 1989 года – на Черное море. Большой компанией стояли лагерем в заповеднике Утриш (Краснодарский край), в ущелье у водопада. Большую часть времени я проводил под водой. В удачный день обеспечивая всю компанию едой на ужин у костра. Крабы, мидии, рыба. Постурбанистические идеи уже тогда блуждали в моём сознании.

Мир стремительно менялся. В 1987 году в широкий обиход входит слово «гласность», происходит незначительное ослабление цензуры. Жизнь становилась всё неожиданнее, всё веселее. В новостях по самому обычному городскому радио то и дело говорили о каких-то чудесах (понимаемых то в прямом, то в переносном смысле). Например, что вечером 28 мая 1987 года на Красной площади в Москве приземлился вылетевший из Гамбурга на лёгком самолёте «Сессна-Скайхок»

18-летний немецкий пилот Матиас Руст. Уникальное событие, ставшее знаковым, мало с чем сравнимое по произведенному на сознание среднестатистического советского человека эффекту.

Начали появляться первые кооперативы, рэкетеры и леденящие плоть криминальные хроники, проходили редкие и немногочисленные пока несанкционированные демонстрации. При этом бессмысленно и беспощадно продолжает набирать обороты антиалкогольная компания. Официально любой алкоголь в городе можно купить только в пятичасовой промежуток с двух дня до семи вечера, что вскоре привело к расцвету подпольной виноторговли, «пьяных углов» – точек, торгующих круглосуточно. Романтика. Как вестник грядущего хаоса, с декабря 1987 года стала регулярно выходить скандально известная новостная программа «600 секунд». Всех интересовал вопрос: что дальше?

На фоне происходивших тектонических изменений во внешней и внутренней политике СССР на западе лавинообразно растёт интерес к советскому андеграунду и, одновременно, к кондовому соцреализму. В Москву и Ленинград специально приезжают дилеры и коллекционеры современного искусства. Большинство продаваемых художниками работ вывозится за границу. Не имея особых претензий к быту, я жил тогда исключительно на деньги от продажи своих работ, которых вполне хватало.

Зимой 1988 года началась моя преподавательская работа. Днём я ходил в институт (4-й курс), вечером, два раза в неделю, учил (среда 18.30 – 20.30, пятница 18.00 – 20.00), ночью занимался живописью и графикой. Оформили меня на полставки руководителем детской изостудии от ДК «Пролетарский», находившейся в районе метро Ломоносовской. Заниматься приходилось в небольшом, тесном помещении с детьми от 5 до 14 лет. В группе числилось около пятнадцати ребят (официальная плата за месяц обучения – 6 руб.). Мне платили 45 рублей в месяц. Первый опыт продлился недолго, и весной всё закончилось по независящим от меня причинам.

Этой же зимой вышел фильм «Асса» Сергея Соловьёва, который мы посмотрели компанией в одном из ближайших к мастерской на Невском проспекте кинотеатров, скорее всего в «Авроре». Честно говоря, не помню точно, какое именно впечатление произвело на меня это кино. Но то, что режиссер сделал удачную ставку на актуальную тему – молодежный андеграунд, было ясно однозначно. Днём же, по радио в передаче для трудящихся «В рабочий полдень» бархатный баритон Муслима Магомаева продолжал прославлять советские идеалы:

Трамвай ползёт среди ночной вселенной,
Вдоль магазинов, скверов и аптек,
И в нем ты тихо дремлешь после смены,
Наш непростой советский человек!

Жизнь наполнялась эстетикой абсурда. 21 марта 1988 года на первом канале ТВ, в студии программы «Взгляд» прошел телемост Киев – Москва с Анатолием Кашпировским, через полтора года, вещая на многомиллионную аудиторию, он провёл пять сеансов психоманипуляции на центральном телевидении. Приди к нам всемогущий, исцели и укажи путь!

На западе вызывает недолгий, но мощный бум на русское искусство, который в большей или меньшей степени коснулся многих художников. Местное арт-сообщество тоже активизировалось.

Например, я был неожиданно удивлен, когда маститый московский критик и искусствовед Александр Каменский в большой статье на выставку «Ленинград, история, люди» написал про мою работу, сделанную уже в новой студии, следующее: они составляют новую поэтику, которая невольно спорит с привычными эстетическими стереотипами. Например, всем нам кажется само собой разумеющимся восторженное преклонение перед классической красотой Петербурга-Ленинграда, его гармонией и державным величием. И на этой выставке встречаются вариации подобного образного строя. Но вот висит «Ночной Невский» А. Парыгина. Грубо-шершавая фактура, темная бездна. Во мраке вспыхивают тревожные огни, они порождают резкое душевное напряжение. Ни о каком царственном великолепии городского ландшафта и не помышляешь –

оно не то чтобы отбрасывается или отрицается, но уходит куда-то за кулисы, уступая место драматизму современного мироощущения (Каменский А. Что значит быть современным? Ответ на этот вопрос ищут молодые художники // Правда. 1988, 9 сентября).

Радикально и быстро менялся и геополитический рельеф. 15 мая 1988 года из Афганистана начался вывод советских войск, завершившийся в феврале 1989 года. О полном открытии своих границ 11 сентября 1989 года объявило правительство Венгрии. В ноябре 1989 года Берлинская стена, символ противостояния Востока и Запада, фактически прекратила своё существование. 22 декабря немецкие власти открыли Бранденбургские ворота, окончательно ликвидировав границу между ГДР и ФРГ. Вскоре разрушили, снесли и саму стену.

Примерно в это же время Михаил Горбачев, после встречи с Джорджем Бушем (старшим), публично заявил об окончании холодной войны. 25 декабря, после короткого судебного разбирательства, вместе с женой был расстрелян генсек Румынской компартии Николае Чаушеску. Под самый новый год, 29 декабря 1989 года президентом Чехословакии стал Вацлав Гавел, известный писатель и диссидент. 11 марта 1990 года Литва принимает акт о независимости, первая союзная республика, заявившая о выходе из состава СССР. Еще через пару месяцев о своём отделении заявили Латвия и Эстония.

Подобные новости быстро становились всеобщим достоянием. Каждый день. Осенью 1988 года в СССР прекратили глушить «вражеские голоса». «Голос Америки». «Радио Свобода». Многие люди ходили по улицам с миниатюрными радиоприёмниками. Слушали, как старый мир трещит и рвётся по всем швам.

Под окнами нашего дома тоже происходили многочисленные исторические свершения: выступления, демонстрации, митинги, шествия. Например, 12 марта 1989 года ОМОН разогнал протестную акцию Демократического союза, проводившуюся у колонн Казанского собора. Двое членов союза, взобравшись на памятник Кутузову, подняли российский трехцветный флаг. Это был вызов. Их, конечно, скрутили, но потом отпустили.

Пока я ходил в институт, вопрос о неформальной необходимости высшего образования посещал меня не раз и не два. Не могу сказать, что меня во всем устраивала та система обучения. Скорее, не устраивала. Школа базировалась на устаревших принципах, была идеологизирована и косноязычна. Доминирование скучных и банальных идей, адаптированного к запросам времени гибрида социалистического реализма и академизма в задачах и решении образов никто не отменял. Впрочем, мне удавалось с ней сосуществовать. Меня не восхваляли, но, как правило, и не уничижали. В основном я работал так, как хотел. Меня интересовала большая условность и декоративность в трактовке натуры, чем та, которая поощрялась, значимость напряженных цветовых отношений, простота и ясность, лаконизм языка.

Работал я много, но для себя. Постоянно писал с натуры, рисовал. Ходил на этюды. Приёмы работы с материалом у своих педагогов не перенимал. Старался определить собственные пластические формулы и идеи. Не всегда удачно, но настойчиво. К этому времени, пережив увлечение импрессионистами и постимпрессионистами, я уже неплохо знал и ценил композиционные решения Поля Сезанна, представлял в общих чертах историю абстрактного искусства. В своей мастерской экспериментировал с техникой и фактурами, материалами основы (фанера, холст, дерево, стекло). Увлекался живописным рельефом, используя гипс и левкас, элементы коллажа и ассамбляжа.

В июне я заканчиваю пятый и последний курс института, защитив диплом по кафедре графики серией малоформатных цветных натюрмортов, выполненных в технике авторской шелкографии. Окончательно наступило время свободных художеств. Осенью, пройдя формальную процедуру приёма (с рекомендациями и общей выставкой), вступаю в нестройные ряды молодежной секции при ЛОСХе, которая вскоре приказала долго жить и самораспустилась.

За три года существования мастерской «Невский-25» в её работе приняло участие более ста человек: художники, поэты, философы, коллекционеры и просто любители искусства. Приезжали музыканты из Киева, фотографы из Прибалтики, художники из Армении, собиратели живо-

писи и студенты из США, Германии и других стран. Наиболее насыщенными событиями стали 1988-1989 годы. Меня тогда увлекли эксперименты со звукозаписью шумовой музыки, фонетика городской утробы. О существовании в прошлом футуриста Луиджи Руссолю и его манифеста «Искусство шумов» (1913) я ещё не знал.

Зимой, по средам, в мастерской устраивались поэтические чтения и диспуты по современному искусству, сопровождавшиеся употреблением вина вначале и черного чая в завершение. Издавались бесцензурные литературные сборники и отдельные малотиражные книжки.

Склонный к мистификациям, Лёня Кипарисов с 1987 года с собственными иллюстрациями выпускал альманах «Котоводство и кошколовство», расхваливавший в машинописных копиях с иронически-шутливыми текстами: «Философия и коты», «Что такое время релаксации котов и как его определять?», «Кошка – сухопутный электрический скат» и т.д. Кипарисовым же летом 1989 года была организована большая групповая выставка с замысловатым названием «Антарктида» (участвовали Леонид Кипарисов, Алексей Парыгин, Владимир Иосифов и другие). В 1988-1990 годы выставки регулярно проводились как на территории мастерской, так и за её пределами.

В этом же году я начал делать малотиражные (5-6 экземпляров) авторские книги, со своими собственными поэтическими текстами, все работы в которых, от макета до тиража, проделывал в одиночку: «Песок» (1989), «Цветные звуки» (1989), «Зеленая книга» (1989), «Моя мансарда» (1990). Во второй половине 1990 года был выпущен состоящий из тридцати двух стихотворений самиздатовский поэтический сборник «Невский-25», который задумывался (включая отбор текстов) и делался мной. Сборник состоит из текстов Алексея Парыгина, Андрея Вермишева, Анатолия Лукхитяна, Альберта Разумца, Дмитрия Стрижова и Сергея Фирсова, написанных в 1987-1990 годах. Работа по отбору материалов началась в 1989 году в мастерской «Невский-25», закончена в конце 1990 года, уже в другой мастерской, на ул. Чайковского, 20. Все тексты отпечатаны самими авторами на пишущих машинках (на разной бумаге), под копирку в несколько экземпляров.

Продолжают происходить глобальные изменения. Страна наполняется оружием с ликвидируемых военных объектов. Все хотят независимости и полной свободы. В республиках лавинообразно растет число межнациональных конфликтов. О чем регулярно сообщают в новостях. Одними из первых стали начавшиеся в 1988 году армяно-азербайджанские столкновения за обладание Нагорным Карабахом; затем произошли кровавые события в Ферганской долине (1989 г.); погромы в Средней Азии и на Кавказе; межэтнические стычки в Киргизии между киргизами и узбеками и т.д.

Постепенно жилых квартир и официальных квартирантов в нашем доме становилось всё меньше и меньше. Стали появляться бомжи. Однажды, проснувшись утром и отправившись умываться, одного такого субъекта я обнаружил у себя в коридоре. Он влез через окно (форточник). Тогда случилась очередная уголовная амнистия «...в связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической революции» (указ от 18.06.1987). Выставил его. Дом постепенно пустел. В последнюю зиму центральное паровое отопление совсем не работало, тепло давали несколько постоянно включенных электрических обогревателей и электроплитка. Пару раз наш коридор заливало потоками горячей воды. Магистральные трубы отопления проходят сверху, по чердаку. Заглушки и вентили делались из цветных металлов, которые свинчивали залётные мазурики. Естественно, что все конфликтные и проблемные вопросы приходилось решались своими силами.

«Невский-25» закончил своё существование в июне 1990 года, через полгода после отключения всех коммуникаций и полного расселения дома, пережив потопа, нашествие бомжей и крупный пожар в соседней квартире зимой 1990 года. Все входы в подъезды и подходы к дому были наглухо замурованы строителями. Некоторые из крупноформатных предметов и работ вынужденно пришлось бросить. Впрочем, это была не самая последняя моя авантюра с мастерской в расселяемом доме.

Юрий НИКИТИН – Лев ЛЕНЧИК

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

К выходу книги «Жить мы будем бедно, но счастливо»

Публикация, подготовка текста, вступление О.В. Никитиной

Настоящим литературным открытием стали письма, обнаруженные в архиве моего супруга, писателя Юрия Никитина, после его кончины 8 августа 2021 года. Они же составили основу книги «Жить мы будем бедно, но счастливо», дополнены моими комментариями и воспоминаниями. Книга выходит в свет в годовщину его памяти, в августе нынешнего года в издательстве КИЦ «Саратовтелефильм» – «Добродей». В настоящей публикации представлены фрагменты переписки со Львом Ленчиком.

Вспомним, что Юрия Никитина открыл журнал «Новый мир» (1978, №5), единственный, где решились опубликовать совсем не героическую повесть о военном лётчике «Голубой карантин». К началу его творческого пути относятся рассказы и повести «Время возвращений», «Событие», написанные в реалистических традициях. Но далее в своих творческих и философских исканиях он стремится к освобождению от идеологических, национальных, религиозных догм и стереотипов, сковывающих свободу мышления художника. В самые трудные перестроечные годы – 1990–2005-й – выходят роман «И бог и подданный», где впервые появляются главы об Иисусе Христе, оправдывающие предательство Иуды, сатирически задиристая, обличающая невежество книга «Автопортрет провинциального сочинителя», затем – идеологически провокационное в то время издание трёх авторов и однокурсников с филфака СГУ (немца, американца и русского) «Кукушкино гнездо». А далее – две книги, номинированные на премию Русского Букера: весёлая, с большим чувством юмора, об охоте российских царей, вождей и президентов «Царские забавы» и главная для писателя – остро авантюрный литературный детектив, как его окрестили критики, «Санкт-Сарытау». Вот как в то время оценил это произведение рецензент доктор филологических наук А.А. Демченко: «Не прибегая ни к злой иронии, ни к грубой сатире, автор как бы самому читателю представляет возможность оценить и ксенофобию, и антисемитизм, и религиозную нетерпимость. В русской литературе, такого романа, пожалуй, не было. Тема национальных отношений – острая тема, в наши дни она особенно актуальная, и нужны не только смелость, рискованность, чувство такта, чтобы браться за нее, но, главное, нужны знания».

Свободе мышления, раскованности, объемности мировоззрения Юрий Никитин учился у писателей-«серапионов», о творчестве которых писал диссертацию (ее «зарубили» как несоответствующую идеям соцреализма) и у русских философов, ставших доступными, когда уже университет был давно закончен. Большое влияние на него оказал друг, однокурсник и писатель Лев Ленчик, свободомыслие которого тоже не позволило защитить диссертацию (о поэзии Серебряного века), и волею судеб он оказался по другую сторону земного шара. «Ты мне дал больше, чем филфак», – написал ему Никитин, когда рухнувший «железный занавес» позволил им, спустя четверть века, встретиться и почувствовать духовную близость. Эти письма – не замочная скважина в чужую личную жизнь, а искусство почти утраченного эпистолярного жанра, где открываются иные глубины, иные откровения, заставляющие на многое взглянуть другими глазами. Переписка двух разных художников с достоверностью и документальностью отражает время и реальные события в нашей стране, свободу и честность писательского труда с позиций изнутри и снаружи на сломе эпох – в 90-е годы прошлого века.

В целом книга «Жить мы будем бедно, но счастливо» – о любви, о творческом и жизненном кредо писателя Юрия Никитина, которое он выразил в одном из писем: «Люблю любить и не люблю ненавидеть».

28 февраля 1990 г. (Ленчик – Никитину)

Дорогой Юрка! Юрий Михайлович! Юра Никитин!

Спасибочко тебе за письмо, и за книгу, и вообще – за то, что вот помнишь, написал, подал голос. Читали – сюсюкали. Тоска. И чего это мы с тобой ни разу не повстречались, ни писем – ничего? Хотя в студенчестве вроде бы общались довольно неплохо. Ну вот так размело, разнесло нас по разным сторонам-сторонushкам... за тридевять земель, за тридевять времен. Только Валина поездка, а теперь вот и Глебыча приезд вернули мне вас снова, да и то не иначе, как с того света. Но зато и радость встречи по-настоящему щемит, сентименталит. Или просто старость: чуть что – и глаза плывут.

Твои гранки о том, как ты не стал профессором (*из книги «Автопортрет провинциального сочинителя» – О.Н.*), вот с этими плывучими глазами и читал. Все так живо обступило, нахлынуло. Ну и, конечно, твоя бедолажная, бескорыстная судьбинка. Читая, испытывал какую-то режущую близость к тебе, и зависть, и тоску, и досаду.... Все же не были мы близки. Ты больше балагурил, анекдоты травил, хоронился как-то. Ну, а после диплома? Что же – бывший летчик, хочет стать писателем. Мало ли их? ... А оно видишь, как обернулось. И мысль твоя довольно болевая, и душа – чистейшая, «как слеза младенца».

Что касается литературных достоинств, то эта, столь дорогая мне вещь, показалась слабоватой, несколько наивной, м.б., запоздалой. Не знаю, но выход к свободной раскованной речи, фривольной и иронической, который угадывается в замысле и очень явственно заявлен в ритме, на деле звучит немного натужно, вымученно, где-то не хватает лексической свежести, по-настоящему интеллигентного шарма, того чуть-чуть, что, к сожалению, всех нас отделяет от гроссмейстерского балла. В жанре таких записок он особенно необходим, иначе принижается герой (автор), который уже не олимпиец, не полновластный хозяин и повелитель речевых стихий, а так, бедный и честный трудяга-подмастерье. Жалко его, но, что поделаешь, на профессора он все же не тянет... В этом случае нечего себя публично хлестать, потому что твоя шкала человечности, твоя полус души на таком витке, который, на самом деле, не снислся окружавшим тебя «знаменитостям»...

Ты уж прости меня за эту непрошенную свирепость, но ты – писатель. Не член Союза (хотя и это, к несчастью нашему, мера!), а писатель.

Уткнувшись в «Событие» (*повесть публиковалась в журнале «Волга» в 1982 г. и в книге «Красных дней утех» в 1983 г. – О.Н.*), я плясал, орал, радовался. Ну и Юрка, ну и молодчина! Сочно, прочно, плотно! Настоящая густая плоть жизни. Масса замечательных деталей, свобода, точность, живая, неподдельная органичность. Тут ты покоряюще прекрасен... И диалоги богатые, и бытовые сценки, и характеры, лица – все, все. Никаких потуг. Конечно, хотелось бы на этом поставить точку и ничем детским эти эмоции не разбавлять, но натура сволочная – ты это знаешь! – так что не удержусь и каплю-другую плесну... Я о стандартности риторики двух интеллигентов-бюрократов... Залапано и высочайше дозволено к обращению в народных массах. Дань родной литературонке. ...Шибко шуметь не хочу. Все-таки это еще догорбачевский 83-й год. А шумлю, потому что на 83% – это добротная проза. И её сделал ты, человек-два уха, которому всё теперь по плечу.

29 января 1991 г. (Ленчик – Никитину)

Дорогой Юра! ...Жизнь моя событиями небогата. А вот вчера выдалось провести день с Евтушенко и его молодой супругой. Встречал их в аэропорту, целый день возил – музей, русский книжный магазин, обед у друзей и вечер в частном доме, где он читал стихи и отрывки из новой прозы (типа воспоминаний).

Ну что сказать? Стихи его, по-моему, все хуже и хуже, а что касается личности, то, ясное дело, – крупная и, если говорить в целом, избегая нравственного пуританства, – добропорядочная. Во всяком случае, было интересно, хотя я, в основном, слушал и ни в какие споры не вступал. В нем заметна некоторая доля сожаления (может быть, не очень глубокого) о плохих стихах, идейных ляпах, в частности связанных с прославлением Кастро. «Да, да, все мы много ошибались, много ерунды написали, ну что ж меняемся, всё в движении. Вам когда-нибудь нравился Фидель?» Я опешил: «Я героев никогда не любил. Может быть, в них – все наши беды. Я думаю, чем быстрее Россия заменит их культом семьи, культом заботы о доме и куске хлеба, тем она быстрее встанет на ноги». – «Да, да... Несчастлива та страна, которая нуждается в героях. Кто сказал?» – «Не знаю». – «Брехт».

Евтушенко был честным глашатаем одной идеологии, теперь также честно (я верю ему!) ударился в справедливость другой: «Религии всех стран соединяйтесь!» А если и это окажется ляпом? Снова можно будет поканючить: ошиблись, мол, все ошибаются? Однако его первые шаги были прекрасны и его значением в оттепельные 60-е годы (да и после) вряд ли можно пренебречь.

25 марта 1991 г. (Ленчик – Никитину)

Только что приехал с работы – и такая радость: письмо от тебя. Валюна уже успела рассказ прочитать («Как я встречал иностранного гостя» для книги «Автопортрет...» – **О.Н.**) – говорит, понравился. Её оценка для меня – закон, и потому решил сначала черкну пару слов, а уж потом почитаю...

Ну что? Я, грешный, уже подумал было, что вот все артерии у вас снова перекрыты, и ждать больше нечего. А оно, видишь, как, не всё ещё потеряно. Ты даже в гости нас зовёшь! Всё это так неожиданно и прекрасно, что слов не найду. Господи, – молюсь трижды на день, – неужели реформа не победит? ...Ведь другой такой шанс придёт, видимо, не скоро. Вот так и живу от одного события (там, у вас) до другого.

...Дела мои с писаниной не очень хороши. Много времени и сил отнимает работа и сама по себе и потому, что в некоторых её аспектах я увлечён больше, чем хотелось бы (*компьютерные программы* – **О.Н.**). Такая гнусь в натуре – ничего не могу делать безучастно. Истории мне писать не интересно, а что-то свежее и необычное, чтобы было сдыхание, и кожа горела в каждой запятушке, – силёнок маловато. Это ощущение творческой недостаточности рождает дикий страх перед бумагой, такой же, как у плохого хирурга перед необходимостью резать.

Несмотря на такую смешную печаль, я всё ещё как-то ерепенюсь и на что-то надеюсь. Понятно, что очень бы хотелось выйти в России, поскольку считаю её своим домом и ничем другим, по сути, не живу. Все мои темы и бреды, и бессонницы там, с ней, с вами.

Однако надежды тут очень малы и, в значительной мере, фантастичны. Говорю так, потому что с ужасом наблюдаю, как мужает и с каждым днём всё больше свирепеет у вас контрреформа, а силы демократии, разрозненные и заражённые экстремизмом (в частности, национальным) хиреют на глазах. История, к сожалению, повторяется. Мы всегда ставили идею выше жизни и всегда горели нетерпением одним махом, немедленно переделать всё. От Горбачёва потребовали больше, чем он мог на этой ступени развития дать, чем мог дать исторический государственный разум вообще. Поставь на место коммуниста Горбачёва православного ортодокса Солженицына – и ты увидишь, что дело тут не только в цвете знамён. С этим не захотели считаться вечно юные и вечно романтически бескомпромиссные демократики-горлохватаки. Однако оставим это, ибо краткость суждений чревата переживаниями ...

Вчера письмо закончить не удалось. Валюна всё время звала меня к телевизору, т.к. шла передача о присуждении премии Оскара лучшим актёрам и фильмам года.

1 мая 1991 г. (Никитин – Ленчику)

Удивительно, братцы, мы начали жить! ...Мы с Ольгой тоже смотрели эту передачу о присуждении премии Оскара. Замечательно!

Лёвушка, грешным делом, и я было возвёл поклёп на душевателей свободного общения и сильно опечалился... Ещё в январе послал вам свой «роман века», а он не доехал. Однако, февральское письмо с «Иностранным гостем» получили-таки. Слава Богу! Значит, кислород общения ещё не перекрыт. Нашей почте я доверять остерегаюсь: благо бы воровали шедевры и классику, они же и графоманию прикармливают!..

... Твоё прочтение доставляет мне особое удовольствие. И дело не в том, согласен я с твоими оценками или нет, намерен исправляться по твоим рецептам или тоже нет, удовольствие моё от того, что требования твои высоки, что мнение твоё искренне, бесхитростно, что сам анализ твой помимо точности ещё и какой-то душевный. После моего обалдения от твоей статьи «Интеллигенция и пёс» я тебе верю абсолютно, литературный вкус твой приемлю с почтением, но исправиться не обещаю. Поблажек в работе над белым листом я себе не делаю, и, если встречаются промахи и даже провалы и неудачи, то это, может, от дефекта зрения, ума, образованности, наконец, от неполноты одарённости – против чего каждый пишущий совершенно бессилён, но никак не от халтурного подхода или излишней торопливости.

... Моё самолюбие не столь глупо, чтобы раздуться от величия, поэтому я избрал такой стиль письма – самоиронии. Ты усмотрел в этом манерность, а я вижу манеру, позицию, в ней и кокетничанье, и дуракавальние, и притворство. Лёвушка, это издевательское озорство, которое не ставит меня в неловкое положение перед собратьями по перу. В «я» лирического героя моих рассказов много автобиографического, но разумел-то я обобщённый образ провинциального писателя, который во многом смешон. Да и наши столичные не лучше, хотя бы тот же Бондарев... с претензиями на национальное верховенство, на мудрость, запелёнутую, как кочержка в кочане капусте. Я его слушал на всех последних съездах, его и его псалмопевцев. Из протеста всему этому я один рассказ посвятил «мужеству унтер-офицерской вдовы». (*«Расхристанные мысли» в «Автопортрете...» – О.Н.*). Кстати, нехороший ты человек, меня пинаешь, а сам пишешь о «творческой недостаточности» и «страхе перед бумагой». Лев, плюнь! Не надо придумывать ничего «свежего и необычного», всё это не от нас зависит... Всякое творчество от Бога. И сколько Он дал, на столько ты и напишешь. Я убежден, в кого Он вложил свою Божью искру, то не оставит без попечения, ибо Он водит нашим пером, а остальное всё человеческое. Поэтому с нетерпением жду от тебя «Дочь Отечества». Чем ни скорее ты вышлешь повесть, тем раньше она выйдет. «Трамвай» уже отдал машинистке перепечатывать. Об этой вещи я тебе писал как об оригинальной, производящей впечатление нервичское, болезненно-страстное, хотя по первому прочтению она мне показалась излишне сделанной, излишне усложненной. Стиль фразы и композиционная раздерганность... точно соответствуют нашему уродливому детству. Я так написать бы не смог, я написал по-другому в повести «Время возвращений», но по духу обе повести очень близки...

Между прочим, я сейчас вынашиваю ещё одну колоссальную идею... сделать книгу трёх авторов: Лев Ленчик «Трамвай мой – поле» (США), Вячеслав Сорокин «...» (ФРГ), Юрий Никитин «Время возвращений» (Россия). Три повести, три взгляда, три манеры письма. Помните вы Сорокина? Недавно я узнал, что он вроде бы тоже пишет, публикуется то ли в «Гранях», то ли в «Посеве». Он учительствовал где-то в Сибири, при поездке в Финляндию попросил политического убежища, осел в ФРГ, сотрудничал с НТС... А ведь это страшно интересно выпустить книгу трёх бывших студентов СГУ, окончивших его в один 1964-й год, чьих судьба разлетелась по шарикам! Такая одиозная публикация может наделать много шума. Не для славы (слава – пшик!), а для рекламы... Дашь добро моей идее?

...«Волга» сдала в набор твои стихи... Это первая подборка, потом дадут ещё. Главный, Сергей Боровиков, а он брюзга и скептик, сказал, что стихи привели его в восторженное чувство. Я рад за тебя.

Август 1991 г. (Никитин – Ленчику)

Лёвушка, дорогой, как мне тебя жалко, ибо, подозреваю, после того, что произошло в нашей ералашной стране, ты просто не мог не спиться. Уж коли ты не мог удержаться от надира, узнав

об отмене парткомов, то непременно должен был запить горькую, сокрушенный известием о комфашистском путче. Как затем было не перейти от запоя грустного в запой радостный после ареста заговорщиков и закрытия компартии!?

Теперь уж можно шутить, а три дня назад я сделался ужасно зол, услышав пресс-конференцию Янаева, поехал в писательскую организацию и бьякнул на стол свой партийный билет, сказав: ... я с дураками ничего общего желать не имею. В конторе меня стали уговаривать, чтобы я подождал, чтобы подумал о детях, т.к. теперь должны начаться аресты и расстрелы. Но во мне все так клокотало, что я не мог больше слова вымолвить. ... Выйдя из партии, я почувствовал себя так, словно избавился от килы, не столько болезненной и мучительной, сколько некрасивой и стыдной. Впрочем, ярые партийцы всегда считали меня диссидентом, разумея под правдой говорения крамольное инакомыслие. Это, знаешь, как у Бабея: «папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном».

В нашем каком-то даже театральном перевороте мне видится Божественное Провидение, ибо Глиняный Колосс этот разваливался бы еще долго, долго смердел, долго агонизировал и пугал, и никто кроме самых узколобых старпёров не смог бы свалить его быстрее и смешнее.

За неделю до переворота ко мне приезжал эмиссаром от «Единения» – это при Союзе писателей ответвление общества «Память» – один московский знакомец и уговаривал написать заявление от меня, Ольги, как члена Союза журналистов, и Мишки о вступлении в это самое общество. Принёс и кучу агитлитературы. Но писатель он никудышный, хотя человек неплохой, с характером мягким, услужливым, даже несколько лакейским. Видимо, он уже кое-что знал о готовящемся перевороте, говорил о необходимости спасения России, о том, что они скоро возьмут власть, прельщая тем, что меня знают и любят и Юрий Бондарев, и Шундик, и Валентин Сорокин, а они сразу начнут издавать мои книги в столице. Я же отговорился тем, что не желаю петь ни в каком хоре, ни под какую музыку, ни под чьим бы то ни было дирижёрством. Он на меня очень обиделся и, уезжая, даже не простился. Но как я могу водить компанию с людьми мне неприятными, о чём при встречах говорить с этими «заединщиками» и русопятами, когда, например, четверть века назад Валька Сорокин говорил моей Ольге: «Зачем ты выходишь замуж за этого жида?» Рана старая, но незаживающая. И потом, как можно сходить с теми, кто при мне станет оскорблять тех, кого я люблю и ценю? Переубеждать их бессмысленно, значит, – фарисействовать? Избави Бог! Они не желают понять, что природа их революционного антисемитизма в их собственной малоодаренности, а отсюда и неполнота славы, которой они жаждут. Слава – это не уличная девка, которую легко затаскать в подворотню, слава – благородная дама, которая сама выбирает себе избранника. А «заединщики» надеялись, что вооруженные путчисты сделают их народными гениями.

Переворот меня сильно расстроил. Я уж было решил: ну всё, теперь книге Льва хана – зарубят как пить дать. А за «Кукушкино гнездо» с рассказами Славки Сорокина – повесят.

...Посылаю вам две книжки – «Голубой карантин», где вы не читали только повести «Время возвращений», а это, по сути, мой «трамвай», и – вышедший за два дня до переворота «Автопортрет провинциального сочинителя». Твоя вёрстка в «Волге» тоже пришла на второй день путча. Как тут было не возрадоваться победе над ними. Ребята в журнале ведь тоже затосковали.

...Сижу, шлепаю на машинке и вдруг замечаю, что за окном на здании райкома партии красный флаг сменился на трехцветный! Ты вот не любишь сюжеты, а у нас тут сплошные сюжеты – что ни событие, то детектив.

Пиши, не ленись, твои письма наполняют мою душу приятностью, даже когда ты ругаешься.

2 ноября 1991 г. (Никитин – Ленчику)

Милый Лев!

Еще месяц назад я написал тебе письмо, которое назвал арифметическим, но не послал... Мне-то хотелось бы выглядеть в вашем представлении таким независимым, беспечным, преуспевающим писателем, а не обнажать при седых-то висках свою голоштанность. Голоштанность, конечно, от-

носительную, ибо никогда в жизни я не был так богат, как в прошлом году. В свет вышли почти одновременно две книги! Третья – «Автопортрет...» – должна была сделать меня советским Крезом. Естественно, я начал тютюшкаться с мечтой о поездке в Америку, о встрече с тобой и Валей..., забыв мною же изобретенное золотое правило: не открывая широко рта, пока не знаешь, что тебе в него положат. Инфляция превратила мои мечты в мыльный пузырь.

При всей моей ненависти к цифири я все-таки вынужден теперь ею заниматься, чтоб не оказаться на мели. До повышения цен и инфляции мне повезло купить машину (продали старый «Москвич», купили «Жигули» шестерку), цветной телевизор, морозильник... Сейчас «жигуленок» стоит уже не 9, а 17 тысяч по госцене, на базаре же – все 50 тыс. В магазинах у нас ни черта нет, а на базаре цены зверские... По карточкам, а значит, по низкой цене, каждому выдают на месяц: 250 граммов бутербродного масла, одну курицу, 10 яиц, 5 пачек сигарет и одну бутылку водки. Что для моих троплодитов курица на месяц, когда они слопывают ее за один присест! Не только по страсти и забаве я сейчас с нетерпением жду 15-го ноября, когда откроется охота на лосей и кабанов, а из чисто житейской необходимости.

Все это унылое счетоводство я привожу для того, чтобы объяснить невозможность моей поездки в Штаты. В прежних письмах я всякий раз увиливал от ответа на приглашение приехать к вам в гости, понимая, что мое отмалчивание выглядит неприлично... Самое честное и не обидное ни для чьего самолюбия, если ты с Валей приедешь в Россию и Саратов. Тем более, что об этом уже прошёл слух. Недавно встретился с Ксенией Ефимовной Павловской, и она меня удивила: «говорят, скоро Лёва Ленчик приедет в Саратов». Лёвушка, крокодил ты такой-сякой, все говорят о тебе так хорошо, что аж завидно. Павловская вспомнила, что возила твою пьесу Акимову, он лестно отозвался о талантливом авторе, но дальше, как водится, пьеса не пошла.

Книжный бум у нас резко спал, и моя книжка раскупается плохо... Залёживаются даже детективы и эротика. Сейчас ведь каждый покупатель в затылке почешет, прежде чем решить, что ему важнее – книжка или килограмм картошки.

...Всё, братцы. Не огорчайтесь моими арифметическими выкладками. Я на нынешнее время не сержусь и даже не сетую... Все равно, уверен, мы когда-нибудь встретимся и потремся сердцами. Пока это легче, наверное, сделать вам, а я приложу к тому всяческие старания.

12 ноября 1991 г. (Ленчик – Никитину)

Юра, все время думаю о тебе, болтаю с тобой, то и дело приглашаю тебя на долгосрочную побывку к нам (на харчи, покой и писанину), а вот присесть и написать тебе обо всем как-то не идет.

1. Вчера по дороге на работу, купив, как обычно газету, с ужасом подумал: боюсь и стыжусь узнавать, как там у вас все из рук вон плохо и что ни день все хуже и хуже – и по всем швам. Этот большой животный национализм, который вдруг во всех проснулся. Опустевшая казна, мафиози. Саботаж местных перекрасившихся князьков. Полная растерянность в верхах. Господи, что же это такое? Неужели нам так и не суждено докарабкаться до нормального человечества? Юрка, Юрка, дружище, скажи, что я паникую, что все не так страшно, что все обойдётся, что это просто «голубой карантин», scarlatina, детская болезнь, нормальная реакция раба, сорвавшегося с цепи. Но кажется, что и демократики-интеллектуальчики сейчас тоже в просрации. Где же мы? Кто же мы? Неужели прав Солженицын с его ненавистью к буржуазно-демократическим структурам? Неужели для нас либо царь (в любых формах), либо бездна. Просторы! Просторы! Неуправляемая необозримая вольница! Даже Бердяев сослался на них, признавая организующую силу коммунистов.

2. Твое поведение во время попытки переворота прошибло до слёз. Так я все это себе представил живо, всей кожей почувствовал, и можешь не сомневаться, что был бы с тобой. Я тоже, когда посмотрел на их рожи, решил, что дела у них швах. Сказал Валюне: не драмой заканчивается кровавая история, а фарсом.

3. Была у нас Ахмадулина, был обед и была водка. Все было, как в стихе, прослушав который, она сделала попытку заплакать, но не смогла. Не было слёз. Потом мы были еще в рестора-

не. Потом еще на другой день – полдня. Ну что сказать? Сказать, что она столь же чиста, сколь гениальна? Банально. Думаю, что среди их поколения, только ей и Окуджаве удалось выжить – в смысле высоты дарований, и в смысле чистоты помыслов, да и самой жизни. Одна беда – пьёт она по-черному... и вряд ли кому-либо удастся ее спасти. Так что ни о чем серьезном я с ней в общем-то и не говорил. Целовались всякий раз, встречаясь и прощаясь, но она со всеми целуется. Эти полтора дня с ней оставили много тоски, умиления, бешенства, бессонницы и зубовного скрежета... В отличие от Евтушенки, который весь на пьедестале, она – живое воплощение земли, беззащитности и боли, ничего из высоколбия и высокословия, хотя подчас – с невыносимой гримасой.

4. Идея выйти с тобой и Сорокиным в одной книжке мне по душе... Самое главное кому это всё сейчас в России нужно? Ты вот прислал мне гранки из «Волги», пишешь, что-то об оплате, а я – в совершенном недоумении кто это всё будет покупать?...

5. Очень жаль, что не прошла статья о «Собачьем сердце». Она мне основательно дорога, поскольку в ней, как в «Трамвае», довольно серьезный вызов нашей культурно идейной традиции, из-за которой, по моим понятиям, так не сладко всю дорогу и стране, и людям.

6. Парижский тираж «Трамвая» уже на рынке, уже есть неплохой отклик в печати, но как идет продажа – не знаю. Моя Кэтрин-переводчица, чудная молодая француженка с очень изящным русским матом, домогается новой вещицы, а у меня ничего не пишется и не складывается. Застрел где-то на полдороге на новом «крике» – и ни вперед, ни назад. Много других задумок (поспокойнее тоном), но бросать это тоже жаль. Кроме того, работа заедает, то и дело увлекаюсь... Одним словом, горе-писатель. Не писатель, а страдатель...

7. Кто иллюстрировал «Автопортрет»? Видимо, он чертовски талантлив, но полностью восхититься мешают мне явные следы Босха, может, где-то Брейгеля, причем не их самих, а их подражателей. И вся книга очень выигрывает, особенно обложка. Бумага, правда, дрянь.

8. ...Понимаю, что быть тебе в самом пекле событий сподручнее и полезней, но... (большое НО) «большое видится на расстоянии». Приезжай к нам. На сколько-нибудь. На пару месяцев, год, полгода. Поживи у нас, попиши, посравнивай. Обещаю все необходимые условия, покой, свободу и беззаботность.

9. Мы с Валюной – дед и баба. 1 октября у Витальки родился сын.

Не знаю, всё ли перечислил, что хотел.... Обнимаем вас и целуем. Как всегда, на прощание, как обычно – стихи...

Январь 1992 г. (Никитин – Ленчику)

Лёвушка! ... по поводу несостоявшейся публикации твоей превосходной статьи и отдельной книги. Прости меня, невольного болтуна, ведь это не я обещал, это мне обещали. Никого из ребят я за язык не тянул, за горло не брал, ... я слишком торопился тебя обрадовать. Ребят можно понять: журнал приносит 100 тысяч убытка в месяц, ибо стоимость бумаги подскочила до 20 тысяч за тонну, чтобы окончательно не прогореть, они стали выпускать не 12 номеров в год, а только 6. На сэкономленной бумаге печатают коммерческие книги... и радуются, что ещё полгода журнал будет жить.

Вообще свистопляска у нас идет бешеная. Зато интересно! Ситуации и смешные, и грустные. Днями в Саратов прилетал на собственном самолете новорожденный миллионер, и его встречали так, как раньше встречали членов Политбюро. Это – с одной стороны. С другой – появилась масса нищих. Есть нищие весёлые – с гармошками и шапками, и есть совсем несчастные – с такими отрешёнными лицами, будто они перестали жить. Остальные торгуют, кто и чем попало. Сейчас Россия – это сплошной азиатский страна-базар... Не знаю, помнит ли Валя послевоенную разруху, магазинные очереди, базарную толчею, но ты-то, старый Лев, легко представишь себе российский быт. Только калек меньше, чем в нашем детстве, да ворьё организованней.

Лёвушка, ты как-то писал мне, что из Америки я лучше увижу Россию, увижу ее каким-то новым взглядом. Может быть, ты прав. Однако ощущать всю колоссальную ломку на собственной

шкуре и интересно, и сладко, и страшно – настолько всё захватывает. Это знаете ли, братцы, как прыжок с самолета: летишь, душа замерла, в ушах ветер свистит, навстречу несётся земная твердь, но настоящего страха нет, нет потому, что никто тебя не толкал под зад коленкой, ты сам хотел этого прыжка, мечтал о нем.

Письмо моё получается сумбурным, так давно я не писал вам и так много накопилось для разговора. ...

В этом году мы к вам приехать не сможем. Это точно. Дело в том, что мне предложили поработать на петербургскую фирму «Русское видео», я дал добро и теперь являюсь представителем этой фирмы в Поволжье по арт-бизнесу. Мы ездим по городам и покупаем картины у художников для выставок-аукционов, которые будут проводиться во Франции и Швейцарии. Заработок – это само собой, но для меня это еще и знакомство с новым миром. Видели бы вы, братцы мои милые, в каких дичайших условиях, в каких трущобах создается живопись! Пусть это не шедевры мирового искусства, но это великие страстотерпцы, униженные и оскорбленные, с восхитительным самоотречением творящие свои полотна в никуда и никому. Прежней власти было на них наплевать, нынешняя слишком голоштанна, чтобы помочь, а мужики бедствуют. В Европе, говорят, сейчас мода на русский реализм, и мы с экспертом натываемся в полуподвальных мастерских на целые свалки прекрасных пейзажей, натюрмортов, портретов. У многих картин нет хозяев, которые померли, так и не увидев, как чей-то глаз радуется их краскам. То, что позволяло им ощущать себя художниками, не приносило ни копейки, зато в скопческом агитпропе они кормились на халтурных пейзажах великих строек и портретах бонз. А сколько любопытнейших характеров приходится наблюдать, когда опешившему художнику предлагают назвать сумму, в какую он оценивает свои работы. Случаются и забавные сценки, так бы хотелось организовать их в каком-то сюжете, вот тут и приходит понимание, что жизнь прекрасна, но слишком коротка, чёрт побери! Круговерть. А в ней одни впечатления подавляют другие.

Весь завалившийся тираж моего «Автопортрета» кооператоры продали в Новосибирск на книжной выставке в Инте... Пока ни издатели, ни фирма не торопятся со мной расплачиваться...

Не думайте, что в базарной суете я забросил перо «великого провинциального сочинителя». Я пашу. Должно быть в прежних письмах я хвастливо проговаривался, что сел высиживать очередной «роман века» об апостоле Павле. Он требует слишком много ума и философии, и я его отложил до лучших времён. Вместо него соблазнился идеей сделать книжку под интригующим названием «Мужские забавы». Вы, небось, тотчас решили: ну, Никитин-паразит, надумал откровенничать о своих бабских похождениях, так? Нету, братцы, хоть я и дважды женатый, а бабник из меня никудышный. Мне вдруг ужасно захотелось в духе «Иностранного гостя» рассказать о том, как охотились цари, как охотились большевистские вожди и как охотимся мы – рядовой люд. Страниц пятьдесят уже накатал. Книжку задумал проиллюстрировать фотографиями Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева, Андропова, Ельцина на охоте... Когда во мне бурлит какая-то идея, замысел, работа, я не могу по-тихому переживать этот бурлёт (порок натуры), мне не терпится поделиться своим радостным ощущением...

Что касается «Кукушкина гнезда», то любой начитанный человек легко уловит близость этого названия к романом Кена Кизи, хотя он у нас публиковался под названием «Полёт над гнездом кукушки». Рисунок для обложки я придумал такой: наш 4-й университетский корпус – фотография, но вместо крыши свито гнездо из книг, на корешках которых написано – «Маркс и Энгельс об искусстве», «Ленин о литературе», «Сталин о языкознании», «Партийная организация и партийная литература», а в гнезде три яйца в цветах флагов – американского, немецкого и российского... Книжку оформляет ... Володя Чернов, тот, что делал мой «Автопортрет». Авось, хоть это издание не сорвётся.

Январь 1992 г. (Никитин – Ленчику)

...Утром бегу за стол с невероятной жадной и даже страстью писать, писать, писать, искренне проклиная себя за бездарное транжирство времени, за лень, за тупость, за барство, за трусость, за

сладкоежество, за... за... все, что мешает работать. Истинному таланту никогда и ничто не мешает – он фонтанирует при любых обстоятельствах. Я же раздражаюсь по малейшему поводу. Вот и сейчас перо валится из рук: бардак в стране сеет бардак в доме, в голове, в душе, сопровождая все это каким-то нервическим бешенством.

Вчера вечером начал писать тебе письмо, но не закончил, а утром встал в 6 утра и к открытию магазина пошел за хлебом – пришел вроде пораньше, но оказался в очереди 253-им! И почти три часа угробил. Благо еще, не было мороза. Стоял, и такая начала жечь злорада, что впору завывать, впору кинуться кусаться. Только кого кусать? Таких же бедолаг? Ведь злость моя неконкретна, она лишь реакция на беспросветность.

... Сам Господь Бог ставит лабораторный эксперимент в нашем Отечестве через избранных политиков – такова уже, видать, вечная российская планида. Политики толкаются локтями у входа в учебник истории. От газетного брёха тошнит. Наглость торгашей безумна, ибо своими ценами они толкают народ на сокрушение всего и вся. Боюсь, что «шоковая терапия» кончится бунтом подопытных кроликов, и наши травоядные напьются-таки крови политических доктринеров. В накаленных очередях раздаются голоса: вот расстрелять бы человек 20! Это пройденный урок. Сначала – 20, потом 200, а там за понюшку потекут миллионы.

И чувствуется в нынешнем состоянии предхахакири какое-то садистски-эстетическое наслаждение – Российское телевидение начинает свою новостную программу «Вести» такой заставкой: несётся Гоголевская Русь-тройка, тащит за собой колесо истории, отчаянно ржут кони, вожжи болтаются по ветру – и мчится тройка по кругу. Ни Селифанов, ни Чичиковых – сама по себе. Забавное озорство, но страшное.

Сочинительство требует душевного спокойствия, а его нет...

4 сентября 1993 г. (Никитин – Ленчику)

...Тираж «Гнезда» снизили до пяти тысяч, поэтому себестоимость вылезла на три миллиона. Чтобы оправдать затраты, не получив никакой прибыли, цена одного экземпляра должна быть 600 рублей. А станут ли ее покупать по такой бешеной цене? С издателей сейчас дерут семь шкур за бумагу, потом типографские расходы да плюс зверские налоги... В прошлом году наш гонорар кое-что ещё весил, а сейчас это нет ничего. Говорить о повышении ставки за печатный лист мне как-то неловко, зная, что книга убыточная.

Лёвушка, милый, наивный, безграмотный по российским меркам человек, ты позабавил меня своим приглашением в Штаты. Наглядности для я переведу тебе твой восемнадцатитысячный гонорар на его покупательскую способность. Ты можешь купить 1800 коробков спичек, или 18 пачек сигарет «Мальборо» или «Кэмел», или 130 белых батонов, или три раза заправить бензобак автомобиля. Какая Америка, Лёвушка? На свой «Кукушкин» гонорар я смогу доехать до Москвы, а на обратную дорогу на билет уже не хватает. Это при большевиках я мог бы скатать к тебе в гости на эти деньги, но они не пускали, а демократы пускают, но ехать не на что. Вот так-то.

У нас сейчас идет естественный отбор среди умеющих зарабатывать любыми путями и не умеющих этого делать. Тут я принадлежу к категории абсолютных бездарей. Мои попытки примазаться к бизнесу окончились полным крахом, и мне ничего не остается как молиться на родную жену, которая сказала: «Ты умеешь писать, вот сиди, пиши и не трепыхайся. Проживём на мою зарплату».

Обидно, конечно, слушать такие слова, но понимание жены выше всяких обид. Честно говоря, геройская у меня подруга жизни: вышла замуж за дворника с литературными претензиями, а серебряную свадьбу справляет с безработным писателем.

(Бизнес по скупке-продаже картин оказался неудачным: ни разу за два или три месяца не было зарплаты, правда, вместо этого предложили картину. Натюрморт с синими полевыми цветами остался напоминанием о тех временах. Подобный «бартер» был в порядке вещей – людям платили тостерами, массажёрами, игрушками, футболками – тем, что производила фирма. Товар продавали или обменивали, если получалось. – О.Н.)

Но не подумай, дорогой мой дружище, что я просто захребетник. В семейный бюджет я вношу свою лепту натурой... Недавно Виктор Астафьев сказал, в каком-то интервью, когда ему за том в серии «Классика современности» заплатили 9 тысяч рублей (тебе, видишь, причитается в два раза больше, – можешь этим гордиться), так вот он сказал: «Когда писателям не платят гонорары, они берутся за ружьё». Вот и моя лепта состоит из охотничьих трофеев.

Из-за того, что нашему брату ни черта не платят, я свою книжку об охоте издавать раздумал. Одной больше, одной меньше – это меня уже не волнует. Опубликую отрывки в газете и хватит. Как бы застолблю тему.

Чем я удовлетворен в «Мужских забавах», так это не фактическим материалом об охотах царей и вождей, а найденной иронической интонацией. Всё правда, но рассказана как бы не всерьёз.

...Все наши политические теленовости смотрю раз в неделю и сыт по горло. Через неделю включишь – опять та же самая грызня: кто сколько украл, кто у кого брал взятки, кто коррупционер. Надоело. И это собачатся верховные власти, а те, кто ниже, чувствуют себя, как рыба в воде. И такое падение, по-моему, от безверия. Христиане верили в райскую загробную жизнь и воровать боялись, большевики верили в светлое коммунистическое будущее и тоже не хапали сверх меры, нынешнее же безверие развратило до чрезвычайности – всё можно, всё дозволено, и степень совести определяется толщиной кошелька. Это замечание к тому нашему спору о «Свадьбе». Узкий круг высококонравственных интеллектуалов может отрицать необходимость веры, но большинству людей без веры никак нельзя. Силу составляют они, и им не обязательно штудировать Талмуд, Евангелия, Коран или «Капитал» Маркса, они должны знать одно – их учение «всесильно, потому что оно верно», и не ломать голову над всякими Бердяевыми и Кьеркегорами. Всякое учение рассчитано на послушных, а не на думающих. Мне показалось, что именно в этом плане хромает твой «Свадебный» спор с братом...

11 октября 1993 г. (Никитин – Ленчику)

...Наверное, ты уже потютюшкал в руках «Кукушкино гнездо»... Володя Масян в связи с нашей дикой инфляцией, переделал договор с нами и вместо 2 тысяч за лист (печатный) заплатит 10 тысяч. Много это или мало? Суди сам: зарплата директора атомной электростанции миллион, пособие по безработице 18 тысяч – вот такие социальные качели. Так что наш гонорар – это не много и не мало, это просто лучше, чем было.

Как только получу деньги, полгонорара грохну на разговор с тобой... Черт побери, хочу услышать твой русский голос с неизменным американским о.кей. Услышать ещё и потому, что ни одно письмо до меня пока так и не дошло.

Чиновники из ОВИРа поставили меня в дурацкое положение: на словах я вас вроде пригласил, а на деле – официального приглашения нет как нет... Четвертый месяц тянется эта идиотская резина.

А как я мечтал устроить телешоу по «Гнезду» – американец, немец и русский. Ведь такого в нашем отечестве ещё не было! Наши телевизионщики даже в план поставили эту передачу. Более того, ею заинтересовалась Москва и просила прислать на ЦТ. Всё коту под хвост!

Впрочем, не всё. Передача всё-таки состоится. Только отбиваться от критических нападок буду я один, без тебя и Славки. Втроём мы бы прекрасно отмахнулись, а так я буду представлять собой то ли боксёрскую грушу, то ли новичка на ринге, выступающего против чемпиона. Чемпионом будет Валера Прозоров, которого совсем недавно избрали действительным членом Академии наук России. После Скафтымова он в нашем Ретрограде второй полноценный академик. Моим секундантом будет Володя Масян, а рефери на ринге одна телеведущая дама. Как пройдет бой, сколько фингалов мне поставят за вас и сколько за меня самого – я вам потом напишу.

...У нашей книги две физиономии – литературно-художественная и политическая. По первой можно колотить сколько угодно, в зависимости от вкусовых пристрастий... Политическая же

наша физиономия, особенно после второго путча, учиненного Руцким-Хасбулатовым, стала ещё более respectable, теперь ее не лупцевать, а целовать надо. Поживем – увидим.

И ещё, дорогой Лев, у меня вот такая новость – я тебя догнал! Я ушел на пенсию. ...Я про-рывался в этот рай по-русски – через ж...! То есть через биржу труда по безработице. Семь месяцев я получал пособие, а когда мне кокнуло 58, то по закону биржа передала меня собесу. *(В связи с зашкаливающей безработицей в стране принималось законодательное решение отправлять людей на пенсию на два года раньше принятого возрастного ценза. – О.Н.)*. Там тоже стали чесать в затылке: как этого великого русского писателя отправить на пенсию? Ведь он же, стервец, будет и деньги получать, и романы сочинять, а это несправедливо. Звонили в министерство, консультировались – что с таким типом делать? Министерские мудрецы приняли соломоново решение: а возьмите-ка вы с этого ушлого борзопища расписку, что в течение двух лет он не будет заниматься творческой работой! И я, разумеется, тут же на канцелярском собесовском столе набросал расписку, что де до исполнения 60 лет буду нем, как рыба, в переводе на уголовно-процессуальный язык я дал «подписку о невыезде» в печать.

Что бы в моем отечестве не происходило – война, мор, революция, путч... я обязан молчать. Но не спеши осуждать меня: моё молчание оценено в 1201200 рублей. По-моему, ни одному писателю в мире так не платили только за то, чтобы он не брал пера в руки. Лев, теперь твой друг самый дорогой писатель во все времена и народы и достоин быть занесённым в книгу рекордов Гиннеса. Ни один издатель не даст мне такого гонорара за «Царские забавы», а тут – миллион за молчание. Если же я где-нибудь что-нибудь вякну – статейку там, рассказ или, не дай Бог, целую книгу – моя песенка будет спета, и я буду изгнан из пенсионного рая.

Поскольку на святой Руси нельзя быть жуликом (новая книга-то у меня почти готова), я придумал себе псевдоним – Анна и Михаил Никитины! По принципу – Анн и Серж Голон с их сериалом Анжелик. Здорово? То есть «Царские забавы» сочинил не я, а мои дочь и сын. Сын журналист, дочь студентка экономического института – вместе они, может, даже гениальнее своего отца.

Ребята, поскольку учительских идей, как у Христа, Толстого и Достоевского, у меня нет, я просто радуюсь жизни и бумагу мараю ради того, чтобы этой радостью поделиться со своими читателями. Учитelьствовать бессмысленно, люди все равно живут так, как хотят, а не как им говорят великие умы. Поэтому – слава небу, солнцу, земле и жизни!

30 декабря 1993 г. (Ленчик – Никитину)

...Юра-дружик, вчера получил твоё письмо с номером «Саратова»... В целом газета несколько пустовата, но спасибочки, что прислал, дух и слог публикаций по душе мне и по вкусу. Все вместе (включая и другие попадающие ко мне издания) приятны тем главным для меня, что Россия – современная, европейски образованная и европейски думающая страна, и все ретивые потуги вновь уложить её в орду и изолированную самобытность никакой серьезной опасности не представляют. Понравилась мне и заметка о нас.

12 февраля 1994 г. (Никитин – Ленчику)

Почему это ты, нехороший человек, решил, что я не приму «Свадьбу»? Из-за того, что я русский и мне будет непонятно читать о горьком чувстве еврея в России? Или я притворюсь, будто ни с чем подобным не знаком – ни с анекдотами, ни с пятой статьёй, ни с обиходным небрежением к еврейской нации?

...Мой выдающийся нос до сих пор не даёт покоя антисемитам... В детстве меня часто обзывали жидом, и я всегда дрался... Но я стал стар и мудр и уже не машу кулаками. У нас в писательской организации на юдофобской почве здорово бесятся две старые дуры: с профессоршей-физиогномисткой я просто «здрасте», другую – в упор не вижу... Они считали Солженицына евреем из-за отчества, а теперь поутихли... Пылкость рядовых антисемитов из писательской среды я объясняю единственным: незаметность своих сочинений легче всего мотивировать засилием евреев, а не собственной бездарностью.

Не могу не рассказать тебе ещё об одном потрясающем факте. Наш местный поэт Исай Тобольский (может быть, ты даже его помнишь?) во время арабо-израильской войны прославился двумя поэмами в «Огоньке», где в пух и прах громил Натана, убивающего несчастных арабов. Помнится, я что-то вякнул, сравнивая его поступок с Иудой, хотя один мой однополчанин, симпатичный парнишка Юрченко погиб в Египте во время воздушного боя, а другой, Юрка Бурлаков, получил там «Красную звезду», так что, в принципе-то, останься я в авиации, тоже мог бы принять участие в той заварушке. Какой-то доброхот на меня капнул, после чего состоялось четыре беседы с моим уже Хромополком (*имя кагебешника, героя повести Ленчика «Свадьба» – О.Н.*). Пришлось написать две тусклых объяснительных, а один разговор, по моим наблюдениям, был записан на плёнку. Беседы были не столько об Исае, сколько об Исаиче Александре (*Солженищине – О.Н.*), но о первом я сказал открыто: еврей не имеет морального права выступать и осуждать свой народ, в любом случае это нехорошо. Хромополк меня понял. Кстати, у меня с ним остались добрые отношения, ну а сейчас мы вообще приятели – дачи у нас рядом, вместе паримся в сауне у соседа и пьем водку. Более того, он теперь бизнесмен, и когда мне понадобились деньги на «Кукушкино гнездо», он отвалил 25 тысяч на 50 экземпляров для раздаривания. А ведь там не только мы с тобой, там Сорокин, на которого уголовное дело в КГБ толщиной с «Войну и мир».

Видишь, какие фортели выкидывает жизнь. Но я бы забыл об этом фортеле, если бы она не выкинула ещё более невероятный. Наш поэт-трибун читал перед публикой свои поэмы, смысл которых – «я – еврей и ты – еврей», но я правильный, а ты, Натан, нет, и для пушей славы говорил всюду, что сионисты завалили его письмами с угрозами и что он отдаёт их куда следует. Чем вся эта история закончилась? Никогда не придумашь наказания более насмешливого и жестокого: у Исаю – человека весёлого, жизнерадостного, непоседливого, немного бабника и немного пьяницы, у этого горлана-главаря вдруг стал пропадать голос. Врачи обнаружили в горле опухоль, пришлось делать операцию и удалять голосовые связки. Он стал немым. Поэт, обречённый не слышать самого себя. На днях мы столкнулись с ним на улице:

– О-о! Исай Григорьевич, как жизнь?

Старик весело улыбался, губы его что-то говорили, но я слышал только легкий сип. Потом он безнадежно махнул рукой, и мы разошлись. Мне жалко его. Вот говори после этого – нет Бога! Ну что твоя, Лёвушка, весьма литературщицкая «тучка золотая на груди утёса-великана» рядом с немойшей Исай?

Лично мне мою позицию к еврейскому вопросу продиктовал мой нос – он моя гордость, хотя национально и не самобытен: в Германии со мной заговаривали по-немецки, на Кавказе обращались то ли на абхазском, то ли на грузинском, в Баку я тоже слыл за своего, а татары, когда я начинал говорить по-татарски, даже упрекали, что-де стыдно не признаваться, что я татарин. Вот только ни один еврей ни разу не признал во мне еврея. Я и детям своим подарил такие же гениальные носы и сказал: ребята, радуйтесь, у вас носы так носы, а каким-нибудь прыщом между глаз разве можно гордиться!? (*Подозреваю, что и меня он выбрал за мой, тоже выдающийся, нос с горбинкой! – О.Н.*).

...«Свадьба» твоя – неожиданна, тревожна, страдательна, обоюдоостра и обоюдоопасна, но – в общем – замечательна. Ничего подобного я представить себе не мог, когда начинал чтение.... Я-то думал, что ты или твой Нухим стоите на позициях банального атеизма, оказалось же, что твоё отрицание веры гораздо глубже и трагичнее, так как любая вера порождает между людьми звериные отношения.

Ты затронул самую, наверное, болезненную и самую неприкасаемую тему в литературе и раскрываешь ее на самой щекотливой что ли почве для разговора – чувстве русского еврея как изгоя, не преодолимого даже в неантисемитской Америке. Как всегда, я позавидовал твоей неординарной башке. Молодец, Лёвушка! Замысел изумительный. Честно признаться, подобная идея бродила и в моем сознании: эх, вот написать бы психологический детектив о русском с еврейским лицом, о человеке, которого окружающие принимают как бы за иностранного шпиона!

– но идея казалась мне непосильной. (Вот ещё когда появилась идея, из которой через 9 лет вырос роман «Санкт-Сарытау или похождения тайного еврея. Далее идёт обстоятельный анализ на нескольких страницах – характеры героев, сюжетные линии, язык и т.д., который можно опустить – **О.Н.**)

Несмотря на всяческие мои придирки, ты – молодец! Роман состоялся. Слово «прекрасно» к нему не подходит, потому что никакая боль не может быть прекрасной. Сильная вещь!

...Лев, дорогой, чего это ты вдруг испугался Жириновского? По мне, так он чрезвычайно забавен. Его напрасно сравнивают с Гитлером, ничего подобного, он – типично русское порождение и свободно укладывается в продолжателя исконных традиций – Разин, Пугачёв, Чернышевский, Ленин. Если он не добьётся успехов, то лишь потому, что не был в Саратове, на Волге. Недавно у нас в гостях была Татьяна Корсакова, жена Вадима Рыбенкова (Вадим тоже журналист, однокурсник Никитина и Ленчика – **О.Н.**), она спецкор «Комсомолки», выпивали, болтали, в том числе о Жириновском. Потом она выдала сильную статью под названием «Жириновск», присвоив нашему городу новое название, потому что в Саратове тот получил максимальное количество голосов. Вторая, рядом, статья называлась «Гайдаровск» (про Архангельск – **О.Н.**) Весело живём!

Если не приедешь в Саратов, то и в Жириновск не попадешь!

21 декабря 1994 г. (Никитин – Ленчику)

...Я свои «Царские забавы» закончил. В «Аргументах и фактах» с риском быть втянутым в судебный процесс за нарушение закона о пенсиях, – я ведь дал подписку о «невыезде» в печать, о том, что два года не буду заниматься творческой работой, – все-таки соблазнился опубликовать маленький кусочек. Я тебе его посылал: Горбачёв и царь Федор. Ну а издавать всю книгу боюсь. Надо подождать ещё восемь месяцев. Иначе, сказал мне адвокат, у которого я консультировался, собес подаст на меня в суд, и у меня отнимут пенсию, постановят ещё и вернуть те деньги, которые я давно проел.

С одной стороны, все-таки одолевает искушение подставиться под процесс – ведь ни одного писателя ещё не судили за то, что он держит перо в руках, не может не держать. Ситуация, по сути, парадоксальная, суд должен быть весьма скандальным и в какой-то мере даже позорным для властей. Тут следует ожидать большого шума в прессе, а значит, популярности автора и книги. Реклама – двигатель тиража! С другой стороны – все равно обдерут, как липку, поскольку закон все-таки нарушен. Письменно, мол, обещал не писать, денежки на бедность получал, а сам, гад такой, за это время целую книгу накатал. Подсчитают: за шестнадцать месяцев ограбил государство на семьсот долларов! В долговую яму его, каналью!

Есть в моей ситуации и третья сторона – хорошая: не скандалить, а дать рукописи отлежаться. Потом перепечатать ещё разок, убрав всякое умничанье, выпренность, грубоватые наскоки, глупость, многословие (а напал я 400 страниц) и прочие вещи, за которые будет стыдно. В общем – думаю.

11 февраля 1996 г. (Никитин – Ленчику)

... Теперь на моём письменном столе лежит один только святой Павел. Перечитал черновые выписки и наброски и подумал: Господи, по силам ли моему скудоумию столь могучая фигура? Страшно. Но куда деваться? Ощущение – как при первом прыжке с парашютом... Мараю листы и выкидываю. Никак не могу подобрать тональность. Как подберу, всё пойдет более-менее гладко.

На «Царские забавы» мы продолжаем возлагать большие надежды – финансовые... Однако в деловом плане я оказался весьма нехитроумен. Прихожу в издательство и с некоторой даже гордостью выкладываю все карты: вот, дескать, ребята, в «Волге» печатают, в газетах тоже, в Америке (!) печатают даже, – это как карта козырная... Со мной, «американцем», тут же начинают вести себя так: ах, он по границам катается, его в Чикаго публикуют, да это ж, поди, миллионер! И заламывают бешеные цены! Думают, я Ваньку валяю... Не стану же я рассказывать, что жена обрезала шубу, чтобы залатать протертые до лысины места, что американская куртка на мне,

самая приличная из всей моей одежды, дареная, а не купленная, что дочь стесняется пригласить в дом парня из-за неприглядного вида нашего санузла... Мы вам-то этого не говорили, потому что нищета – вещь стыдная, даже неприличная... В петлю этого издательства я не полез.

Потом забрезжила Москва. Ребята даже отправили заявку на мою книгу в Англию, назвали меня вторым Джеромом. Ведут разговор о тираже в 50 тысяч. Авось. Итак, забрезжило. Но жизнь в России от жизни во всех других государствах отличается тем, что на её горизонте всегда рассвет, только солнце почему-то всё не всходит и не всходит...

19 июля 1996 г. (Никитин – Ленчику)

Лева, ...дела мои топчутся на месте. Книгу пока не издал, поэтому ещё не разбогател. Но, чувствую, начну скоро конкурировать с Рокфеллером.

Когда мне позвонили из музея Чернышевского и предложили толкнуть речь на юбилее Кирилла и Мефодия, я решил было отказаться: ну разве я потяну против гладко- и умноречия профессоров-филологов? Но потом раздухарился, решив, что никто не догадается взглянуть на русский язык с высоты как бы птичьего полёта – язык, допустим, и политика. Ну и толкнул фюрерскую речь на публике. А потом она мне до того понравилась, что я предложил её газете «Известия». Лёвушка, жду бульжник в свой огород. Пуляй.

...Строчил ещё статьи. Одна знакомая дама, прочитавшая «Почему я продался ЦРУ», сказала: «Юра, зачем же ты так неосторожно пишешь? Ведь если победят коммунисты, тебя же первого к стенке поставят». – «А я рад, что имею право вот так вот озоровать теперь в политике, не боясь, что меня схватят за ахиллесову пятую».

Кстати, получил приятную для себя информацию: рассказывали, что некоторые делали с моих газетных «Американских впечатлений» ксерокопии и передавали друг другу. Ольгины статьи тоже пользовались большой популярностью: в школах учителя биологии устраивали коллективные читки вслух. Теперь ее соблазняют сделать книгу по экологии.

12 августа 1996 г. (Ленчик – Никитину)

...Юра, получил письмецо от тебя с двумя замечательными статьями. Ты не представляешь, с каким удовольствием я их читал, в особенности, по части стиля. Чисто, живо, динамично. Очень присущая тебе легкость, но не в ущерб ясности мысли, с хорошей хваткой и оригинальным ощущением предмета. Чудесны оппозиция «свобода – воля», о принудительном лечении в Америке, о власти, которая нужна раз в 4 года, о языке, более дружелюбном, чем мы сами, и многое другое. Чувствую, что какая-то раскованность прорвалась в тебе. Правда, я тоже не стал бы пока дразнить гусей тем, что ты «продался ЦРУ». За коммунистов голосовала почти половина избирателей (!). Одно всего замечание: ты имел возможность зарисовку о языке закончить не его мудростью, которая поможет ему одолеть нашествие новых иностранных словечек, а своей. Ведь сам заявил, что он зеркало социальной среды. Отсталость русской жизни и технологий – вот откуда вся эта иностранная грязь. Своих словечек нету, а называть новые вещи как-то надо. Если Америка добавила твоей душе раскрепощения, широты, артистизма и независимости суждений (а кажется, что это так), то не унывай, сделаешь нечто такое, что будет вровень с открывшимся в тебе вторым дыханием. Дай-то Бог!

Что касается моих личных поползновений, то ничего радостного сообщить не могу. Написал ещё два рассказа, с которыми опять ни в какие массовые издания не сунешься. Где-то в потемках назревает новая большая вещь.

...Тоска еще и оттого, что ваши «волговцы» воспринимают мои старания как переводы с английского (если это не оговорка). По натуре во мне больше русскости, чем в ста тысячах русских, вместе взятых, не считая, разумеется, шовинистической швали, которую не милую, даже если она в ермолках. Да, тяжело переживаю и активизацию еврейских ортодоксальных фанатиков, с пеной у рта рвущихся навязать стране древние ритуалы. Два дня потратил на длинное вежливое письмо Проханову (редактору газеты «Завтра»), но вряд ли отправлю. Победа Ельцина особенно

не радует. Он уже способен лишь на то, чтобы растянуть состояние болота на долгие мучительные для вас всех годы...

23-27 сентября 1996 г. (Ленчик – Никитину)

Милые наши Никитины! Что-то чересчур тихо стало. Лист ещё зелен, и листва густа, но по-осеннему пасмурно и зябко...

Пару дней назад попался мне журнал «Таллинн», а в нём ваш Алексей Слаповский с «Вещим сном». Ясно, что захлебнулся. Не знаю, в каких ты с ним отношениях, если в сносных, поклонись ему от меня. Никогда не подозревал, что Саратов порадуется когда-то таким свежим и ярким дарованием. В нём все замечательно: и выдумка, и слово. И конечно же, мысль. Где-то Шукшин (в картинах деревенских), но на порядок выше по универсальности и артистизму. Тоньше интонации, да, по-моему, и весь изобразительный ряд.

Пожалуйста, пришли мне всё, что у него вышло, если достанешь. И если можно, не затягивай. Даже не терпится захватить его пошире, да и себя проверить. Неужто ошибаюсь? Дорого ещё и то, что у него нет никакого эпатирования. Ведь и Владимир Сорокин, и Буйда тоже очень талантливы. Но один – говноед, а другой – тяжеловат и мрачен для меня.

...Очень дорог мне был все годы Венедикт Ерофеев («Москва-Петушки»), а где-то с полгода назад появился у меня сборник «Оставьте мою душу в покое». Довольно часто эту книжонку мусолил (в ней записная книжка его с замечательными пометками), сопереживал, как обычно, высокой духовности, жертве и прочее. Но вот пару дней назад прошла злая трезвая мыслишка: сколько можно?!

Сколько можно вонючую душу свою поднимать над жизнью и выставлять ее напоказ в качестве духовного протеста! Ты посмотри в чём величие. «Я вышел из дому, прихватив с собой три пистолета, один пистолет я сунул за пазуху, второй – тоже за пазуху, третий – не помню куда. И выходя в переулок, сказал: «Разве это жизнь? Это колыхание струй и душевредительство». Опять же, литературный план совершенно гениален. Ну а за ним? Надо ли сопли распускать! Ты хибару сначала построй, хлеба в дом притащи, потрать свою вулканическую душу на что-то дельное, а потом уже выступай со своей поэтической (демонической) претензией к жизни. Думаю, в любой жизни – и в эпоху царей, и в эпоху коммунистов, и сейчас, помимо непролазности, есть ещё что-то. Но русский нетерпеливый нравственный гений всегда рвется в какое-то ах-ах, чтоб никакой слезинки ребёнка, чтоб ни-ни. И вот – рушит, а порушив, видит, что ещё хуже, но поздно, ничего не воротит. И пошли-поехали в новый пляс, до нового душевредительства. Конечно, это не моя мысль – Бердяева, но всё время на нее натыкаюсь и бурлю бестолку. Силёнок нет, чтоб её в каком-то крепком сюжете прорычать. Может быть, такие ребятки, как Слаповский, до неё доберутся.

Пару слов о себе. Решил выйти в люди – и поплёлся в разные клубы местных литераторов. Приняли хорошо. Успешно читал на одном из вечеров перед широкой публикой. Мои рассказы пошли по рукам как этакий чикагский самиздат. Собираются делать мне авторский вечер, от которого пока отбрыкиваюсь.

8 сентября 1997 г. (Никитин – Ленчику)

... Из ваших писем я сделал главный вывод: поездкой вы не разочарованы. Значит, соблазнял я вас не напрасно.

...Не писал же я вам по той причине, что сразу после вашего отъезда засел за пиесу «Санкт-Сарытау». Сочинялась она легко и весело, и закончил я её довольно быстро. Дал кое-кому почитать из лиц доверенных – смеются!.. Дал почитать двум актерам на предмет постановки на сцене, воображая, как публика валом повалит на мою комедию, а ты, Лёвушка, умрешь от зависти.

Первый актер сказал: нам театр новый начали строить, но если мы поставим твою пьесу, то его не построят никогда, извини! Второй: я бы с удовольствием сыграл роль губернатора, но меня примут за сумасшедшего, если я покажу её в театре. Один режиссёр продержал пьесу три недели и не сказал ни бе ни ме.

....Бронелобые чиновники восприняли её не как дружеский шарж, а как пасквиль, сатиру, как пьесу-фельетон. Даже Коля Яковлев не осмелился опубликовать последние два действия...

Лучшая способность умного человека – способность к самоиронии. Где такого найти? Одна толковая дама из чиновничьего аппарата посоветовала: постарайтесь попасть на приём к губернатору, если он скажет «да», то пьесу и напечатают, и поставят. Вот она – посткоммунистическая Россия: свобода! Демократия! Пиши, что вздумается, однако решает всё начальник.

Мне, собственно, терять нечего: сижу, сочиняю письмо губернатору, объясняя, что пьеса в общем-то, не о нём, а о «тотало-московском иге», под гнётом которого живёт российская провинция. Даю историческую справку о том, что-де цари и короли любили шутов и скоморохов, что Хрущёв любил слушать сочиненные про него анекдоты, что Ельцин снисходительно относился к зло пародирующим его «Куклам», что на Западе считают за честь быть высмеянными в каких-то ситуациях... что не обидеть цель моя, а добро поулыбаться, весело поиронизировать и тем прибавить пользы доброму имиджу губернатора. Более того, сам я управлять движением пьесы уже не в состоянии, т.к. один экземпляр украден в здании министерства культуры. А более того: о комедии прослышали в Волгограде и Нижнем Новгороде, попросили прислать им и, разумеется, я не захотел им отказывать. Однако если в этих городах, также претендующих на звание столицы Поволжья, комедия увидит свет раньше, чем в Саратове, то тогда непременно станет восприниматься как сатира, как насмешка над нашим городом.

Как сложится судьба «Санкт-Сарыгау» – не представляю. Если так, как у «Царских забав», то на кой чёрт садиться за Павла?

После кражи я с испугу попросил набрать пьесу на компьютере, и теперь она у меня существует на дискете. Конечно, Гоголя переплюнуть, как ты просил, не удалось, но попытка сделана не совсем, надеюсь, бездарная. Читайте.

17 июля 1998 г. (Никитин – Ленчику)

... После выхода «Забав» я подарил своим героям по книге, все довольны, говорят: не так всё было, ты многое наврал, но всё равно смешно и интересно. Насмерть обиделся только Борис Де-дюхин. Я сделал ему такую дарственную надпись: «Дорогой Борис Васильевич, не сердись на мои дружеские шаржи, я ведь писал их с большой любовью ко всей нашей охотничьей компании». Он вернул мне книгу по почте со своим автографом на первой странице: «Господин забавник! Возвращаю то, чем тебя пронесло... Если ты свою глумливость считаешь за юмор, то я думаю, что это подлость». Каково, а? Злобы-то, злобы-то сколько... Четверть века мы с ним ездили на охоту, спали вместе, ели из одной чашки, пили водку из одного стакана – и вдруг из-за отсутствия чувства юмора в нём вспыхнула национальная ненависть. Мне даже смеяться над ним не хочется, потому что это болезнь...

(Про эту болезнь написал Сергей Боровиков в журнале «Волга» №7-8 за 2018 г.: «Юрий Никитин, один из честнейших саратовских писателей. ...Лучшее он написал не в молодости и не в старости, а посередине, это повесть по воспоминаниям военного детства «Время возвращений». Здесь Никитин во всем выше самого себя. Мне стоило больших трудов убедить Палькина её опубликовать в «Волге». А что же ближайший друг автора по жизни и охоте зам. Палькина Дедюхин? Некрасиво повёл себя Борис Васильевич. Напиши Никитин повесть серенькую, средненькую, он несомненно встал бы на её защиту. А здесь была явная удача, такая, что самому БВ и не снилась. Он прямо не выступал против повести друга, а лишь кривился при её обсуждении. Приятель не должен был писать лучше, чем он». Юра этого не знал. – О.Н.)

В остальном всё хорошо. Презентация прошла весело, хотя профессура затянула несколько свои выступления. Но гуси-утки, шуры-ружья, криканье и стрельба из пистолета среди музейной чопорности, повергая тамошних дам сначала в панику, а потом в хохот, водка и шампанское сработали на славу: «такой презентации у нас ещё не было!»

(...)

Книга пока популярна среди боссов и чиновников, в магазинах расходуется туго – у народа нет денег. Да и книготорговцы уж очень взвинтили цену – до 5 долларов. А дело моей чести вернуть до декабря фирме вложенные в издание деньги – это приблизительно 20 тысяч долларов. О прибыли уже не думаю. Богатеть, оказывается, ужасно трудно. Вот я сейчас и работаю на самого себя и грузчиком, и шофером (развожу книги по магазинам, махнул даже в Волгоград с 500 экз.), и менеджером, и бухгалтером, и рекламодателем...

28 сентября 1998 г. (Никитин – Ленчику)

...Книга моя расходуется плохо, – так говорят книгопродавцы, чтобы не отдавать денег. Никто никому старается не отдавать деньги, судиться нет смысла, поэтому прибегают к помощи киллеров и рэкета. В Москве на Московской книжной ярмарке интерес к книге был, но я взял с собой всего 12 штук. Половину продал, половину выпросили. Министерство печати будет представлять ее на Международной книжной ярмарке во Франкфурте. Фирма «Международная книга» тоже приобрела 50 экземпляров... Спрос-то есть, но у народа денег только на еду. О гонораре я уже не мечтаю... точнее-то мечтаю, однако надежд никаких, хотя реклама весьма обширная – что-то около 30 рецензий, интервью, телепередач и просто информации.

...Фирма, вложившая деньги в издание, занимается железками и, естественно, на меня свалились все дела по реализации, ну я вынужден крутиться и из чувства чести, и из благодарности за риск, на который фирма пошла.

2 апреля 2001 г. (Никитин – Ленчику)

...Лёва, за последние 10 лет у меня вышло четыре книги, на которых я не заработал ни гроша гонорара, если не считать литературной премии... Зато в плане духа я живу превосходно. Вот на 11 апреля получил приглашение выступать на республиканской научной конференции «Русский роман XX века: духовный мир и поэтика жанра». Я далёк от филологической науки с её «метаязыком анализа» и «структуральной терминологией», поэтому буду говорить, не надуваясь величием, о своём субъективном восприятии литературного творчества, о том, как у меня делается дело, рождаются идеи, выпекаются характеры и прочее...

В плане духа всё превосходно, пока не возникает план материи. Тут я начинаю чувствовать себя висьельником на табуретке. Мой табурет – это Ольга, которая зарабатывает до 300 долларов в месяц, моя верёвка – это моя пенсия в 23 доллара 25 центов. Чтоб вам было понятнее, приведу кое-какие цены: за квартиру мы платим 14 долл., блок сигарет – 1,3, бак бензина – 10 долл., кг хорошего мяса – 3 долл., сейчас мне надо менять сдохший аккумулятор – это 35 долларов.

Государство поставило пенсионеров в чудовищные условия. На словах правительство вроде бы печётся о стариках, а на самом деле желает, чтобы они скорее передохли. Поэтому моё любимое государство – это моя жена, которая не только кормит-обушивает-одевает сочинителя, но ещё и любит его, которая устраивает мне выволочки не по поводу «иди, зарабатывай деньги», а по поводу – «сиди и пиши». Поэтому я над ней дышу! ... Охотничья добыча – мой единственный вклад в семейный бюджет. За зиму я привёз кабанятины долларов на сто... 14 января мне повезло самолично завалить огромную свинью: стоял на краю леса, загонщики выгнали стадо кабанов на поляну, они на махах понеслись ложочком, мне были видны только холки, ну и старый хрыч в унтах рванул наперерез (азарт сильнее страха) и метров с двадцати выстрелил – в шею, наповал. А 26 марта, перед моей презентацией, вернулся из степи с тремя гусями и уткой: тяжеломерно, конечно, четверо суток среди голого горизонта – то ветер, то солнце, то снежная пурга, по утрам и вечерам морозец, а сидишь-то в окопе, на дне которого то лёд, то грязная жижа.

Братцы, во все эти материальные пошлости я решил вас посвятить, чтоб вы не намечали конкретных сроков нашего приезда... Ты, Тигрищин, сказал, что во Флориде «ты увидишь настоящий рай». Соблазнительно побывать на экскурсии в раю, но возвращаться-то снова придётся в «ад», экономический, разумеется. Снова прибыть к вам иждивенцами – бессовестно. Вы и так на

нас здорово раскошелились, показывая основную Америку, поэтому курортная пусть подождёт. Вот распродам «Забавы»... и тогда мы рванём к вам.

Декабрь 2009 г. (Никитин – Ленчику)

Лев, дорогой, можешь меня поздравить: спустя сорок три года у меня, наконец-то, опубликованы в «Волге» серапионы. Вот что значит волнообразная перманентная российская свобода слова: кого раньше можно было только хвалить, теперь матерى сколько влезет. Потом пойдёт другая волна. Лафа! Серапионы – это, пожалуй, последняя моя публикация...

Один номер «Волги» надумал послать в музей Гофмана в Бамберге, это 200 км на юг от Берлина. Интересно, знают ли немецкие литературоведы, что Гофман ошибся, отнеса смерть Серапиона ко времени императора Деция? О серапионах петроградских они наверняка знают, а вот о санкт-петербургских 1839–1841 гг. вряд ли. А мне любопытно было бы узнать: это только на русской литературной почве такое обилие диссидентствующих серапионов, или где-то ещё есть? Почему-то ни один книжный червь не докапывался до того, что серапионство, как мировоззрение, объединяет всех не раболепствующих перед властью художников, независимо от того, в какое время и при какой политической системе они живут – диктатуре или демократии, монархии или развитом социализме...

(В архиве Никитина обнаружилась страница из книги В.А. Каверина «Вечерний день» с письмом писателя-серапиона Михаила Слонимского от 01.02.1966 г. В нем говорится: «Дорогой Веня, спасибо за книгу... Приятно, что в твоих рассказах о том времени всё точно, достоверно и в то же время лирично. Сейчас разные молодые люди пишут работы о Серапионах. Только я прочёл твою книгу, как появился один из таких диссертантов – Юрий Михайлович Никитин из Саратова. И разговор с ним я начал с того, что рекомендовал ему твою книгу. Кстати, сегодня 40-летие Серапионов, с чем и поздравляю...». Слонимский получил от Каверина книгу воспоминаний о молодых серапионах, которая называется «Здравствуй, брат. Писать очень трудно...» – М.: Сов. пис., 1966. – Её-то он и рекомендовать диссертанту. – О.Н.)

Сопроводительное письмо на немецкий язык переведёт моя внучка Ксения. Она сейчас в Берлине заканчивает учёбу, шпрехает свободно. Я к ним в Питер еду в начале января, когда Елена с мужем и сыном вернутся из турпоездки. Она-то и уговорила меня приехать на консультацию по поводу зрения в Питер. Левый глаз ни черта не видит – сплошной туман... Завязать с сочинительством – запросто, а вот если с охотой придётся завязывать, то по этому поводу я могу только плакать и рыдать.

Главное событие – СГУ отмечал 100-летний юбилей. Меня пригласил Ванюков. Припарадился, пришёл. Народу всех выпусков – куча мала. Из наших были Люся Хижняк, Ольга Соколова, Милка Головина, Люся Негодина и я – единственный представитель мужского пола. На 99,99% лица незнакомые. Огромная аудитория в новом корпусе, сцена, ряды кресел амфитеатром, вечер вёл Прозоров. Всё было довольно скучно: поздравительная речь на 5 минут ректора, долгое вручение похвальных грамот всем преподавателям (из наших была только Мара Борисовна, а Евгения Павловна не была, приболела). ...Ещё что-то было, но совсем не запомнилось. Потом всех пригласили на фуршет, но я сачканул...

Тигрищин, с Новым годом тебя! И с никогда не забываемым днём рождения! Желаем и тебе и Вале каждый день, просыпаясь по утрам, ощущать счастье жизни!

Философ, филолог, теоретик культуры, эссеист Михаил Эпштейн снова издал неожиданную книгу, сопротивляющуюся укладыванию в рамки. Формальная жанровая принадлежность у неё есть – это словарь, излюбленная автором форма систематизации мысли. Такую форму, как помнит читатель, Эпштейн избрал даже для своих, общих с Сергеем Юрьененом воспоминаний о юности: «Энциклопедия юности» (М.: ЭКСМО, 2017). Кроме того, ему принадлежат примерно две трети статей в каждом из двух выпусков Проективного философского словаря (Алетейя, 2003, 2020) и авторский «Проективный словарь гуманитарных наук» (НЛО, 2017).

Однако словарь перед нами на сей раз – особенный. То, что приведено в нём в простую алфавитную систему, сам автор называет «первопонятиями», они же «ключи к культурному коду». Родственные «вечным» вопросам: подобно им, первопонятия принципиально ускользают от окончательных и чётких формулировок. И тоже вечны? Они – столько же понятия, сколько и стимулы к формированию таковых, их подземные – потому что скрытые от полного и ясного осознания – корни. И это при том, что интуитивно – если не вникать – они кажутся вполне понятными, благодаря чему составляют основу мышления не (только) философского, а самого что ни на есть повседневного, – которая, как это свойственно основам, обыкновенно, в повседневном режиме, не замечается, принимаясь за очевидность.

Такую ситуацию автор во введении к книге проясняет притчей: «...самое известное, – говорит он, – оказывается самым таинственным. Об этом есть притча у американского писателя Дэвида Уоллеса: «Плывут две юные рыбки, а навстречу им рыбка постарше, кивает и говорит: “Привет, ребятки, ну, как вода?” Рыбешки плывут дальше, а немного спустя одна спрашивает другую: “Что ещё за “вода”?»».

«Эта книга, – говорит Эпштейн далее, – приглашение к тому, чтобы “увидеть воду”». Среду (питательную) обитания собственной мысли и, шире, – внутренней жизни. Да ведь отчасти и внешней...

Сам автор видит особенность первопонятий в их смысловой энергии: наибольшее выражение в наименьшем. Эти предельно емкие по смыслу и предельно сжатые по выражению единицы мышления обладают властью над общественным сознанием и формируют знаковый код, определяют бытие человека в культуре.

О способах увидеть воду и о путях, которые к ним привели, мы и говорим с автором.

О. Б.-Г.

Ольга Балла-Гертман: *Михаил Наумович, предлагаю начать разговор о вашей книге с возникновения замысла. Казалось бы, о (некоторых) рассматриваемых в книге концептах (скажем, «мышление», «реальность», «сознание»...) философы высказывались многократно (о некоторых – нет, но то особый разговор); чувствуется даже соблазн отнести их к гиперинтерпретированным. В чём отличие Вашего подхода к ним от – радикально говоря – всего, что было прежде?*

Михаил Эпштейн: Не только названные вами, – но и «жизнь», «смерть», «любовь», «сознание», «мудрость»... Все они «гиперинтерпретированные». На то они и первопонятия. Мысль

¹ М.: Колибри, 2022. – 720 с.

из них исходит, на них опирается. Но именно их привычность и самоочевидность мешают их понимать. Так Аврелий Августин испытал потрясение, когда вдруг осознал свое непонимание такой простой вещи, как «время», – и посвятил его объяснению значительную часть своей «Исповеди».

Вот и я, как исходную установку, признаю свое непонимание этих больших понятий. Для меня главное – не рассматривать их в рамках какой бы то ни было уже сложившейся философской системы или научного метода (как, скажем, рассматривается сознание у Гегеля или в современной когнитивистике), а раскрыть проблемность данного понятия. Чем оно удивляет? Почему оно, определяя столь многое, само ускользает от определения? Как художник остраивает привычные вещи, представляет их загадочными, так я пытаюсь остраивать понятия. Сократ говорит у Платона: «Философу свойственно испытывать изумление. Оно и есть начало философии» («Теэтет»). Опыт оживления, проблематизации первопонятий возвращает философию к ее началу. Философия – это не демонстрация ума, это прежде всего эмоция изумления.

О.Б.-Г.: *Названное мной было просто примерами. – Сразу же хочется спросить: а не мешало ли вам при выявлении и формулировании собственного (не)понимания, становящегося пониманием то, что уже наговорено о них поколениями предшественников? Или, может быть, напротив, помогало?*

М.Э.: Мешает или помогает ветер парусным гонкам? Это условие их возможности. Важно так поворачивать парус, чтобы кораблик двигался вперед, даже если дует встречный ветер. Мышление всегда происходит в мыслительной среде, через диалог с другими мыслителями. В работе с первопонятиями я, естественно, вступаю в разговор с множеством философов и писателей. Если судить по указателю имен, чаще всего это Платон, Аристотель, Кант, Гете, Гегель, Ницше, Фрейд, русские классики, включая поэтов. А также словари, прежде всего этимологические.

Но «Первопонятия» – не компендиум цитат, не энциклопедический словарь и не лингвистическое исследование. В предисловии подробно обсуждается специфика первопонятий и жанр книги, включая сходства и различия с «Вечной философией» Олдоса Хаксли, «Ключевыми понятиями» Рэймонда Уильямса и «Константами» Юрия Степанова. В целом у меня меньше цитат, чем в этих книгах, в среднем – семь-восемь на каждую из шестидесяти статей. Моя задача – вскрыть проблематику каждого понятия, исходя из его внутренних противоречий и из логики тех жизненных ситуаций, где эти понятия востребованы и служат смысловыми ориентирами.

О.Б.-Г.: *Насколько можно видеть, в собеседники себе об этих предметах Вы выбираете преимущественно – почти исключительно – мыслителей западной, прежде всего европейской традиции (русских я, конечно, сюда причисляю). Упоминания представителей иных традиций: японской, китайской, индийской... – по существу единичны. Не складывается ли таким образом ситуация, что в книге рассматриваются не общеантропологические константы, но (всего лишь) то, как видит их человек, сформировавшийся в поле влияния Афин, с одной стороны, и Иерусалима – с другой?*

М.Э.: Разумеется. Хотя в начале 1980-х я почти два года изучал китайский язык на частных уроках с выдающимся китаеведом академиком Б.Л. Рифтиным, я никак не мог бы профессионально размышлять о понятиях «судьбы» или «вины» в китайской культуре. Более того, если бы я взялся писать об этих понятиях на доступном мне английском, это были бы совсем другие статьи, начиная с их заглавий. По-английски судьба – это «fate» и «destiny», вина – «guilt», «fault», «blame», так что нужно было бы выбирать и уточнять, о чем именно идет речь. В отличие от математического языка количеств, поистине универсального, понятия, выраженные словами, так или иначе привязаны к языку, ноосфера пропущена через лингвосферу. Вероятно, только искусственный разум будет когда-нибудь способен на универсальные культурологические исследования, и не знаю, насколько они будут содержательными.

О.Б.-Г.: Можем ли мы в таком случае сказать, что перед нами теперь – карта смыслового опыта русского европейца (или лучше – русского американца?) с изначальным русским языковым опытом и вторичным, но основательным языковым опытом английским? (Ведь именно язык водит человека по всем обозначенным вами смысловым путям, правда? Он определяет их траектории и конфигурации?) А может быть (и не в первую ли очередь?) – втайне от читателя – смысловая автобиография автора?

М.Э.: «Карта смыслового опыта русского американца»? Да, конечно. Можно было бы добавить: «белого гетеросексуального мужчины» (смайл). Но под эти характеристики подпадут и Набоков, и Бродский, и Лев Лосев, и Александр Генис, и Марк Липовецкий, и еще десятки, если не сотни авторов из той же среды, – а смысловой опыт и его воплощение в текстах у них очень разный, так что вряд ли такая спецификация позволяет их объяснить. «Смысловая автобиография автора» – это ближе к сути. Тем более что недавно у меня вышло сочинение «Автоноография» (не «био», а «ноо», от «нус», разум) – это автобиография некоторых *идей*, как они складывались в личном опыте (например, как по облигациям внутреннего займа, которые я в детстве проверял вместе с бабушкой, у меня сложилась идея государства).

Но «Первопонятия» – это другое. Это попытка проблемно-концептуального описания понятий, ключевых для ментальной картины мира, таких как «жизнь» и «смерть», «ум» и «безумие», «время» и «вечность», «реальность» и «ничто». Особенность первопонятий – их смысловая энергия: *наибольшее выражено в наименьшем*. Минимальный знак, одно-единственное слово, заключает в себе максимум мыслительного содержания. Ю.С. Степанов полагал, что количество таких первопонятий, или, как он их называл, «констант», невелико, четыре-пять десятков, а между тем духовная жизнь всякого общества состоит в значительной мере в операциях с ними. Я думаю, их больше, порядка 120–150. Примерно половину из них я попытался описать.

О.Б.-Г.: А отчего же только половину? Значит ли это, что проект будет иметь продолжение?

М.Э.: Думаю, что нет. Поначалу я хотел включить в эту книгу и ряд других понятий: Бог, добро, зло, справедливость, техника, личность, счастье, радость, мир, ненависть, подлость, боль, грех, благодарность, красота, действие, язык, свобода, прощение, разум, истина, неизвестное... В черновиках эти статьи у меня остались, но время и терпение истощились. Ну было бы в этой книге не 60, а 80 первопонятий... И так она получилась толстой, больше семисот страниц. Какой смысл множить материю?

О.Б.-Г.: Смысл множить осмысленную материю, по моему скромному разумению, очень даже есть. Внутри себя мне захотелось, признаюсь, медленно и долго подумать о таких первопонятиях на венгерском материале. И кстати: сколько лет ушло у Вас на соби́рание этого словаря?

М.Э.: Около сорока лет. Самые ранние фрагменты, относящиеся к первопонятиям «вещь», «дом», «игра», «образ», «тоска», написаны в конце 1970 – начале 1980-х годов.

О.Б.-Г.: Вижу, «малое» в числе первопонятий есть, а вот антонима его (если оно в мире первопонятий, конечно, антоним) – «великого» – нет. Как же без великого?

М.Э.: Там для многих понятий нет антонимической пары. Например, есть *чистота*, но нет *грязи*. Есть *будущее*, но не *прошлое*. *Новое*, но не *старое*. *Легкость*, но не *тяжесть*. *Ум*, но не *глупость*. *Вечность*, но не *время*. *Душа*, но не *бездущие*. *Глубина*, но не *поверхность*. Дело в том, что понятие часто определяется через свою противоположность. И если я говорю об уме или чистоте, то тем самым выявляется и сущность глупости или грязи. Во всех этих статьях много говорится

и о «второпонятиях», парных с первопонятиями. В каждой паре один из элементов бывает семантически более активным, как бы фигурой по отношению к фону. *Новое* активно отношению к *старому*, *чистота* по отношению к *грязи*, *ум* по отношению к глупости, *малое* по отношению к *большому*, которое воспринимается как норма, данность, точка отсчета. Не случайно в русском языке такую активную роль играют уменьшительные суффиксы. Большой сад – это просто *сад*, а маленький сад – это *садик* или *садочек*, морфологически выраженная, семантически отмеченная форма. Поэтому я выбираю активное понятие, а уже по отношению к нему вырисовывается и его антипод. В статье «Вечность» много говорится о времени, в статье «Судьба» – о свободе. Таким образом, в книге подробно обсуждаются и понятия, не вошедшие в заглавия статей, – но они учтены в Предметно-тематическом указателе.

О.Б.-Г.: *Кстати, не пытались ли вы (нет ли у вас в замыслах) написать – проживши большую жизнь в английской языковой среде – такой, то есть совсем другой, словарь по-английски? И: изменилось ли ваше личное чувство рассмотренных в книге предметов – той же «судьбы», «вины»... – когда ваш языковой опыт расширился за счёт английского?*

М.Э.: Нет, даже мысли такой не возникало. Сочинять новые английские слова, или словопонятия – с удовольствием, и некоторые даже имеют успех и входят в язык, по крайней мере, в области гуманитарных наук (у меня есть на английском такая книжка «PreDictionary» – «ПредРека-тель», словарь неологизмов). Тут помогает детский, неискушенный взгляд со стороны – дети ведь тоже прирожденные словотворцы, пока их в школе не научат, что правильно, а что неправильно. Но для того чтобы писать о первопонятиях, наиболее укорененных в данном языке и национальном сознании, – для этого нужно всю жизнь прожить в языке и проникнуться его огромной литературой, системой ассоциаций, многообразием стилей. К тому же, на английском уже немало таких книг, написанных первоклассными специалистами, и мой маленький опыт тут ничего не прибавил бы.

Но вы правы: в работе над русскими первопонятиями английский языковой опыт постоянно учитывался. Например, когда я писал о душе, о душевности, задушевности, то думал об английских эквивалентах этого понятия или об отсутствии таковых; и это помогало не только выделять русскую специфику, но и двигаться за ее предел, к более универсальным смыслам. Точно так же с понятиями «образ», «пошлость», «тоска».

О.Б.-Г.: *Мне почему-то кажется, что в этом поиске универсалий изнутри собственного культурно детерминированного человеческого опыта вам очень помогла передача «Недетский детский вопрос» израильтянина Дмитрия Брикмана, в которой дети ставят взрослых перед такими вот коренными вопросами, и на них надо отвечать – ведь детям же! – не прячась за учёность, а некоторым образом напрямую. Правда?*

М.Э.: Совсем нет, хотя приятно было бы так думать. Мне очень понравилась эта передача (я участвовал в ней в 2018 году) – она даже вдохновила меня на книжку «Детские вопросы. Диалоги» (М.: ArsisBooks, 2020), за которую я глубоко благодарен Дмитрию Брикману, поскольку он щедро передал мне несколько сот накопленных им детских вопросов, – а я уже стал на них отвечать. Но замысел «Первопонятий» возник гораздо раньше. Еще в 2015 году я предлагал издательству «Никея» книгу под названием «Понятия, которыми мы живем», или, в другом варианте, «Философия неопределимых понятий» – но договор не был заключен. А задолго до того, в первый мой год в Америке (1990), я разработал план книги «Russian Concepts», именно по-английски, где собирался представить самые характерные понятия русской и советской культуры англоязычному читателю, в том числе «почва», «душа», «судьба», «правда», «целостность» (всего 126). Тогда мы даже собирались написать совместную «понятийную» книгу с Александром

Генисом, но он прекрасно справился без меня в своей «Американской азбуке». А я свою «Русскую азбуку» по-английски так и не написал.

О.Б.-Г.: *И – (отчасти) выходя за пределы тематического круга, очерченного книгой: всё время думается о том, что в нынешней кризисной ситуации – которая, по моему разумению, несомненно означает смену культурных матриц, – может предложить философия и гуманитарное знание ближнему к отчаянию человеку. Вот на такой вопрос что бы вы ответили?*

М.Э.: Вы как будто подсмотрели, что у меня на письменном столе, точнее, в компьютере. Как раз сейчас я заканчиваю книгу под заглавием «От Библии до пандемии. Поиск ценностей в мире катастроф». Туда входит эссеистика последних десяти-пятнадцати лет. Объединяющий мотив этих текстов – именно тот, который вы назвали: что гуманистика, этика, теология могут предложить человеку, проходящему сейчас долиной смертной тени (библейский образ)?

О.Б.-Г.: *А на каком языке пишется книга – по-русски или по-английски? (А вообще – на каком языке вам лучше думается? – или они разграничивают между собой области влияния?)*

М.Э.: «От Библии до пандемии» – это сборник эссе, которые я писал и публиковал на русском (хотя некоторые выходили и по-английски). Мне лучше думается и пишется по-русски (в отличие от Набокова, у меня не было с младенчества английской гувернантки). Но многие свои соображения я проверяю их мысленным английским переводом – насколько они избавлены от случайных причуд моего родного языка и поддаются иноязычному выражению, то есть критерию объемности, объективности. Недаром нам даны парные органы: глаза, уши – чтобы воспринимать мир объемно, в двух проекциях. Так и с мышлением на двух языках. Пишу ли я на русском или английском, эти языки взаимодействуют в моем сознании, отчего приставка *co-*, как знак *со-язычия*, получает дополнительный смысл.

Александр ЛИВЕНЦОВ

«Я ДУМАЮ С ПОМОЩЬЮ СЛОВ...»

Олег Стрижак. Мальчик. – Лениздат, 1993. – 446 с.; М.: Городец, 2021. – 512 с.

Непрочитанный роман

Сперва на себя обращает внимание объем книги, затем сам текст – плотный, без абзацев, с частыми курсивами; потом сноски с середины романа и до конца мелким шрифтом, то на полстраницы, то на целую; и, наконец, инструкция в помощь читателю сразу после предисловия. Школьником я так же подступался к «Дон Кихоту», Сервантес одолел меня странице на пятой, не пустив даже к мельницам. Только «Мальчик» читается в удовольствие. Вряд ли вы выстроите воедино все причины и следствия, и вряд ли это так важно: вкус романа не в сюжете.

Начало вполне традиционное, в чём-то поэтическое, лирическая нота до последних страниц будет обостряться и таять в созвучиях, но не умолкнет. Романтика компенсирует модернизм романа, хотя ещё больше мне хочется написать совершенную глупость: лёгкость и простота «Мальчика» компенсируют его сложность. Стрижак уложил в текст сразу всё, включая такие абсурдные парадоксы. Но сложность романа под вопросом, возможно её нет вовсе, а объем книги, сплошной поток текста и сноски с инструкцией – это форма существования подобного произведения, и никак не свидетельства его мудрёности. Об этом на презентации книги говорили сестры Олега Стрижака, Ника и Юлия: что роман полон героев, чувств, поступков, и не стремится запутать простое – и было видно, как тяжело им донести эту мысль сквозь крепко схватившееся мнение о сложности текста.

Есть от романа ощущение галереи, дальняя стена которой видна еле-еле, а картины развешены в странном порядке, чтобы вместе организовать ещё одно большое полотно. Трудности, все какие могут случиться по ходу чтения, связаны с нелинейностью повествования. Принять её в самом начале как должное – значит заведомо уберечься от разочарований в себе и книге. Причины и следствия важны, но так или иначе они выстроятся в общую картину; большего внимания заслуживает само настроение книги.

Я полагаю, эта нелинейность и оттолкнула массового читателя от «Мальчика» в девяностые, когда он вышел впервые (Лениздат, 1993). Впрочем, сложно подружить в одном предложении «массового читателя» и «девяностые»: все помнят падение тиражей, книжные развалы – «всё за гроши», и встречный, словно на нерест идущий, поток возвращенной литературы: Булгаков, Набоков, Шаламов... иди, потягайся с ними. Хотя полка «Мальчика» скорее та, на которой стоят Ерофеев, Саша Соколов – их романы прозвучали громко и, что немаловажно, раньше: «Москва-Петушки» в 1973-м, «Школа для дураков» в 1976-м – двадцать лет разницы, годы, преобразившие страну неузнаваемо.

За век модернизм обзавёлся приставкой «пост» и к девяностым застыл в неопределённости, в поиске тонких открытий, поскольку всё главное уже запатентовали классики. Но время перемен усыпило его окончательно, ростки нового модернизма проклюнулись только к двухтысячным, вновь слабые, внимания им не хватало, и «Мальчик» рядом с ними громоздится как засохший дуб. «...человек из шестнадцатого века ничего почти не поймёт в моих записках, и я ничего не пойму в романе иль мемуарах, что четырьмя веками будут **выше** иль **младше** меня, моё время, вот мой обитаемый остров...» – строки романа; Стрижак и всякий автор определяются эпохой и

привязаны к ней сильнее, чем кажется, а ряды вдумчивых читателей постигла серьёзная убыль, и это большая беда «Мальчика».

Отчасти он подводит итоги большого петербургского мифа, который зародил Гоголь, развил Достоевский и поддержал Андрей Белый¹. Массовая аудитория роман, увы, упустила, хотя и это можно отнести к мифу, поскольку в первый же год издания «Мальчик» был номинирован на международную Премию Медичи и удостоен Премии Бордо во Франции; был включён в учебную программу университетов России и Европы; был переиздан ныне, чем сразу привлёк внимание. *«...привязанность эта была ни обязательна, ни так уж необходима мне, но была достойна, окружена вниманием и роняла на меня приятный золотистый отблеск...»* – так главный герой «Мальчика», писатель Сергей Владимирович, оценивает свои отношения с любовницей, и эти же строки теперь как будто объясняют интерес к самому роману, интриг вокруг которого скопилось в изысканности.

Интересно, что при связке с эпохой, притом что семидесятые маркируются часто и с любовью – нет чувства, будто читаешь о прошлом. Тут и там упоминаются Битлз, Пьеха, Азнавур, Лелуш и Трентиньяны с их «Мужчиной и женщиной» и модой на длинное пламя зажигалки; и номера телефонов пишутся на обоях у столика с этим телефоном – дисковым, разумеется – но история близка к персонажам и невольно отделяется от вех времени. Другое дело, что с семидесятых изменились люди, их удалство, идеалистичность на грани наивности – это в романе выведено объёмно. И всё равно я читал «Мальчика» как книгу, написанную сейчас.

Помимо сложности, есть в романе некая замкнутость. Для одних она усилит колорит текста, других будет угнетать: *«...мы вас лечим, стараемся уберечь, а вы все усилия наши зачёркиваете, что-то мрачное и тревожное пишете вы...»* – жалуется лечащий врач Сергея Владимировича, и я слышу, как то же самое будут адресовать автору «Мальчика». Красота слога, точно обезболивающее, даёт легко двигаться по тексту, но, если вглядеться – красоты сумрачные, нуар, распад: *«...вечерние чёрные стёкла слезятся...», «...серый день, как невымытый стакан, стоял в серой разгромленной комнате»*. Роман не для летнего отдыха, им заболеваешь с осложнением и долгим периодом реабилитации. А как виртуозно Стрижак умеет высмеять: *«...соседи мои по палате сыто ржуют...»* – и уже не отмыться этим соседям от пошлости.

Стиль

«...и я жил так, будто писал первую в мире книжку. И я изобрёл в ней всё, что умел...» – цитата, уместная применительно к самому роману. Стрижак действительно приобщил к арсеналу модернистских приёмов массу новых, но они слились воедино – и в этой статье делятся на слагаемые лишь по моему принуждению. С той или иной силой каждый из них обогащает текст, всегда как родовой признак, а не ремесленный трюк, удобный по месту.

Игры со стилем начинаются уже с подзаголовка: «Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках». И отчасти это ключ к книге: «воспоминания», «любовь» и «петербургский миф» на фоне северной столицы – главные достоинства романа, которые теряются, если слишком отвлекаться на модернизм.

Первое, что бросается в глаза, когда открываешь книгу: запятых в тексте много, а точек мало – предложения такие длинные, что забываешь ждать их конца. Это создаёт ощущения нескончаемого потока сознания, но о нём позже. Отсюда же родом бесконечные перечисления, фасованные запятыми, свойственные скорее вольным рассуждениям, нежели окончательно затвердевшей мысли. Довольно часто главы кончаются многоточием, то есть самым естественным образом для этой формы подачи; так же завершается и роман – обрывается на последнем слове.

¹ «...Книгу перевели и издали во Франции, где о ней высказывались, например, так: “Если вы хотите узнать Петербург, читайте Достоевского, Белого и Стрижака”» (Артем Роганов. Русский «Улисс», или Мальчик с берегов Невы: <https://gorky.media/reviews/russkij-uliss-ili-malchik-s-beregov-nevy/>)

Есть в тексте и скобки, и курсив. В первом случае автор меняет точку зрения, приподнимаясь над сюжетом, обращаясь непосредственно к читателю; курсив даёт либо прямую речь, либо иные значения слов. С последним Стрижак забавляется часто и смело: *«...выкидыви было хорошее слово, оно означало энергичное, окончательное выкидывание. Так я выкидывал тетрадки после первой четверти...»*

Теперь к главному – повторы. То, что я называю «повторами», пронизывает «Мальчика» на всех уровнях – от текста до структуры романа, и на каждом из них меняет форму, но служит всё той же потоковости, непрерывности. На уровне слов мы видим регулярные, нарочитые повторы однокоренных, какие обычно редактор безжалостно исправляет: *«...я позвонил своей высокомерной тётке; недоуменная и высокомерная тётка долго не понимала, чего я хочу...»*, *«...сказала она и зло дернула губками, показав на мгновение злые зубки...»*, *«...жутким ударом, свинцом ударил меня под вздох...»* Так же слово в слово повторяются начала двух первых подглав, возвращая читателя к условной позиции: *«В ту пору мне было чуть больше тридцати лет...»*

Порой повторы слов делят и страницу и две, как шаманские наговоры; тут не то что о конце предложения забываешь, а возникает невесомость, в которой теряешь ощущение чтения. *«Как вы можете?..»* звучит раз десять на полстраницы, пока любовница Сергея Владимировича, актриса, исполняет монолог роли. Другое яркое место – начало шестой главы: Мальчик – второй, не менее важный герой романа – лежит в больнице, жизнь на грани, что описано виртуозно, и один из важных элементов – пунктир фразы *«...я падаю...»*, которым Стрижак прошивает значительную часть текста, и вы падаете в жар озноба вместе с Мальчиком снова и снова. А *«...слава Господу, что я не умею писать...»* в разных формах пропитало последнюю главу, где главный герой, писатель, расставляет над «и» все точки своей жизни. Другой очаровательный оборот *«...вся моя глупость...»* прижился на страницах романа как оценка наивности героев и, кажется, адресован читателю именно от автора, в обход «основного» текста; так же в «Мастере и Маргарите» Булгаков меняет тон и обращается прямо: *«...за мной, читатель, за мной...»*

Следующий стилистический план созвучен с предыдущим, но масштабнее. Временами Стрижак ведёт одновременно несколько линий повествования, разделяя лишь запятыми то, что обычно писатели разносят по разным главам. Такую параллельность можно найти в последней сцене второй главы, где Сергея Владимировича допрашивают в участке, и вместе с тем он вспоминает побои от Мальчика, из-за которых угодил в застенки. А первое представление Мальчика читателю, от жалкого свитерка до повадок волчка, разбавлено солдатским юмором, серией бородатых анекдотов из армейского прошлого Сергея Владимировича. Авторский голос при этом не меняется, объединяя происходящее в единый поток.

Теперь насчёт потока сознания. Можно сказать, весь роман так и написан, но как по мне – Стрижак пошёл дальше. Во-первых, текст настолько хорош, что сложно приписать его сознанию героя, пусть писателю, и хорошему – слишком вычищен и взвешен. Во-вторых, герои, от чьих лиц ведётся повествование, меняются за роман несколько раз, а интонация повествования сохраняется. Их связывает тот средний, распределённый между всеми персонажами голос, который возникает в процессе чтения, как работает программа, пока включён компьютер. И это осмысленный голос, чем его природа в корне отличается от потока сознания; не просто так Стрижак озвучивает мысли, подобные этой: *«...прошлой, во всём его густом объёме не существует для человека, – как и будущее; иначе бы жить было невозможно. В человеческой природе: выбирать из личного прошедшего те вещи, что удобнее...»*

Впрочем, я обещал парадоксы – вот, спотыкаюсь на очередном: плотность описания любой сцены такая высокая, словно это реальный процесс жизни, и чтение невольно становится проживанием, а слова автора собственными мыслями. Что это, как не поток сознания?.. Приведу фразу, запомнилась при первом прочтении, словно она моя собственная: *«...я думаю с помощью слов, это медленно и неудобно, но я думаю с помощью слов...»*

Неоконченность как элемент стиля

Роман подан так, словно точка в нём не поставлена, что отчасти правда – кончается много-точием. Мы располагаем лишь Книгой первой и первой её частью, а так же 16-й главой третьей части, которая идёт в качестве приложения; однако незавершённость скорее свойство оглавления, сам текст целостный, все узлы развязаны, а последняя глава («Случай в туземной бухте»), та самая 16-я третьей части, кончается положенной точкой и расставляет ряд смысловых, что и положено финалу.

Роман можно продолжить судьбой самого Мальчика, и в интервью сёстры автора указывают на то, что многие интересовались продолжением, но сам Олег Стрижак не давал ответа, пока в 2011-м году, вдруг, не начал печатать его тонкими книжечками под заглавием: «Мальчик. Часть вторая. Фонтанка». Увы, изданы были лишь две главы, и даже они после смерти автора оказались утеряны – оригиналы в бумагах Олега Стрижака не нашлись, и не нашлось продолжение.

Город

Город в романе всегда с большой буквы: *«...сырой снег изуродовал Город: всё стало белым, чёрным и грязным...»* Стрижак ценит его чуть не больше своих героев. Книга первая так и называется – «Город». Черты Санкт-Петербурга проступают в каждой сцене, особенно в первых абзацах, задавая тон на главу вперёд. Происходит это так: *«...осень стоит над Фонтанкой: осень. Сентябрьская книжка уважаемого ленинградского журнала раскрыта передо мной. Того самого журнала, высокие тёмные окна редакции которого укрыты в тени тёмных лип на старинной, с покривившимися камнями набережной Мойки...»*

Но именно через город в значительной степени подана замкнутость, упомянутая выше, – почти всегда это переулки, подворотни, тесные комнатки. А вместе с сюжетом зациклен и маршрут его движения по Санкт-Петербургу: *«...всё кончилось речкой Карповкой: а начиналось Фонтанкой. Фонтанка! Затем был канал Грибоедова, Мойка: затем Петроградская сторона, Кронверка, тихая Карповка... что же будет со мной? Судьба, описав кольцо, привела меня вновь на Фонтанку...»*

Вдобавок к замкнутости исторические красоты теснит суровость их обитателей: *«...в подворотне с ободранными, чёрными кирпичными стенами горела желтая лампочка...»*, и чуть позже *«...охладел я, обессилев весь вдруг, умеют же в этих дворах так бить...»* Однако перелистываем страницу и попадаем в кафе, образец уюта: *«...девочки брали рюмочку коньяку за двадцать копеек, чашечку чёрного кофе и, изящно куря, за двадцать семь копеек вели красивую жизнь...»* Словом, город у Стрижака вмещает всё от культурного наследия до текущего момента, и потому является больше чем декорацией – настолько, что в определённый момент размышления о памятнике Екатерине Второй уже не умещаются в тексте и кочуют в сноску.

Вариант

В романе сносок четыре, а пятая тянется с середины книги до конца и даже дальше – продолжаясь, она образует книгу под названием «Вариант», которую Олег Стрижак печатал в двухтысячные крошечными тиражами: шестнадцать выпусков, тонкими разноцветными брошюрами в сорок восемь страниц по двести штук каждая.

«Вариантом» называется эта пятая сноски. Внизу страницы она походит на фундамент, а все события остаются сверху, на поверхности, словно потому и вззошли, что есть богатая культурная почва. Даже восприятие основного текста с этого момента меняется, ускоряясь, поскольку на страницу его вмещается куда меньше.

Интересно и то, что именно кочует в сноску. Значительная часть исторических отсылок касательно литературы остаётся сверху, например, рассуждения о «Идиоте», тогда как первую сноску

украшает ироничное описание критики на прозу Сергея Владимировича, что вполне могло войти в основной текст «Мальчика».

Наконец, тон Варианта отличается от того, что читатель представит, вспоминая обычные книжные сноски. Тут нет научной сухости и череды фактов – это не учебник истории, а скорее разговор о ней или монолог увлечённого знатока. Так, Вариант начинается словами Насмешницы, женщины острого ума и не менее острой на язык: «...ну, – сказала Насмешница скучновато, и неохотно даже, – кто же теперь не любит этот памятник. Я одна его не люблю...»

Неизбежность

«Случай в туземной бухте» написан без стилистических ухищрений, вполне привычным языком. Вероятно, такое различие обусловлено тем, что это глава из повести Мальчика, и, стало быть, Стрижак намеренно преобразил основной корпус текста. Он мог заселить роман толпами героев и накрутить интриг, а вместо этого подробно описывает несколько ключевых сцен, и возможно именно с целью передать ощущение полной жизни. Ведь если охватить в уме своё прошлое, то может оказаться, что исключительно важных моментов было не так много, не сотня, привычная для схемы классического романа – их будет десяток или около того, что ближе к модели построения «Мальчика».

Есть ощущение, что весьма простую историю Стрижак намеренно запутал, поменяв местами этапы хронологии, и именно для того, чтобы увести акцент от самой истории, чтобы расставить их локально, в тех местах сюжета, где персонажи видны на просвет. И, конечно, автор играет с читателем, обоюдного удовольствия ради, не без этого: «...грифель в циркуле убеждён, что он движется по прямой...»

Хочется представить, что было бы, напиши этот роман кто-то другой обычным, понятным языком, без богатства «повторов», без сноски, с предложениями в две-три строки, как водится. И станет ясно – это невозможно, поскольку человек пишущий «нормальным» языком и мыслящий «нормальным» построением сюжета, не удовлетворится сюжетными ходами «Мальчика» – он как раз усложнит схему и заодно вернёт ей линейность. Стало быть, сочетание подобной структуры с подобной стилистикой единственное жизнеспособное в случае «Мальчика», по отдельности они не существуют.

Много вы знаете писателей, которые откладывают завязку романа на сто страниц? Столько приходится ждать первой ключевой сцены: «...холодным и серым утром 21 октября 1969 года я вышел из сияющего стеклом подъезда Дома Прессы на сизую, голубую набережную Фонтанки...» – встретите эту фразу, знайте – скоро быть беде. Уже после, анализируя себя и своё невезение, Сергей Владимирович отмечает: «...что всё было предопределено; что неудачей от меня разило, как псиной...» В одночасье он лишается жены, любовницы, экранизации, публикации и постановки... Неизбежность описана детально, с такой любовью и таким страхом, что порой кажется – весь роман именно о ней, а вовсе не о расплате за слишком сытую жизнь некогда талантливого человека, что любят приписывать «Мальчику».

Непримиримость

Критики благородно избегают говорить о стилистической тяжести романа, фокусируясь на неприглядности Сергея Владимировича – есть те, кому он неприятен, кажется жалким и чуть ли не нытиком. Продолжая эту логику, Мальчик предстаёт антиподом главного героя – как утраченный талант и орудие кары, он мстит за бездарно потраченное время.

Сергей Владимирович действительно хватается лавры, расслабляется часто и слишком основательно: «...как бы извиняясь за чужие грехи, с мягкой улыбкой, говорил я о недочётах в творчестве писателей, которых я не читал...». Он часть богемы, пользуется её благами и удовольствиями от жизни берёт, кажется, больше, чем может осилить. Но он деятелен, пишет, стремится публиковаться,

правдой и неправдой пробивает себе рецензии, добивается экранизаций и постановок – в первую очередь он живёт этим, а не пирушками и жадностью до лучших женщин Санкт-Петербурга. Назовите череду его бед чем угодно: неудавшимися поисками, творческими ошибками, злым роком, но только не платой за растраченную впустую жизнь. Уж не знаю, насколько его работы последних лет были холостыми, но неужели и роман о Мальчике так бездарен – мы внимаем мыслям героя, их тяжело упрекнуть в бедности, вялости или недостатке. А надломленность Сергея Владимировича – результат плачевного положения: уже на первых страницах мы застаём его в больнице, из которой он, судя по всему, не выйдет и понимает это; было бы странным избежать описания рефлексии героя, оставив читателю лишь жизнерадостный тон.

Я допускаю, что недостатки Сергея Владимировича, которые все от избыточности – будь то богатство, количество публикаций или удача до поры до времени – нужны, чтобы на их фоне лучше прописать образ Мальчика, которому наоборот всего недостаёт – и приличной одежды, и публикаций, и даже возраста: *«...виновность моя была очевидна, виновность была в недостаточном возрасте, в свободных спокойных фразах, в лужице, набежавшей с моих башмаков...»* Оба героя, непримиримые внутри сюжета, исключительно полезны друг другу, если взглянуть на швы романа изнутри: *«...он мальчишка, он младше меня, не спорь! Это видно из текста, ты бездарен и не представляешь, какая жуткая исповедь – талантливый текст, ты ведь глуп...»* Наконец, при условном противостоянии и такой же условной победе Мальчика, ощущение живой крови остаётся скорее за Сергеем Владимировичем.

Образ Мальчика сложен; ещё вопрос, кто из героев по-настоящему неприятен. Мальчик злопамятен: он и о плохом отзыве на свою повесть помнит, и о случае с ненавистным отчимом, за которого много лет назад заступился Сергей Владимирович. Прощения в душе Мальчика нет, как нет у него имени, и это опять клонит к мысли, что в тексте он скорее функция, чем живой персонаж... и значит я опять неправ, отрицая его как символ художественного дара и кары для тех, кто этот дар растерял. *«...волчонок! Храни бог, чистый волчонок...»*, *«...кости хрустели в тишине на волчьих его зубах...»* Такой он – художественный дар, кости хрустят на его волчьих зубах. А так Мальчик вспоминает отчима, который порядочная гадина, но оцените стиль суждений: *«...я твёрдо знал, что первая наша встреча излечит его от печени навсегда, а я получу основательный и уже на хорошем режиме срок...»*

В Мальчике я вижу человека злого на злой мир, похолодевшего в душе от ветров Санкт-Петербурга, и только после имеет место символика. Во многом герои и вовсе схожи, что прописано явно. Сергей Владимирович бывший десантник, а Мальчик грезил флотом, и тут забавный нюанс: вспоминая о побоях от Мальчика и его крепком ударе, Сергей Владимирович точно определяет: *«...молодец, Мальчик; в морскую пехоту его...»*. Оба они писатели и желают издаваться, но есть принципиальное различие – Сергей Владимирович соглашается на редактуру своего текста, а Мальчик наотрез отказывается. А ещё их обоих связывает боль, поданная так, что диву даёшься: Мальчик тонет в ней несколько месяцев, вероятно после того, как Сергей Владимирович пытался убить его, а сам главный герой хлебнул мук после знакомства с Мальчиком, очнувшись в камере Крестов: *«...вздрагивая всем телом от каждой, вновь обнаруженной боли, внутренне подвывая, я отдираю кровавую корку, смывал свежую кровь, слабея...»*

Однако куда любопытнее эти строки: *«...мне хотелось ему понравиться; чтобы Мальчик заметил, что я интересен. Я невероятно хотел подружиться с ним...»* И желание Сергея Владимировича опять в копилку идеи, где Мальчик – это талант, потерянный в угоду карьеры; но согласитесь, мы часто испытываем подобное стремление, встречая человека, противоположного себе. А Мальчик чужд всему околотворческому обществу, населившему роман; вот как его оценивают при первом появлении в тесной комнатке за общим столом и общими разговорами: *«...на мальчишка глядели тупо, как на заговорившее полено... Мальчик мог бы... не знаю, глотать огонь, творить из воды вино и из горелой спички розу; и в лучшем случае заслужил бы тупой, очень неодобрительный взгляд...»*

Напоследок отмечу, что Мальчик моложе Сергея Владимировича лет на десять, и ещё неизвестно, как сложится его судьба. Везучим его не назовёшь, а в пространстве романа удача играет не малую роль.

«...глаза девочек стали фиолетовыми, громадными, как новгородские блюда...»

Женщины в романе сильнее мужчин. Женщины красивы, желанны, полны мудростью веков: *«...на меня она глядела, начав очень женскую древнюю игру в то, что меня больше в комнате нет...»* Они уходят, если есть к тому повод, не возвращаются и не мстят; последним в «Мальчике» как раз грешит сильный пол.

Нельзя не отметить, как удачлив был Сергей Владимирович в любви – настолько, что иронизирует над собой, сообщая: *«...вообще мне везло лишь с нечётными жёнами...»* Но чем ближе к финалу, тем сильнее меняется тон его суждений, доходя до философии с уклоном в историю: *«...и мужскую ли ветвь родословного древа нужно помнить, или, как в мудрой древности: женскую...»*

Особенно Стрижаку удалась прямая речь его героинь; чего стоят рассуждения одной из жён Сергея Владимировича об обручальном кольце, почти исповедь: *«...тёмный древний символ, греховный, любовный, **очень** греховный, ведь колечко, и ещё эта приятность греховного золота, колечко обнимает мой пальчик: как я принимаю тебя, я очень испорченная?..»* И следом, не менее откровенно: *«...как эти люди женаты, как могут они выходить на улицу, вместе, идти в гости, ведь все же, наверно, думают о них, я вот всё время теперь думаю: как они это делают ночью...»*

Наконец, женщины принимают друг друга с завидным достоинством в ситуациях, когда впору визжать и рвать друг другу волосы. Можно упрекнуть Стрижака в надуманности, в желании сгладить внешние углы ради внутреннего напряжения, но я ни разу не испытал диссонанса, ни разу не прозвучала фальшь, даже когда услышать её требовал здравый смысл: *«...это и есть знаменитая твоя любовница, спросила с лёгкой усмешкой моя жена. Красивая девочка... Умненькая. Скоро тебя бросит...»*

Роман о творчестве, или писатель о писателях

«...в тишине: уверенно, с непреложной стремительностью звучала пишущая машинка, с частым лёгким звоночком...»

С писательством связаны главные надежды и Мальчика, и Сергея Владимировича. В череде несчастий последнего, отказы издавать его, ставить на сцене и на экране – самые весомые. Уход любовницы, жены и простуженный в камере мочевого пузыря он стоически вынес, а отказы (полстраницы перечислений, руки чешутся процитировать, но будет слишком) подкосили навсегда. И за неделю до фиаско, в надеждах Сергея Владимировича на светлое будущее, творческие победы значились первыми: *«...кончался октябрь; вторник, 21-е число. И, очерчивая лёгким взглядом ближайшее будущее, я видел: мои новые книги, фильм, мою премьеру в театре...»*

Писательская кухня представлена богато – от замыслов до издательской волокиты. Не знаю, сколько тут автобиографического, но есть ощущение, что Стрижак делится с читателем горькими советами: *«...о наивных и юных мальчиках, искренне думающих, что стоит лишь написать талантливо и свежо, и всё очаровательно закружится вокруг никому не известной рукописи...»*. А планы великим начинаются на второй странице романа, в больничных покоях Сергея Владимировича: *«...глядя в профессиональное заботливое лицо врача, я пугаюсь: не хочет ли он оставить меня тут совсем? Нервы разбродились, ужасы палаты номер шесть...»* Хотя, если учесть, что рукопись свою он сжигает уже на первой странице, то отсылки к Гоголю и Булгакову идут прежде чеховских.

Сложно сыскать писателей, которых Стрижак не упомянул в «Мальчике»: Толстой и Мандельштам, Гёте и Гюго, Достоевский, Диккенс, Андрей Белый, Солженицын... И я не касаюсь исторических фигур – в Варианте поднимаются целые пласты истории с десятками общеизвестных фамилий. Но наследие прошлого, вдохновляющее Стрижака, давит и давит на погибающего, растратившего силы Сергея Владимировича: *«...темнеющие мраморные доски утомляли меня, как*

*чужая и незаслуженная удача... и зачем вечный упрёк этой чужою талантливостью и чужим бес-
смертием...»*

А вот иллюстрация того, как в одном предложении Стрижак переворачивает представление о знаменитом, вдоль и поперёк изученном романе: «...заклучились в ней две велики книги, из них первая по праву, имеет названием: **Настасья Филипповна**; а другая: **Аглая**...»

Не обошлось без иронии, и вряд ли удалось бы её избежать, когда талантливый писатель касается прозы менее одарённых коллег. Без издёвок и радостного топтания на чужих трудах, но Стрижак даёт полюбоваться нелепыми поделками графоманов: «...в полковом городке, очевидно, сгорела столовая, и над казармами вился дымок полевых кухонь...», или «...гром гремит и молнии сверкают – когда ужаси накалены, ветер свищет и дождь льёт – когда худо и тревожно, солнышко блещет – когда радостно...», и вот так: «...симпатичный парень с великолепной заявкой, смешная, крутая комедия про старуху, козу и лопату...». Есть и образ карьериста писателя, тяжеловесного, затхлого и издаваемого: «...Попугай был внушителен и заметно умен, много знал, очень много читал, хорошо говорил, иронично, скептически, умно...»

Роман и автор

После первого романа «Долгая навигация» (1982, литературная премия М. Горького) за Олегом Стрижаком закрепилась слава писателя-мариниста. Казалось бы – жанровая литература, но пройдут годы, и Дмитрий Набоков признается, что полагал, будто литература в России закончилась на его отца, пока в его руки не попадут тексты Стрижака.

Между тем «Мальчик» был начат уже в 1979-м, за три года до публикации «Долгой навигации», хотя первое издание ждало аж 1991-го года, когда журнал «Дружба народов» напечатал несколько глав романа. А кажется, что между маринистскими романами Стрижака и «Мальчиком», словно огромный водораздел, целая жизнь, и к «Роману в воспоминаниях, роману о любви, петербургскому роману в шести каналах и реках» подступает человек, повидавший всякого и даже постаревший. Но нет, за «Мальчика» берётся молодой тридцатилетний писатель, имеющий за плечами лишь публикации стихов, переводов и повестей в газетах и журналах. Крупные издательства тексты Стрижака отклоняли, правда, в 1984-м году он стал самым молодым членом Союза писателей.

А в 1993-м «Мальчик» вышел в «Лениздат» и в тот же год был переведён на французский для издательства Albin Michel, весьма уважаемого, чтобы сразу взять номинацию на Премию Медичи и стать лауреатом Премии Книжного салона Бордо. Казалось бы, прекрасное начало, но происходит то, что обычно мы видим в фильмах, которым не хочется верить. Получив в руки перевод книги, Стрижак... дальше процитирую очерк его сестры, Ники Стрижак: «...он был взбешён. Текст был принижен и кастрирован. В сложных местах, особенно большой сноски, переводчик поступал просто: либо переводил так, как сам понял, либо вообще пропускал неудобное место. Другой бы стерпел, дабы не потерять выгодные и престижные связи, но не наш брат. Случился скандал. Союз распался...» Мало того, Стрижак продолжал вредить себе, и тут опять лучше цитировать: «...в его маленькую квартиру на Васильевском ещё долго приезжали журналисты из тех же монд и фигаро. Но он никогда не заботился о каком-либо пиаре, становясь главным врагом самому себе. Искренне восторженным собеседникам он говорил: не надо микрофона, давайте просто поговорим...»

Напомню, речь о девяностых: разруха, издательства банкротятся, «Лениздат» в упадке. Люди нищают, никому не верят, и пусть меня обвинят в наивности и сексизме, но по мужчинам это бьёт сильнее – они не умеют и не хотят приспособиться к новым временам, если их жизнь и взгляды уже сформированы. Вероятно, таким был и Олег Всеволодович, не захотел, замкнулся – дико писать об этом, но я хочу думать, что причиной тому стала не печальная судьба романа, а беда всей страны; хотя кому от этого легче. По свидетельству сестёр, он перестал откликаться на любые предложения, никому не доверял: ни спонсорам, ни издательствам, ни врачам. Какие-то неизменные принципы внутри Олега Всеволодовича были выкованы намертво и мешали подстроиться

под новые реалии. Размышляя об этих принципах, невозможно вычленишь и оценить одни, оставив в стороне другие, как нельзя отделить стиль «Мальчика» от его сути.

Новое издание

Снова «Мальчик» вышел спустя восемнадцать лет в издательстве «Городец» (серия «Книжная полка Вадима Левенталья») в 2021 году. Обложка удалась, есть в ней и нежность и нечто монументальное, что удачно отражает дух романа. Первое издание отпечатали тиражом в пятьдесят тысяч, а новая книга – всего в тысячу, но и это сейчас хороший объём, да и прочтёт роман куда большее число людей.

Отдельного внимания заслуживают предисловие Вадима Левенталья и, конечно, инструкция, предваряющая текст. Фигль-Мигль, она же ФМ навигатор, она же петербургская писательница, которая, по собственному уверению, не любит, когда её называют по фамилии, помогла оснастить издание «Мальчика» подсказкой, проливающей свет на события романа. Признаться, мне без этой подсказки было бы трудно; одно то, что повествование ведётся от первого лица, а герои меняются без маркировки, сильно усложняет прочтение. Опять же стоит прислушаться к совету инструкции и читать последнюю пятую сноску (Вариант) отдельно, впрочем, я и представить не могу, как это делать одновременно с основным текстом.

Наконец не лишайте себя удовольствия – прочтите послесловие, очерк сестёр автора «Наш старший брат Олег Стрижак». Это рассказ о его судьбе и судьбе романа, написанный легко, с чувством, многое станет яснее, живее, ближе.

Ещё о парадоксах

«...умение же владеть пером предполагает умение выбора единственного из многого...» Вопреки объёмам «Мальчика» и густому письму, что так не любят современные авторы, сажая читателя на диету из предложений в пять слов... вопреки этому в романе нет лишнего слова. Так проявляется даже не мастерство, не десятки редакций, которые безусловно были, а особое настроение, которое большой писатель уловил однажды и уже не может писать плохо, как не желает ходить на четвереньках ребёнок, научившийся вставать на ноги.

Напоследок ещё об одном парадоксе, отмеченном в «Мальчике». Судьба главного героя рушится из-за потери надежд на публикации и постановки, но в финале романа Стрижак показывает совсем иное нутро Сергея Владимировича: *«...вот такое, в ночи, сидение у костра с хорошими и простыми людьми: и ничего мне больше в жизни не нужно...»* Как это странно и как знакомо – всю жизнь гнаться за одним, желая в душе другого.

Парадоксы свойственны хорошей литературе. Отчасти по их наличию и можно судить о глубине текста, с какого-то момента он начинает усложнять сам себя, и роль хорошего писателя не вредить этому, не загонять в рамки. А что не всякий читатель осилит такую книгу – пусть, в конце концов: *«...если ты пассажир, то тебе нужно спать, добровольные бдения – глупость, настоящим рассветам, чтобы их оценить и понять, нужна занятость делом, злость на старпома, половина бессонной, изнурительной ночи».*

Леонид БАХНОВ

ПРЫЖОК В СВОБОДУ

Павел Матвеев. И ад следовал за ним. Жизнь и судьба Анатолия Кузнецова. Киев: Саммит-книга, 2021. – 208 с.

Получилось так, что книгу Павла Матвеева я закончил читать... ну, допустим, 22 февраля 2022-го. Собирался написать о ней несколько слов, а тут 24-е. Война, которую чуть позже будет приказано называть «военной спецоперацией».

И – все. На несколько месяцев просто потерялись слова. Слиняли за ненадобностью. Дезертировали. А с ними и книжки.

Остались новости. Интернет. Телеграм, ютьюб. Собственное прошлое пошло отваливаться кусками. Неужели с тобой это было? А это?.. Нет. Не было. Или было – какая разница?.. Мариуполь, Харьков, Киев. Буча. Одесса! Неужели по Ланжерону будут лупить?!

Вот в таком состоянии я и вспомнил о книге «И ад следовал за ним».

Как же, подумал, все это далеко сейчас! Ну, был такой писатель Анатолий Кузнецов. Напечатал в «Юности» документальный роман «Бабий Яр» – сенсация 1966-го! Через три года сбежал в Англию и там запросил политического убежища – сенсация 1969-го. Вскорости в одной из ведущих английских газет признался, что для того, чтобы иметь возможность «выбрать свободу», согласился на вербовку в КГБ и написал несколько доносов на своих друзей-писателей: Аксенова, Евтушенко, Гладиллина – еще одна сенсация в узких кругах. Издал полный, неотцензурированный текст «Бабьего Яра», вывезенный им на фотоплёнках. Позже эта книга была переведена на множество языков, издавалась и переиздавалась, а сам писатель много лет вел еженедельную передачу в лондонской редакции радиостанции «Свобода» и умер, не дожив до 50 лет.

И кому это сейчас может быть интересно? Ладно сам побег, история которого уместилась на нескольких страницах. Но подробности бесконечных, выматывающих душу, унижительных боданий с редакцией «Юности» по поводу глав, страниц и даже отдельных слов?.. Детали взаимоотношений с западными друзьями и недругами (в том числе эмигрантами)? С переводчиками и издателями? Кого сейчас волнует жизнь пусть временами и неприкаянного, но вполне себе благополучного даже по западным меркам человека? Да, умер безвременно – но все-таки не как Галич, со смертью которого до сих пор не могут разобраться.

Так или иначе, решил перечитать книгу. Как раз под известие о том, что бомба повредила мемориал «Бабий Яр».

Перечитывал – и понимал, что именно такого рода книга сейчас и нужна. Бодания с «Юностью», говорите? С цензурой? В начале 1970-го в Лондоне состоялась международная конференция «Цензура в Советском Союзе». Тема доклада автора «Бабьего Яра» формулировалась так: «Внутренний цензор». Понимаете, о чем я? Полвека прошло, а проблема «внутреннего цензора» и сейчас живее всех живых!

«Внутренний цензор в той или иной форме существует в каждом из нас, – говорил Кузнецов. – Но если на Западе внутренняя самоцензура художника чаще всего является просто самодисциплиной, то в Советском Союзе это – вынужденное, уродливое самоистязание. Всё без исключения, что печатается в СССР, имеет клейма этих двух цензур: сперва внутренней самоцензуры, а вслед за ней ещё и внешней».

Ну, чем не о наших СМИ, и в первую очередь о телевидении? Не хочешь самоцензуры – вали из профессии. А лучше – еще подальше, скатертью дорожка!

Пока эта возможность еще остается. Движение за бугор делается все массовой и, главное, оставляет возможность не рвать связи с родиной. Хотя бы виртуальной.

Надолго ли?

Елена ЗЕЙФЕРТ

РЫБЫ ПОД ВОДОЙ РАЗГОВАРИВАЮТ
ДРУГ С ДРУГОМАнаит Григорян. Осьминог. – М.: In-
spiria, 2021. – 318 с.

Во времена Анатолия Кузнецова такой поступок был штучным. И надо было действительно на протяжении многих лет чувствовать себя «изнасилованным в подворотне» (на одной из редколлегий Кузнецов буквально с кулаками набросился на главного редактора «Юности» Полевого, вырвал у него из рук рукопись «Бабьего Яра», а на улице разордал ее в клочья), и в конце концов не выдержать, чтобы на него решиться.

Говорить о моральной цене этого поступка тоже самое время. Хотя Анатолий Кузнецов и сообщил, что в его «отчетах» не содержалось ничего особенного, тем не менее последствия они имели. Василий Аксенов стукача не простил, Анатолий Гладилин хоть, вроде и простил или, во всяком случае, понял его резоны, но до конца жизни встречаться с ним избегал.

Стоил ли этот «прыжок в свободу» предательства друзей? Автор книги «И ад следовал за ним» довольно подробно рассказывает об этой истории, но далек от того, чтобы копаться в душе того, кто, собственно, и сделал ее достоянием гласности. Никто, как говорится, за язык не тянул. А выводы, оценки, приговоры... Сегодня, когда работа на «контору глубокого бурения» не только поощряется, но даже входит в пенсионный стаж, а стукачество повсеместно приветствуется, – пусть каждый соотносит поступок беглеца со своей жизнью.

Автор «Бабьего Яра» не дожил до мемуариала «Бабий Яр». Не дожил он и до того, как мемориал был поврежден снарядом.

Хотел было закончить советом всем, кто способен ее читать, раздобыть эту книгу. Тем более что написана она – не оторвешься. Но сообразил, что достать ее совсем не просто. Книга издана в Украине, а уж как работает доставка в условиях «спецоперации» ... Думаю, никак не работает.

Поэтому остается надеяться на новое, более свободно конвертируемое издание. На родине ее автора. В России¹.

На суперобложке романа Анаит Григорян «Осьминог» написано «Японский бог» (рифмованная шутка, наводка на японскую тему) и «Ужас Лавкрафта в обёртке Харуки Мураками». Перед нами разновидность «японского романа» в новейшей русской прозе в стилистике Мураками? Здесь и ужас Лавкрафта с его психологическим страхом неизведанного? Что ж, японский хоррор пронзает до мозга костей, вздымая бессознательное (вспомним хотя бы знаменитый фильм «Звонок»), но таков ли «Осьминог»?

Сама Анаит признаётся, что Харуки Мураками ей очень близок, и близка стилистика его переводов Дмитрием Ковалениным, но ни её «Осьминог», ни другие тексты, по её мнению, на Мураками не похожи. Японская тема – да, она здесь главная. Но только тема не может создать жанровую разновидность романа. Сколько вопросов задала нам суперобложка! «Осьминог» – «японский роман» на поверхностном тематическом слое или содержит объём жанровых признаков «японского романа», пронизывающих его? Осмыслив произведение, отвечу так: Анаит Григорян создаёт русский роман на японскую тему, показывая душевную неустроенность, неприкаянность центрального персонажа Александра. Но её русский роман на японскую тему – новое слово в нашей литературе.

С лавкрафтовскими ужасами «Осьминог», конечно, роднит беспомощность героя перед древним злом, постепенное нарастание страха (у Григорян довольно лёгкого, не утробного), хрупкость человека перед мистическими обстоятельствами, вопросы, оставленные без ответов, обитание человека среди других разумных существ (здесь это сверхъестественные они, кицунэ, тануки, а также рыбы и другие обитатели дна, в первую очередь осьминог; муж Мацуи-сан, возможно, видел и слышал,

¹ Журнальный вариант книги можно прочитать: Знамя. 2020. № 11, <https://znamlit.ru/publication.php?id=7780>

как рыбы разговаривают под водой, и многие другие персонажи верят в силу сверхъестественных японских персонажей). Однако перед нами не инвариант лавкрафтовского ужаса: я бы назвала это сходство не генетическим (появившимся в результате стилизации под произведения Лавкрафта и рождённый им жанр), а скорее типологическим, и всё же не явным. Особая манера повествования Григорян, неторопливая, уютная, комфортная, разрушит любой ужас.

Часы, которых боится ребёнок, способны притаиться, чтобы считать минуты, приближающие расставание, марионетки, у которых рожи как у проходимцев, – не только морская стихия вызывает здесь ощущение некоторого ужаса, но не пронзительного, не сильного. «Осьминог» довольно быстро проявляет себя как любовный роман. Как настойчиво Анаит Григорян ввинчивает любовную интригу в своё русское «японском романе»: вот Александр задерживается в ресторане, любуясь Томоко, спутницей Акио – чувствует себя пойманным с поличным, когда Кисё спрашивает его о Томоко – говорит о девушке с хозяйкой своей съёмной квартиры Изуми – хочет ударить повара, когда тот называет Томоко «рыбой шулой» – ударив другого (Кисё), встречает Томоко, и та приглашает их к себе в дом, чтобы оказать Кисё первую помощь – узнав об этом, с Томоко ссорится, ревнуя, её парень Акио – несостоявшаяся прогулка Александра и полюбившейся ему девушки – прогулка продрогшего Александра с продрогшей Томоко по побережью – Акио разбирается с Александром... Не буду раскрывать все карты любовной интриги, чтобы не создать спойлер романа для заинтригованного читателя. Психопатический Александр, который имеет интимную связь с хозяйкой своей съёмной квартиры, создан Григорян тем не менее обаятельным, глубоким, умеющим любить, за ним интересно наблюдать читательским взглядом, он центр сюжета. Порой он мелочный, иногда несправедливый, но неизменно привлекательный и интересный.

Детализация (я бы сказала, хотя автор, очевидно, со мной поспорит, томасоманновская, и

Томас Манн – один из наиболее значимых для Григорян авторов), степенность повествования, серьёзность оптики, подхода к созданию персонажа, вещи позволяют читателю медленно обживать в романе, духовно присваивать его художественное пространство постепенно, смакуя, с любовью. Я полюбила роман Анаит с первой страницы: цвет, контур, текстура, звук, запах, вкус изображаемых предметов были настолько реальны, что, находясь в московском кафе за чашкой чая, я ощущала, как всё вокруг пропахло морем.

Япония у Григорян синонимична влаге, морю, его дарам. «Во влажную погоду море всегда пахло сильнее», «с моря тянуло йодистым запахом водорослей», «от Кими пахло морем»... Рыба живёт в воде всю жизнь, и не стоит человеку сетовать на дождь. Море в романе везде, даже на стенах жилища картины со сценами из рыбацкой жизни. Морская стихия проникает и в метафорику Григорян: красивый шрам у Кисё «похож на рыболовный крючок», заболел, Александр «провалился в забытье, как в тяжёлую морскую воду».

Люди здесь подобны сверхъестественным существам («её лицо походило теперь на разгневанную маску мстительного духа»), а мифологические существа – людям (тануки пьёт водку и бросает мужа с детьми). Японская тематика в романе Григорян быстро преодолевает поверхностный уровень, пронизывая художественное пространство и время, повествование, захватывая метафорику. Второе название романа на японском (не на обложке), эпиграф на японском (без пояснений, хотя в дальнейшем подстрочные примечания с переводом и авторскими комментариями создают особую рамку, переключку японского и русского, обнимающую текст романа) сразу удивляют, но словно приучают взгляд читателя к новизне, японскому колориту.

Писательница с первых страниц даёт целый поток информации об японской культуре, старательно объясняя русскому читателю все тонкости: Кисё говорит, что его имя пишется катаканой (одной из двух, наряду с хираганой, графических форм японской слоговой азбуки), владельцы ресторана даже в меню гордятся ме-

стом – «кровать-повозка» водится только в префектуре Айти». Сама Григорян в японской теме человек посвящённый, она в своё время подружилась с японским профессором, исследователем русской классической литературы, выучила японский язык, и теперь общается со многими японскими литераторами, ведёт в твиттере блог на японском языке про Россию и японскую литературу в русской рецепции, занимается переводами японских авторов. В «Осьминоге» она охотно, с наслаждением делится этим знанием об Японии: сообщает, что и в каком виде едят японцы (на языке читателя то и дело хочет появиться, но остаётся неизвестным вкус хрустящих сладостей или даров моря: «к представлениям японцев о сочетаниях вкусов европейцу было привыкнуть не проще, чем к перехватывающему дыханию рыбному запаху»). Есть ли в романе противопоставление японского западному? Да, и японское для повествователя в приоритете (японская жена – лучшая в мире, но испортилась под западным влиянием и др.).

Нарратор, по задумке Анаит, знает меньше, чем персонаж, живущий по законам самодвижения как феномен. В подстрочном примечании находим: «но Александр, очевидно, думает...». Повествователь точно не знает, что на самом деле думает Александр. Автор, читатель, персонаж в романе отдельные категории, у каждого своя самость, Александр не менее живой и независимо думающий, чем читатель.

Тёплое латте в бутылках с крышечками в уличных автоматах («Что с ними было бы в России?» – с ухмылкой задаётся вопросом Александр), меню в «Тако», консайский диалект и его наиболее характерный вариант – осакский диалект, значения некоторых иероглифов, японская фамилия на первом месте, затем пишется имя – мы постепенно складываем цельный образ своей, собранной, как пазл, Японии. Читатель узнаёт, что в упомянутой Осаке есть большой океанариум и ноги устают от переходов через дороги, идущих вверх, как рыба водится у побережья, в каких университетах в Японии престижно учиться. И эти блюда, японские блюда – какие они сочные, колоритные! Вещь, деталь, подробность вво-

дятся в роман неспроста – через них мы узнаём черты характера героев: Фурукава гневлив, но порядочен, Александр мелочен и вспылчив, но глубок, Акио зловреден, но честен, Томоко добра, трепетна.

Остров Химакадзима (реальный топоним), по словам нарратора, «популярное направление внутреннего туризма, но многие японцы до сих пор не подозревают о его существовании», – в романе затерянное антиутопическое местечко. Здесь внезапно гибнут люди, и причина их гибели – нередко море. Людской страх перед морем велик. Внутри топоса Химакадзима есть локус Тако (в переводе с японского «Осьминог»), ресторан, в котором происходят все сюжетобразующие встречи в романе и работает официантом Кисё. Для меня фантазёр Кисё (мужчины, с его слов, могут жениться на лисице из зоопарка, на тануки, его двоюродный брат – лис, один мужчина перепутал жену с разделочной доской и бил её, сломав руку, про едва ли не каждого островитянина, живого или погибшего, у Кисё есть своя причудливая история) – скорее писатель, скорее второй нарратор в романе, чем просто официант. Он в своих разрозненных новеллах ведёт собственную, мистическую, становящуюся всё более невероятной глубинную линию. Он второй нарратор, своеобразный рассказчик. Линии основного повествователя и Кисё встречаются в финале. «Разве какая-нибудь необычная история не лучший способ справиться с этой неизбежностью?» – задаётся правомерным вопросом Кисё. Именно он задаёт магистральную сюжетную линию романа: «Если подумать, то вся Япония – это сплошные острова. Куда бы человек ни поехал, ему никак не уйти от тайфуна».

Осьминог у Анаит – один из мудрейших жителей Японии, он важнейший представитель как реального (Григорян сообщает, что это моллюск, что он растёт всю жизнь), так и мифологического миров. Выкуп и спасение огромного осьминога, глядящий на Александра осьминог, обитающий в «Тако», деревянный осьминог в музее, которого выносят на народное праздничное шествие, мифы и легенды об осьминогах – по сути, лейтмотив осьминога

здесь становится парадигмой, пронизывающей весь роман.

Отрадно, что в России есть крепкий, талантливый прозаик, романист с японской оптикой, знаток и ревностный ценитель Японии. Это позволило родиться новому яркому эксперименту в новейшей русской прозе – русскому роману на японскую тему.

Наталья ЧЕРНЫХ

НОВЫЕ ОПЫТЫ ЦВЕТА

Евгения Баранова. Где белое, там и золотое. – М.: Формаслов, 2022. – 102 с.

Мир меня поймал, но не ловил.
Евгения Баранова

Вопреки названию, книга получилась сумрачная («небесный карантин»), сумеречная – как будто все стихотворения написались сразу после захода солнца, – по-кошачьи тревожная. В этих небольших, но плотных стихотворениях есть судорога исчезновения, трепет перехода. Белое и золотое здесь – цвета эсхатологические, они там, где нечто имеет совершиться, но еще не совершилось. Однако эти цвета (используя самозабвение поэта) проникают и в его письменную речь. Белое здесь начинается с прозрачности и с бесцветности, а это совсем разные цвета. Золотое дает о себе знать в пронзительных искрах утраты (еще причиняющей боль, будь это человек или цель или уже совершившейся, будь это место, Крым, или детство с тамагочи). И еще золотое здесь – радость памяти, радость сочетания себя потерянной с тем, что сохранено памятью (личной и общей), а значит – нерушимо.

– А если тело – только поцелуй.

Мнемос этой книги довольно тяжелый, но он того стоит. Нельзя сказать, что эти стихотворения запоминаются легко и просто, но «синица языка» уже целиком в памяти. У этих стихотворений – военная воздушность, со все-

ми разнообразными ассоциациями, которые может вызвать это словосочетание.

мертвец в мертвецкую спешил
да ожил по пути

Этот «небесный карантин» распространяется на весь небосвод книги. Мне кажется, имеет смысл говорить именно о небосводе этой книги. Разделы-созвездия, вычерченные создателем-автором с точностью, выдающей образование в области изо (даже если его и нет), звезды и туманности отдельных стихотворений, то распадающихся, то влекомых силой творческого тяготения. Эту книгу хорошо даже просто перелистывать: кажется, вот была мысль, была четкая линия. И вдруг все снова рассыпалось на мелкие искры, только след от вспышки. Ан нет: вот оно, солнышко, ядро в ореоле короны слов-лучей:

Мы внуки выживших детей...
(...)
Нас тренирует божий глаз...
(...)
Мы начинаемся как пыль...

Небосвод возникает из образов полета, которых в книге невероятно много. Даже образы бреда вследствие высокой температуры напоминают о полете:

...скользишь земле навстреч...

Я мелкая пыль – как меня ни гони,
(...)
То катятся к чёрту, то лезут наверх,
то песнь хоровую поют.
А я только снег, только снег, только снег,
лечу потихоньку, клюю.

Это тотальное, изматывающее движение «мира» (который поймал) сообщается и небосводу книги. На нем отражаются и почти случайные «ласковые овощи» в соседнем кафе, и судьбы поколения, с которым автор себя ассоциирует. Возникает эффект, при ко-

тором неподвижные предметы кажутся движущимися:

То шар, то диск, то комната пустая,
то за кометой полосатый хвост.
кому нужна я
а
кому нежна я
кто припечатан изморозью звёзд

«Миллениалы», по теории Штрауса и Хау (которая мне лично кажется не убедительной, но она дает хороший рельеф для рассказа) – «миллениалы», как последовательные антагонисты, обречены на постоянное движение. Они пришли в мир во время «миллениума», время кардинальных перемен, и потому, если выбирать метафору, у них есть некое трансцендентальное вертиго.

В строфике и рифмах стихотворений книги «Где белое, там и золотое» это вертиго выражается небольшими, к которым порой даже сложно предъявить претензии с точки зрения версификации, скачками смысла и ритма. Это не своевольные танцы ритма на грани белого и рифмованного стиха, которые так любили в девяностые (Воденников – «Репейник», «Трамвай» и др., Зельченко – «Романс», Степанова – «Летчик», и прочие авторы), не аккуртные нарушения законов, что так популярно было в нулевые и отчасти в десятые (Горалик, Львовский), а именно кружащееся, неустойчивое, исчезающее, свойственное и стихотворениям других авторов. Тема исчезновения не нова, так что и в девяностых, и в нулевых найдется масса стихотворений, питавшихся подобными мыслями и ощущениями, но такого (тотального) скольжения, кружения, поэтического вертиго я не наблюдала. Оно есть и в стихотворениях Марии Мельниковой, и Дарьи Верясовой, и Бориса Кутенкова, и многих других авторов «миллениума».

Двадцатые годы нашего столетия есть время фрагментов, хотя, конечно, были в прошлом, и во множестве, времена фрагментов, но, вероятно, у них был другой рисунок. Я как автор и критик часто сталкиваюсь с тем, что у читателя и у критика современной поэзии очень узкое восприятие: оно отлично сфоку-

сировано на фрагменте и не видит целой картины. Каждый (читатель или критик) строит контекст так, как именно ему удобно, и при этом нет опоры на субъективность, чтобы создать нечто самоценное и стилистически оригинальное, оригинальностью же оправданное, а много претензий и апломба. Само по себе это хорошо – внимание к детали, но в целом мирок, в котором существует некая масса поэтических изданий и мероприятий, весьма скучный и однообразный. Вероятно, идет процесс образования почвы, приземления, и может он идти еще очень долго.

Ироничное отношение к современной поэзии как к чему-то несерьезному, недостаточное внимание к ней, на мой глаз, объясняется отношением к поэзии самих авторов. Девяностые, имевшие дело с огромным и косным корпусом советской поэзии второго ряда, не предполагали «стишков» нынешнего времени, говорю как автор, начавший в девяностые.

Впрочем, если отстраниться, какая теперь разница между «Войском», «Репейником» и новинками «Стеклографа».

Хаос, как говорит мой сравнительно небольшой тридцатилетний опыт (столько не живут) не есть свобода. Хаос может быть красив или отвратителен, а может издавать невнятные звуки, смысл которых никому, зачашую и автору, не понятен.

Именно потому «мир поймал», хотя даже и не ловил. Эта антикультурная, антиинтеллектуалистская позиция, согласие на то, чтобы быть пойманным (ради чего?), и есть самое щемящее в этой книге: нужна хоть какая-то точка фиксации, и снова вариантов кроме словесности нет. Не слова, а словесности.

Ты проснулся днем, ты не знаешь – зачем.
Шум за окном, вестник перемен...

(М. Науменко)

Эти строки написаны во время перестройки, в СССР.

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 15 июня 2022 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.